



БИБЛИОТЕКА
ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

МАЙЯ БЕССАРАБ

ЖУКОВСКИЙ

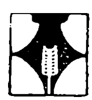
МАЙЯ БЕССАРАБ
ЖУКОВСКИЙ





МАЙЯ БЕССАРАБ

БИБЛИОТЕКА
ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ



Автор выражает сердечную благодарность ЛЬВУ ВАСИЛЬЕВИЧУ УСПЕНСКОМУ, который прочел эту книгу в рукописи и сделал целый ряд замечаний и поправок.

МАЙЯ БЕССАРАБ

ЖУКОВСКИЙ

КНИГА
О ВЕЛИКОМ
РУССКОМ ПОЭТЕ



МОСКВА . 1975

8Р1
Б53

Бессараб М. Я.

Б53 Жуковский. М., «Современник», 1975.

316 с. с илл. (Б-ка «Любителям российской словесности»).

Книга о Василии Андреевиче Жуковском воссоздает драматические события жизни поэта, художника, человека, каким его знали и любили современники.

«Неизмеримость подвиг Жуковского и велико значение его в русской литературе! Подвиг, которому награда — не простое упоминание в истории отечественной литературы, но вечное славное имя из рода в род»,— писал Белинский.

Книга написана живым языком, богато иллюстрирована рисунками Жуковского, оригиналы которых хранятся в московских и ленинградских архивах, большинство из них до сих пор не публиковались.

Б $\frac{70202-186}{М106(03)-75}$ 225—75 **8Р1**

Неизмерим подвиг Жуковского и велико значение его в русской литературе!.. Подвиг, которому награда — не простое упоминание в истории отечественной литературы, но вечное славное имя из рода в род.

В. Г. Белинский

В ДОРОГУ ЗА СЧАСТЬЕМ

Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, ...я привык отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостию.

В. А. Жуковский. Из письма

1

В конце XVIII века на границе Тульской, Орловской и Калужской губерний находились поместья Афанасия Ивановича Бунина. В молодости он служил в Нарвском полку, а выйдя в отставку, женился на Марии Григорьевне Безобразовой и поселился в селе Мишенском, в трех верстах от уездного города Белева.

Это был человек волевой, деятельный, образованный, он имел большую библиотеку, интересовался русской и французской литературой, любил музыку, для своих четырех дочерей держал гувернеров и гувернанток, а сына отправил учиться в Лейпциг.

С наступлением холодов Бунины всем семейством переезжали в Тулу, а ранней весной снова возвращались в Мишенское.

В 1770 году бунинские крестьяне-маркитанты, сопровождавшие армию Румянцева, привезли в Мишенское с театра военных действий двух турчанок. Младшая зачахла с горя и умерла, а старшая, ее звали Сальха, осталась в имении Бунина.

Крепко полюбил барин свою пленницу, она и в самом деле была красавица: высокая, тонкая, с огромными глазами и смуглым румяным лицом. Жена Бунина, Мария Григорьевна, и виду не подала, что сердится на мужа. Ей было известно, что крестьяне привезли барину заморскую красавицу, чтобы он не заглядывался на деревенских девок. «С него, окаянного, не будет и старика постоянного»,— говорили о Бунине мужики. Мария Григорьевна держалась с достоинством, когда замужние доче-



А. И. Бунин.

ри заговаривали с ней о Сальхе, она отвечала:

— Мы с Афанасием Ивановичем век прожили в мире и согласии, не ссориться же на старости лет. Было время — любил, и я ему за это навеки благодарна, а пришла пора — разлюбил.

Однажды в барский дом пришла беда, умер единственный сын Буниных Иван, лейпцигский студент. Мария Григорьевна с горя слегла, дочери дежурили возле ее постели, сменяя друг друга. Выздоравливала она медленно, стала хилой и слабой.

Вскоре барыне доложили, что Сальха в тягости, должно быть, после нового года родит.

Двадцать девятого января 1783 года в селе Мишенском Сальха родила сына. Мария Григорьевна позаботилась, чтобы мальчика крестили. Крестным отцом ребенка был обедневший помещик Андрей Григорьевич Жуковский, живший по соседству, а крестной матерью — четырнадцатилетняя дочь Буниных Варенька. Сальха тоже приняла христианство, ее нарекли Елизаветой Дементьевной. Мальчика назвали Василием[1].

Мария Григорьевна привязалась к Васеньке с самого его рождения, находя в нем сходство со своим первенцем. Но Васенька становился все более похожим на мать. Он был очень красив: материнские большие глаза, нежный профиль и густые кудри. Дочери Бунина были от него без ума, наверно потому, что ни у одной из них не было сына, только девочки. Этих родственниц, дочерей своих сестер по отцу, у Васи было девять, он рос в девичьем окружении.

Мальчик был нежен и добр, «тетеньки» и «сестрицы» играли с ним, как с куклой. Это заласканное дитя переходило с рук на руки, стоило Васе появиться в гостиной, как они начинали его целовать, тискать, отнимать друг у друга.

— Ну, погодите,— шутил Афанасий Иванович,— дайте срок. Подрастет Василий, он вашей сестре покажет.

2

Бунин любил своего младшего сына, но почти ничего не успел сделать для его воспитания: когда Василию было восемь лет, Афанасий Иванович умер. Умирая, он завещал жене заботиться о Василии, как о родном сыне. Мария Григорьевна выполнила завет: благодаря ей Жуковский получил образование и приобрел друзей, которые поддерживали его всю жизнь.

Крестная мать Василия Жуковского Варвара Афанасьевна Бунина вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова, и ее дом в Туле превратился в своего рода литературно-музыкальный салон. Все новинки литературы здесь не только читали, но и обсуждали, едва только они появлялись в печати, будь то новая басня Дмитриева или «Бедная Лиза» Карамзина.

Варвара Афанасьевна любила музыку, постоянно приглашала музыкантов: Андрея Григорьевича Жуковского, который отлично играл на скрипке, двух сестер-пианисток, получивших образование в столице. Вечера в доме Юшковых были весьма популярны в губернском городе.

В доме своей крестной Василий Жуковский впервые почувствовал интерес к музыке и литературе, здесь же были задуманы его первые сочинения. Тяга к литературе была свойственна детскому кругу дома Юшковых: они все грезили о поэзии, мечтали сочинять романы. Старшая из четырех сестер Юшковых Анна (в замужестве — Зонтаг) стала впоследствии известной детской писательницей, а Авдотья (по первому мужу Киреевская, по второму — Елагина) постоянно занималась переводами, публикуя их под псевдонимом Петерсон.

Бунина раньше других заметила необыкновенную одаренность мальчика. Раньше всего в ребенке проснулась страсть к живописи. Увидя в четырехлетнем возрасте, с каким благоговением смотрят прихожане на икону, Васенька нарисовал на полу изображение Христа, горничная Меланья, увидев его, бросилась на колени, начала бить земные поклоны. Сбежалась дворня, пришли барышни, и потрясенная Меланья начала рассказ, как комната озарилась дивным светом, откуда-то полилась неземная музыка, сами собой растворились двери и на полу проступило божественное изображение. Васенька подал голос и испортил все дело. Он сказал: «Нет, это я нарисовал!»

Мальчик был развит не по летам, пристрастился к рисованию, иногда рисовал с утра до вечера. Рисунки эти не сохранились, так же как и детские сочинения Жуковского, по известно,

что в семь лет он уже писал стихи, а в двенадцать сочинил драму «Камилл, или Освобожденный Рим».

Эта пьеса пользовалась успехом в кругу родни Жуковского, особенно сцена гибели Олимпии. «Познай во мне Олимпию, Ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму!» — восклицала героиня. «О боги, Олимпия, что сделала ты?» — кричал Камилл.— «За Рим вкусила смерть»,— трагическим шепотом отвечала царица и умирала на глазах у чувствительных родственников автора.

Гувернеры и гувернантки в семье Бунина научили Жуковского бегло говорить по-французски и по-немецки, читать по-английски, рисовать, танцевать — словом, он получил неплохое по тем временам домашнее образование.

Позднее мальчика отвезли в Тулу учиться, сначала в частный пансион Роде, затем в приходское училище. Учился Жуковский плохо: ему быстро наскучила бесконечная зубрежка. Директор училища Феофилакт Гаврилович Покровский в назидание другим нерадивым ученикам в 1796 году исключил Василия Жуковского из третьего класса «за неспособность».

Марию Григорьевну это встревожило. По совету своего соседа майора Постникова она записала Василия на военную службу. Жуковского отвезли в Кексгольм, где стоял его полк, но вскоре Павел Первый отменил запись в полки малолетних дворян, и мальчик снова оказался непристроенным.

Бунина понимала, что без образования и без средств судьба у него будет незавидная, и решила отдать Жуковского в какой-нибудь хороший московский пансион для детей дворян. Посоветовавшись с родней, Мария Григорьевна остановилась на Московском благородном пансионе при университете, который считался в ту пору лучшим учебным заведением.

Мальчик был чрезвычайно обрадован тем, что скоро поедет в Москву: отъезд был назначен на январь 1797 года.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПАНСИОН

О братья! о друзья! где наш
священный круг?
Где песни пламенны и музам
и свободе?

В. А. Жуковский. Вечер

1

Директор Московского университета Иван Петрович Тургенев принял Бунину, как старую знакомую. Пока Мария Григорьевна рассказывала, какие учителя были у Васеньки, Иван Петрович внимательно его разглядывал. Стоило обратиться к мальчику с вопросом, он так и вспыхивал от смущения. Он очень понравился Ивану Петровичу, и, прощаясь с Буниной, Тургенев сказал:

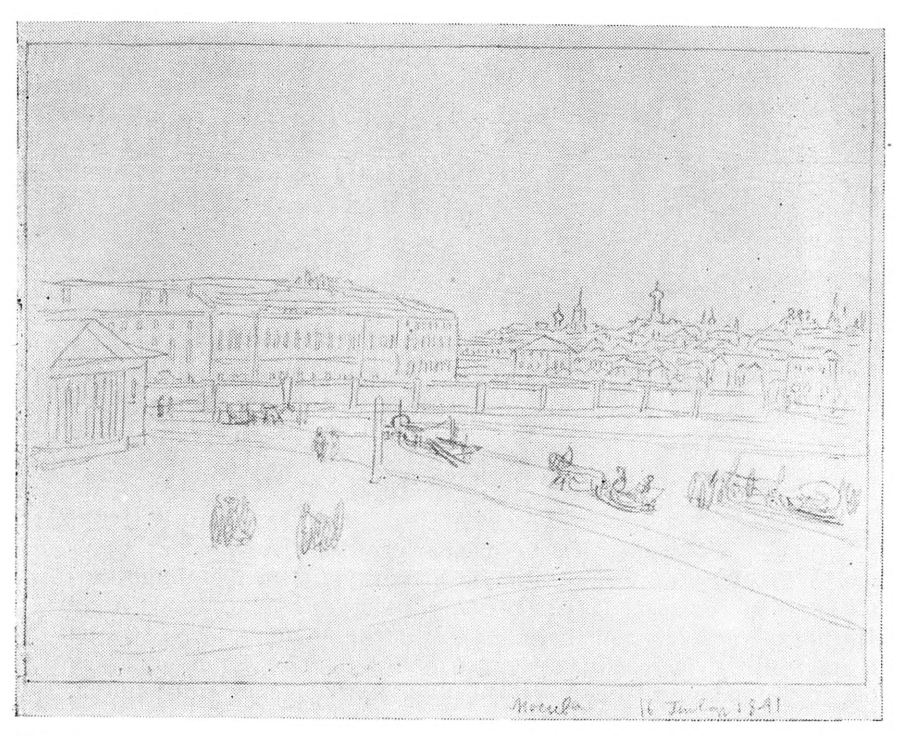
— Беру Василия Жуковского под свое покровительство.

Утром следующего дня Жуковский уже был в классе. Его посадили рядом с Александром Тургеневым, сыном Ивана Петровича. Они подружились сразу, буквально с первого дня, и не изменили этой дружбе до смерти.

Братья Тургеневы, Александр и Андрей, показали ему старинные храмы и соборы, мельницу на замерзшей реке Неглинке между Троицкими воротами Кремля и нарядной Кутафьей башней, уверяя, что с наступлением весны Василий убедится, что мельница действующая.

Однако прогулки случались редко. У воспитанников пансиона время было расписано по часам: подъем в пять утра, в шесть — начало занятий: повторение домашних заданий, лекции; после обеда — немного свободного времени, затем снова занятия в классах, приготовление уроков, чтение. А в девять часов вечера уже ложились спать.

Программа пансиона была велика: от закона божия, логики и нравственной философии до артиллерии, фортификации и ар-



Москва.
Рис. В. А. Жуковского (1841 г.).

хитектуры, всего тридцать шесть предметов. Классов было шесть: два низших, два средних, подвысший и высший. Жуковский поступил в первый средний класс.

Университетским пансионом заведовал инспектор Антон Антонович Прокопович-Антонский, педагог по призванию. Антонский изменил систему преподавания в пансионе, у него были четкие правила: не изнурять учащихся зубрежкой; предоставить им возможность по собственному усмотрению выбирать предметы, которые они намерены изучать (кроме нескольких обязательных для всех); предоставлять воспитанникам условия для развития их творческих способностей, чтобы каждый знал, что если он, к примеру сказать, сочинит речь, рассуждение или оду, которые будут одобрены его товарищами, то сие произведение будет опубликовано за подписью автора.

В университетском пансионе было интересно учиться. Был литературный кружок, который носил название «Собрание воспитанников Университетского благородного пансиона». Заседания происходили каждую неделю с шести до десяти вечера, подготовка к этим заседаниям производилась серьезно: помимо воспитателей, преподавателей и инспектора, приглашали известных литераторов. Наиболее активные участники литературного кружка тратили на подготовку к заседаниям не только часть классных занятий, но и почти все неурочное время. Сохранился протокол одного из заседаний «Собрания воспитанников Университетского благородного пансиона», он написан рукой Жуковского. Дата — 18 мая 1799 года.

«1) Председатель Василий Андреевич Жуковский открыл заседание речью: «О начале обществ, о распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу».

2) Прочитан и подписан протокол от 11 мая.

3) Секретарь прочитал собранию письмо от воспитанника г. Лихачева с присовокуплением собственного сочинения в стихах, под заглавием «Ручеек», которое просил он гг. членов рассмотреть. Оно отдано на суд Константину Антоновичу Остромову.

4) Председатель Василий Андреевич Жуковский внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста в стихах: «Гимн», а Василий Петрович Поляков также перевод с немецкого: отрывок из Клейста.

5) Василий Андреевич Жуковский прочел критические замечания, сделанные им на сочинение секретаря Семена Родзянки: «Нечто о душе». Иные из них найдены справедливыми и одобрены членами, а иные нет. После чего члены делали свои замечания, однако в сем заседании не кончили разбора этой пиесы. . . . . .

8) А. И. Тургенев закончил собрание произнесением стихов: «Россу по взятии Измаила», из соч. г. Державина.

9) Председатель Василий Андреевич Жуковский назначил очередного оратора, чем и кончилось заседание. (Следуют подписи присутствующих)».

Именно на этих заседаниях Василий Жуковский читал свои первые произведения, после чего собрание рекомендовало их к публикации в полупериодических изданиях: «Приятное и полезное препровождение времени», «Утренняя заря», «Распускающийся цветок» и «Ипокрена, или Утехи любословия».

Первое стихотворение, опубликованное в печати, Жуковский назвал «Майское утро». Оно появилось в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» в 1797 году.

Бело-румяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черные нощи.

Феб златозарный,
Лик свой явивши,
Все оживил.
Вся уж природа
Светом оделась
И процвела.
. . . .

2

Прокопович-Антонский придавал очень большое значение изучению родного языка. Он говорил своим воспитанникам:

— Ошибаются те, кои думают, что изучение природного своего языка не великого труда стоит. Знать его основательно, знать со всеми тонкостями, чувствовать всю силу его, красоту, важность, уметь говорить и писать в нем красно, сильно и выразительно по приличию материи, времени и места: все это составляет труд, едва преодолимый. На приобретение такого знания должно употребить все силы, должно пожертвовать немалою частию жизни. Сие одно достаточно уже к опровержению мнения тех людей, кои полезнейшим упражнением почитают изучение многих иностранных языков.

Василий Жуковский на всю жизнь запомнил эти слова. В эти годы у него выработалось наисерьезнейшее отношение к русскому языку. И именно с этих пор пренебрежительное отношение к родной речи вызывало в нем возмущение.

Наряду с русским языком Жуковский изучал три иностранных: немецкий, английский и французский. Языки давались ему особенно легко, и он сожалел, что в пансионе было временно прекращено изучение древнегреческого.

Не менее усердно Василий Жуковский занимался живописью, изучал архитектуру. Прокопович-Антонский уделял внимание развитию литературных дарований Жуковского. Из предложенных Антоном Антоновичем тем, таких, как «Гимн

истине», «Гений», «Добродетель», Василий выбрал последнюю, и в 1798 году написал два стихотворения под этим заглавием.

Под звездным кровом тихой нощи,
При свете бледные луны,
Среди ветвистых кипарисов
Брожу меж множества гробов, —

восклицает юный подражатель Державина.

Нарисовав «ужасную» картину, Жуковский приводит своих читателей к назидательным выводам: перед лицом смерти «И царь сравняется с убогим», «Останутся нетленны// Одни лишь добрые дела».

Это был период увлечения одами Державина. Жуковский даже перевел вместе с Семеном Родзянко на французский язык оду Державина «Бог».



А. А. Прокопович-Антонский.

В Университетском пансионе существовала традиция: на общем собрании воспитанники голосованием решали, кого назвать первым учеником. Василий Жуковский удостоился этой чести, пробыв в пансионе всего лишь год: он разделил первое место с Сергеем Костомаровым.

Василий был дружен со многими: с Семеном Родзянко, Дмитрием Блудовым, Дмитрием Дашковым, Алексеем Мерзляковым, Сергеем Уваровым, Григорием Гагариным, но близких, задушевных друзей у него было только двое — Александр и Андрей Тургеневы.

Андрей Тургенев как никто другой мог сплотить вокруг себя мечтательных, увлекающихся, восторженных юношей, он был их вдохновителем. С каким жаром он выступал перед ними, как они слушали его искренние, от самого сердца идущие слова! У Василия Жуковского в глазах стояли слезы, Александр плакал, не стесняясь, когда Андрей говорил о равенстве людей и о священном праве каждого быть свободным.

Василий сроднился с семьей Тургеневых, где полюбили доброго и застенчивого юношу, не имевшего в Москве ни родных, ни знакомых. В доме Тургеневых собирались университетские профессора, бывали Новиков и Карамзин.

Иван Петрович Тургенев был в большой дружбе со своими сыновьями и с их друзьями. «Любовь его к детям,— вспоминал впоследствии Жуковский,— была товариществом зрелого, опытного мужа и юношами, привязанными к нему свободною доверенностью, сходством мыслей и чувств и самою нежною благодарностью... Он был *живой юноша* в кругу молодых людей, из которых каждый готов был сказать ему все, что имел на сердце, будучи привлечен его прямодушием, отеческим участием, веселостью, простотою».

Под влиянием Ивана Петровича Тургенева Василий пришел к мысли о необходимости образовать свой характер:

1. Побороть лень, которая есть паралич души.
2. Избавиться от прирожденной медлительности.
3. Научиться обращать зависть в соревнование или искреннее и приятное удивление.
4. Каждый день — доброму делу, мысли или чувству.

Таким путем Жуковский шел к своей цели — приготовить себя для служения своему народу, дабы принести ему как можно больше пользы.

3

В октябре 1800 года Василий Жуковский успешно закончил курс обучения в Университетском благородном пансионе: его имя было выбито золотом на мраморной доске в актовом зале пансиона.

Он почувствовал себя независимым, ему хотелось поскорее начать новую жизнь, найти применение полученным знаниям, приносить пользу. А устроиться он сумел только в соляную контору, и впоследствии всегда иронизировал, вспоминая об этой службе.

Более чем когда-нибудь раньше стремясь к общению со своими друзьями по литературному кружку, он сразу откликнулся на предложение Андрея Тургенева и Алексея Мерзлякова организовать «Дружеское литературное общество». В него вошли братья Кайсаровы — Андрей и Михаил, Александр Тургенев, Семен Родзянко, Журавлев, Воейков и еще несколько бывших воспитанников пансиона. 12 января 1801 года Василий Жуковский, Андрей Тургенев и Алексей Мерзляков — учредители «Дружеского литературного общества» — подписали законы этого общества, обязующие его членов активно заниматься литературным трудом.

В ночь на 11 марта 1801 года был убит Павел Первый. Через несколько дней после этого «Дружеское литературное общество» собралось на экстраординарное собрание. Встреча происходила у Воейкова на Девичьем поле. С речью о любви к родине выступил Андрей Тургенев. Он закончил призывом и жизни своей не щадить ради отечества, «быть его сынами, с опасностью всего жертвовать его благоденствию».

После Тургенева выступил Василий Жуковский. Он говорил об историческом предначертании величия России, о горестном положении народа:

— Куда ни обратишь унылый взор, повсюду видишь слезы, льющиеся от горести, повсюду слышишь укоризны, отчаяние против угнетающего рока.

«Дружеское литературное общество» играло в жизни Василия Андреевича Жуковского гораздо большую роль, чем его служба. Он ходил в присутствие, отсиживал положенное время, выполнял свои обязанности и день ото дня все более проникался убеждением, что совершает такую ошибку, которой вовсе нет оправдания: то есть попусту растрачивает время. «За жалование, которое я получаю в конторе,— думал Жуковский,— я отдаю часы и дни, отпущенные мне на этом свете».

В апреле 1802 года титулярный советник Жуковский подал в отставку.

Он хотел стать поэтом, теперь ему надо было лишь все спокойно обдумать и поскорее приняться за дело.

Перед отъездом в деревню Жуковский зашел проститься с Тургеневыми.

— Отныне будете жить на лоне природы и заниматься сочинениями в стихах и прозе? — спросил Иван Петрович.— Хвалю.

— Как будешь приезжать в Москву, мой друг, милости прошу к нам,— сказала на прощанье жена Тургенева.— Здесь тебе всегда рады.

Антон Антонович Прокопович-Антонский простился с Василием так же сердечно и взял с него слово, что, приезжая в Москву, Жуковский будет останавливаться только у него.

Растроганный, счастливый, радостно-возбужденный покидал Василий Андреевич город, который успел полюбить. Грустно позвякивал колокольчик, Жуковский мчался на перекладных домой, в Тульскую губернию...

4

Дома ничего не изменилось! Тот же дом, те же столетние липы в парке, та же величественная белокаменная церковь, которую построил его отец...

Мария Григорьевна Бунина на радостях расплакалась, увидев Васеньку. Он поцеловал маленькую сухонькую руку, а она порывисто, нежно прижала к груди его кудрявую голову и все повторяла:

— Утешил, родной, много тебе благодарна! Какой сын вырос у Афанасия Ивановича, а?!

С этими словами она взглянула на Елизавету Дементьевну, стоявшую в дверях. Василий подошел к матери, та внимательно, спокойно посмотрела на сына, поцеловала в лоб, поправила шелковый шарф у него на шее. Ни слез, ни улыбки.

— Как бы радовался Афанасий Иванович, глядя на своего единственного сына,— повторила Бунина.

Сальха взглянула на Марию Григорьевну, в глазах ее мелькнула улыбка.

Когда Василий уходил, ему бросилось в глаза, что Мария Григорьевна подозвала его мать и, усадив ее против себя, начала что-то тихо рассказывать. Взаимная привязанность двух женщин за время его отсутствия еще более усилилась, и Василию это было особенно приятно, потому что он любил их обеих.

Родные Жуковского искренне радовались, глядя на Василия Андреевича. Он держался скромно, но с достоинством, в нем и следа не осталось той пугливой робости, от которой он страдал в отрочестве. Но вместе с тем Жуковский оставался таким же скромным и приветливым, как раньше. Этот тонкий, изящный, одетый и причесанный по последней моде молодой человек смотрел на мир глазами, в которых светилась ласковая доброта, участие.

Жуковский уже осознал свое призвание. Он понял, как важно, чтобы не пропадал даром ни один день; чтобы не пропадали утренние часы,— их можно проспать, тогда укоротишь сутки чуть не вдвое. Василий принял закон для себя — вставать в пять часов утра, как в пансионе. Все утренние часы — работе. Никаких отвлеченных разговоров.

Жуковский долго думал, как объяснить матери, что написание статьи или перевод с одного языка на другой — это работа, требующая сосредоточенности и уединения, иными словами,

что если он, стоя за своей конторкой, пишет, отрывать его ни в коем случае нельзя. Наконец придумал: рассказал, что Афанасий Иванович, когда садился писать письма, запрещал ходить мимо своего кабинета. Мать наклонила голову, и слабая улыбка озарила все еще красивое лицо:

— Всем запрещал, кроме меня.

Василию больше ни разу не пришлось говорить с матерью об особенностях работы писателя.

5

Тысяча восемьсот второй год стал в жизни Жуковского знаменательным: в этом году он сделал перевод, который считал своим первым литературным произведением.

Сентиментализм, с его сочувствием к простому человеку, был особенно близок Жуковскому, и нет ничего удивительного, что внимание начинающего переводчика привлек один из основоположников сентиментализма английский поэт Томас Грей.

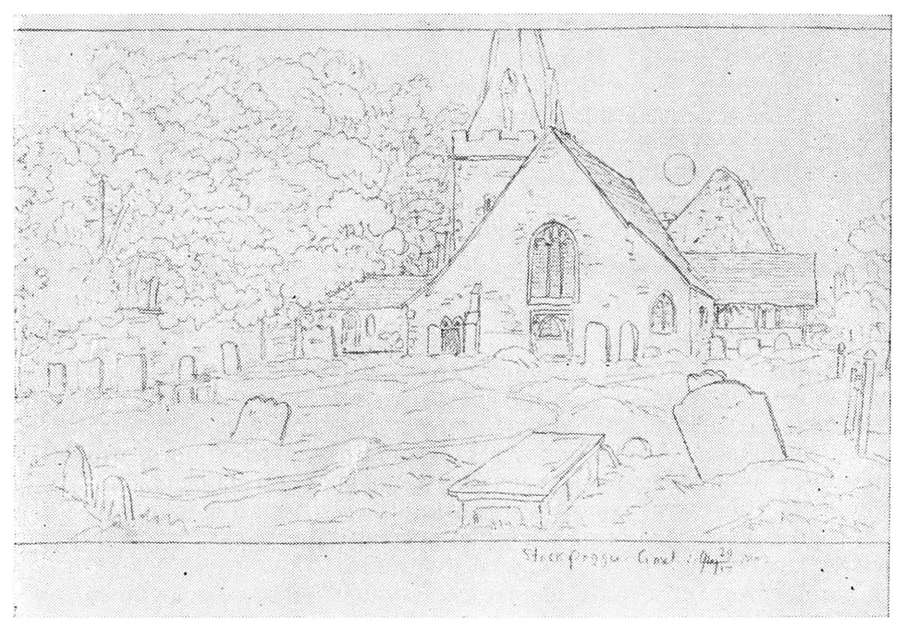
Элегия Грея уже была известна русским читателям: существовало несколько переводов ее на русский язык в стихах и прозе, но переводы эти были неудачны. Жуковский год назад тоже перевел «Сельское кладбище», и перевод этот был одобрен членами «Дружеского литературного общества». Но ему перевод не нравился, он чувствовал, что может сделать его лучше.

Жуковский помнил элегию наизусть, часто повторял ее вполголоса, расхаживая по комнате. Прежде чем начать переводить «Сельское кладбище» заново, Жуковский соорудил шалаш на невысоком холме, с которого открывался вид на поля и леса, восторженные родственницы без тени иронии назвали этот холм Парнасом. Работа длилась полгода: в сентябре перевод был закончен.

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина, повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.
. . . .

Это вольный перевод. Девятнадцатилетний автор вложил в него много своего, личного, усилив минорное звучание произ-



*Кладбище в деревне Stock Pogges, описанное Греем в элегии «Сельское кладбище».
Рис. В. А. Жуковского (1839 г.)*

ведения. Элегия Жуковского получила широкую известность, она стала знаменем зарождавшейся новой поэзии — русского сентиментализма. Читатели оценили и музыкальность стиха, и необыкновенную задушевность произведения.

В центре элегии — образ бедного юноши-певца. Все симпатии певца на стороне поселян, чьи безвестные могилы трогают его до слез.

Впоследствии образ юноши-певца из элегии «Сельское кладбище» перейдет в другие произведения Жуковского, получит автобиографические черты.

Закончив перевод, Жуковский отослал его Николаю Михайловичу Карамзину, который редактировал лучший журнал того времени — «Вестник Европы». К великой радости молодого переводчика, элегия «Сельское кладбище» была напечатана


Н. М. Карамзин.

в декабрьском номере журнала за 1802 год. Имя Жуковского получило известность.

Когда же Карамзин сослался на перевод Жуковского в своей статье о Богдановиче, умершем в январе 1803 года, читающей публике стало ясно, как высоко ценит редактор «Вестника Европы» начинающего переводчика.

Карамзин начал постепенно привлекать Жуковского к сотрудничеству в своем журнале. Они подружились. Карамзин был дружелюбен, общителен; пылкий темперамент, открытое сердце, замечательное остроумие делали тридцатичетырехлетнего писателя любимцем всех, кто его знал. Но Жуковского более всего поражала работоспособность Карамзина, его склонность к углубленным научным занятиям. От Карамзина Василий Андреевич перенял интерес к русской истории, в этот период Жуковский впервые задумался над русскими историческими повестями.

Карамзин считал русскую литературу достоянием общеевропейской литературы. Он обладал редким поэтическим чутьем — чутьем к языку. Николай Михайлович Карамзин разглядел талант Жуковского в ту пору, когда молодой поэт еще сам не был уверен в своих силах, он «открыл» Жуковского.

Когда у Карамзина случилось несчастье: во время родов умерла жена,— он попросил Василия Жуковского пожить у него в имении под Москвой, в Кунцеве. Николаю Михайловичу никого не хотелось видеть, только Жуковский действовал на Карамзина успокаивающе. И он был искренне благодарен Жуковскому, что тот согласился приехать в Кунцево.

Впоследствии, вспоминая своего учителя, Жуковский писал: «Лучшее мое чувство, чистое и высокое, как религия, была моя к нему привязанность».

6

Жуковский построил себе по собственному проекту двухэтажный деревянный дом в Белеве, на Ершовской улице, на крутом берегу Оки.

Поселившись в Белеве, он начал изучать историю этого города. Расположенный на высоком берегу Оки, среди вековых лесов и плодородных полей, Белев не уступал в возрасте самой Москве: первое упоминание о нем встречается в 1147 году в Ипатьевской летописи. Князья города Белева имели право чеканить деньги, на их медных монетах значилось: «деньга белевская». В 1494 году Иван Третий присоединил Белев к Москве.

«И белевские князья извелися, и вотчину их, Белев, царь и великий князь Иван Васильевич, всея Руси, взял на себя»,— эпически спокойно повествует летопись. Затем город Белев был взят в опричнину, отныне город был обязан содержать царских служилых людей.

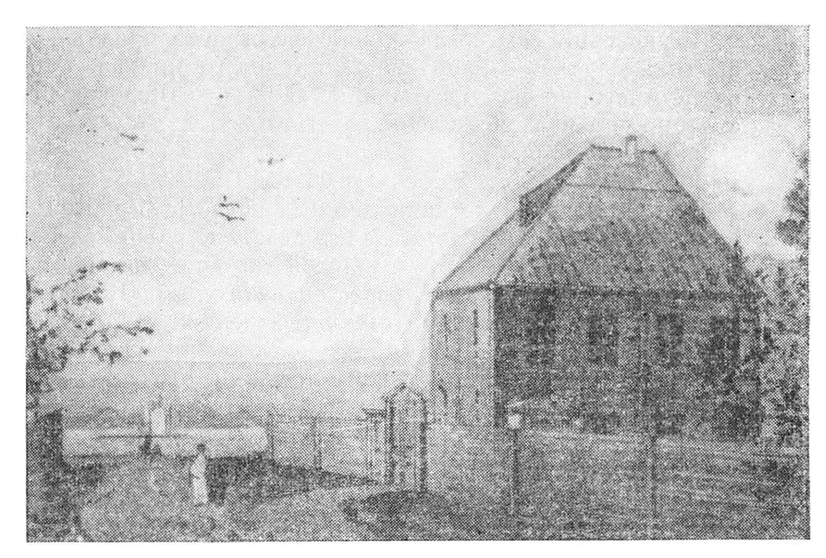
Быть может, с той грозной поры и сложился в этой местности обычай сопровождать войска, которые отправлялись в поход: жители Белева шли маркитантами в действующую армию, это был своего рода отхожий промысел белевцев.

Василий Андреевич Жуковский знал, что этот древний обычай имел прямое отношение к его судьбе: его мать попала в Мишенское как пленница крестьянина-маркитанта.

Как ни привлекала Жуковского история Белева, настоящее всегда интересовало его больше, чем прошлое. Он часами сидел у реки, по которой скользили струги, нагруженные товарами[2]. В половодье река поднималась вровень с высокими крутыми берегами, а низкие берега заливала на много верст, и весело было глядеть на это голубое море, уходившее до дальних лесов, черневших на горизонте.

В дом на Ершовской улице Жуковский перевез свою мать. Но своего родного Мишенского Жуковский не оставил, в Мишенском он бывал часто. На Ершовской улице у Василия Андреевича появился свой крепостной. Звали его Максим Акулов, Жуковский получил его от Буниной, когда затеял строительство дома. Максим был и кучером, и управлялся по хозяйству, когда же Василий Андреевич уехал из родных мест, стал доверенным лицом Жуковского. Поэт научил своего крепостного читать и писать, крестил его сына Александра.

Прошло много лет, крестник Жуковского стал художником. Большая семья Акулова жила хорошо, ибо, перебравшись



Дом Жуковского на Ершовской улице в Белеве.

в столицу, Жуковский позаботился о том, чтобы Акуловы вышли из крепостной зависимости. Он писал Авдотье Петровне Елагиной: «Я желаю дать отпускную моему белевскому Максиму и его детям. Прилагаю здесь записку о его семье. Прошу прислать копию купчей за скрепою печатью, дабы я мог здесь, в Петербурге, написать отпускную». Прошло немного времени, и Жуковский шлет Елагиной благодарность за оказанную услугу.

Дом в Белеве был невелик, но удобен и уютен. В кабинете Василий Андреевич соорудил для себя высокий письменный стол, своего рода конторку, чтобы удобно было писать стоя. Друзьям написал, что отныне у него имеются хоромы и он рад будет приветствовать гостей в белевском доме. Александр Иванович Тургенев так и не собрался, а Константин Николаевич Батюшков приехал, чем несказанно обрадовал друга.

Василий Андреевич Жуковский отличался необыкновенной аккуратностью. У него никогда не было беспорядка, беспорядок действовал на него угнетающе. Все бумаги раскладывал по ящикам и папкам, знал, где стоит какая книга, и никогда не тратил времени на поиски — все было на месте.

Жуковский сам создал для себя строгие правила, которым подчинялся так, словно выполнял чей-то приказ. Работал он очень много, но был чрезвычайно далек от самодовольства и постоянно упрекал себя в лени.

В 1803 году Жуковский написал повесть «Вадим Новгородский». Карамзин поместил ее в своем журнале, сделав к ней следующее примечание: «Молодой автор этой пьесы и мой приятель, г. Жуковский[3], известен читателям «Вестника Европы» по Греевой элегии, им переведенной». Молодой автор неопытен. Повесть наивна, но в ней — волнующая, чрезвычайно близкая Жуковскому тема — любовь к отечеству. К Жуковскому подходят слова, сказанные им об одном из героев: он, как и его герой, «...говорил о славе, о подвигах славян храбрых; изображал их великодушие, их верность в дружбе, святое почтение к обетам и клятвам».

Этот год принес несчастье: умер Андрей Тургенев. Он скончался скоропостижно, простудившись жарким летним днем в Петербурге (есть и другая версия, что Андрей умер от тифа, достоверно, что он болел лишь несколько дней).

Жуковский не мог примириться с гибелью друга. Он мечется из Мишенского в Москву к Тургеневым, из Москвы к Карамзину и нигде не находит покоя. Замыслил издать то, что успел на своем веку написать Андрей Тургенев, и просит друзей собрать все статьи, стихи, письма и дневники покойного.

Василий Андреевич сказал об Андрее Тургеневе: «Ум необыкновенно проницательный, острый и ясный; чистое, исполненное любви к прекрасному сердце... Жизнь его можно назвать прекрасною неисполнившеюся надеждою: в нем созревало все, что составляет прямое достоинство человека; но это все бесплодно погибло для здешнего света».

Увы! протек свинцовый год,
Год тяжкий горя, испытанья;
Но безрассудный, злобный рок
Не облегчил твои страданья, —

пишет Василий Андреевич в следующем, 1804 году.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Педагогическое занятие не есть просто механическое преподавание азбуки и механический счет — это педагогическая поэма, в которую все входит.

В. А. Жуковский. Из письма

1

Младшей дочери Бунина, рано овдовевшей Екатерине Афанасьевне Протасовой, не на что было нанять учителей для своих двух дочек, когда пришла пора их учить. Андрей Иванович Протасов состояние промотал, и его пятеро детей — двое рожденных в законном браке и трое внебрачных — ничего не получили в наследство. Хорошо еще, что у Екатерины Афанасьевны осталось полученное в приданое имение Муратово.

Мария Григорьевна Бунина без обиняков попросила Василия Андреевича взять на себя обучение сестер Протасовых. Он с радостью согласился, считая себя человеком совершенно близким этому семейству. Старшей его ученице, Маше, было двенадцать, а младшей, Саше, десять лет.

Учитель молод: в 1805 году ему исполнилось двадцать два года. Ему очень нравилось преподавать, и ученицы полюбили его уроки. Жуковский в 1805 году составил план занятий с племянницами.

«§ 1. Читать стихотворцев не каждого особенно, а всех одинакового рода вместе; частный характер каждого делается ощутительнее от сравнения. Например, Шиллера, как стихотворца в роде баллад, читать вместе с Бюргером; как стихотворца философического — вместе с Гете и другими; как трагика — вместе с Шекспиром; чтение Расиновых трагедий перемешивать с чтением Вольтеровых, Корнелевых и Кребильоновых. Эпических поэтов перечитать каждого особенно, потом вместе те места, в которых каждый мог иметь один с другим общее,

дабы узнать образ представлений каждого. Сатиры Буало с Горациевыми, Ювеналовыми, Поповыми, Раблеровыми и Кантемировыми. Оды Раблеровы, Горациевы и Державина, Ж. Батиста и прочих. Или не лучше ли читать поэтов в порядке хронологическом, дабы это чтение шло наравне с историей и история объясняла бы самый дух поэтов, и потом уже возобновить чтение сравнительное. Первое чтение было бы философическое, последнее — эстетическое; и обоих бы составилась идея полная. Надобно распределить лучших поэтов хронологически и потом по родам поэзии; после этого распределения назначить порядок их чтения. Тоже и о прозаиках...

§ 2. Занятия: 1) История, 2) Философия, 3) Изящная словесность (языки), 4) Сочинения. Утро: История и Сочинения. Вечер: Философия и Литература. Сначала приготовительные сведения. Потом классики. История — География. История (Гердер, Гаттерер, Гибнер). Вспомогательные науки. Классики. Философия. Предварительные понятия: о натуре, человеке и логике. Классики. Теология и нравственность. Словесность. Языки. Грамматика общая и риторика. Поэты и прозаики. Эстетика. Воспитание».

Василий Андреевич преподавал дочерям Протасовой четыре года. Девочки в совершенстве овладели французским и немецким языками, изучали историю, географию и ботанику, неплохо рисовали, а по-русски писали изумительно четким и благородным стилем. Но что важнее всего: Жуковский занимался воспитанием своих учениц не меньше, чем их образованием. Не докучая им нотациями, он воспитывал их исподволь, незаметно, на мелочах, которые и составляют каждодневную жизнь.

Нелегко ему было внушить дочерям своенравной барыни, что человеку стыдно изнывать от безделья. Ничего не делать могут только больные, им это простительно, а нормальным людям невозможно слоняться по дому и хныкать, что скучно. Дела всегда есть, и нет такой работы, которая была бы постыдной или унизительной для кого-либо.

Главное, говорил Жуковский своим ученицам, чтобы ни один день не прошел даром. По утрам полезно думать, что вам предстоит отправиться в дорогу за счастьем,— следовательно, надо взять нужный для этого запас. Наиглавнейшее дело человека — приобрести способность быть счастливым.

— Маленькие неудовольствия надобно сносить спокойно,— повторял Василий Андреевич своим ученицам,— и никогда не забывать, что вы живете среди тех, от счастья которых зависит и ваше счастье. Надо взять за правило никогда не только по-

ступком, но и намерением не нарушать общего покоя. Быть великодушным, если хотите, даже милосердным к своим близким, прощать им мелкие обиды, вот что значит — любить своих родных.

Девочки души не чаяли в учителе и внимали каждому его слову, он это знал. У Жуковского был неоценимый дар — говорить все вовремя и тогда, когда ученицы ждали, что он выскажет одну из своих задушевных мыслей. Чаще всего поэт повторял:

— В мире нет ничего возвышеннее и прекраснее добрых дел.

Жуковский очень привязался к своим ученицам.



Маша Протасова.
Рис. В. А. Жуковского (?) (1815 г.).

У старшей сестры, Маши, больше самостоятельности, это несравненно более сильный человек, чем Саша. Машенька не идеальная красавица: у нее короткий, чуть вздернутый нос и огромные темно-карие глаза — в ней много прелести и обаяния.

С первого года занятий Машенька чем-то смущала учителя. Началось все с того, что Маша стала краснеть, едва встретится взглядом с Василием Андреевичем.

Как-то однажды Екатерина Афанасьевна Протасова уехала на несколько дней из Белева и увезла с собой дочек. Василий Андреевич затосковал. Он то и дело ловил себя на мысли о Маше. Догадка привела его в ужас. «Можно ли влюбиться в ребенка? — спрашивал себя Жуковский и отвечал: — Нет». Он решил силой воли подавить в своей душе смутившее его чувство, но, когда увидел Машу после краткой разлуки, его охватила такая радость, какой он никогда до тех пор не испытывал.

Вот Жуковский входит в маленькую классную: деловитый и вместе с тем радостно-возбужденный. Ученицы встают, делают реверанс, затем снова садятся. Часы бьют девять.

— Урок из истории сегодня будете отвечать по-французски. Пожалуйста, Маша.

Маша по привычке движением головы отбрасывает назад упавший на лоб локон и отвечает неторопливо и обстоятельно. Эта черта осталась у нее навсегда — немногословие, ясность и четкость изложения.

Краснеющая ученица, смущенный учитель, быстроглазая Сашенька, которая чуть не прыгает от восторга, наблюдая за ними,— так шел последний год занятий.

Авторитет Василия Андреевича у его учениц был очень велик. И это привело к очень важным последствиям.

Обучение дочерей Екатерины Афанасьевны отнимало у поэта много времени, но его рабочий день по-прежнему начинался в пять утра, поэтому он отдавал своим поэтическим занятиям больше часов, чем урокам.

Жуковский много переводил с немецкого, меньше — с английского и французского.

2

Двадцатого ноября 1805 года произошло сражение при Аустерлице между русско-австрийскими войсками и армией Наполеона. Жуковский посвятил этой битве стихотворение «Песнь барда над гробом славян-победителей».

Песнь выдержана в духе классической оды XVIII века, насыщена славянизмами, архаическими оборотами и восклицаниями. Опубликовав ее в 1806 году в журнале «Вестник Европы», Жуковский попросил Александра Тургенева издать «Песнь барда над гробом славян-победителей» отдельной книгой. Эта книга вышла в 1807 году.

Описывая подвиги русских воинов, Жуковский не называет их имен в стихотворении, но зато дает подробные примечания.

О битвы грозный вид! смотри! перун сверкает!
. . . .
Тот, шуйцей рану сжав, десной изнеможенной
Оторванну хоругвь скрывает на груди,—

«Известный поступок солдата Емельянова»,— гласит примечание автора.

Блажен погибший в цвете лет...
О юноша, о ты, бессмертью приобщенный! —

«Здесь автор думал об одном молодом человеке, Новосильцеве, который в прошедшую войну был изранен в сражении и умер от ран, разлученный со своим отечеством, разлученный с родными, которые и теперь оплакивают его потерю. Автор желал бы наименовать всех наших героев, столь недавно принесших в дар отечеству и кровь свою и жизнь, но их имена известны, и благодарность сохранит об них вечное воспоминание»,— говорится в другом примечании.

Искусственность подобных приемов очевидна, но только через шесть лет Жуковский сумеет преодолеть каноны классицизма: поиски новых форм увенчаются успехом, и тема священной любви к отечеству обретет мягкие лирические краски. «Певец во стане русских воинов» будет новым словом в поэзии, хотя в нем и останутся некоторые черты классической оды. «Песнь барда над гробом славян-победителей» лишена той задушевности, которая сделала «Певца» столь популярным. В 1806 году «Песнь барда...» звучала вполне современно.

3

В 1807 году Жуковский решил познакомить русскую публику с романом Мигеля Сервантеса де Сааведра «Дон Кихот».

Добрый, благородный, справедливый, далекий от реальной жизни и горящий любовью к людям, рыцарь печального образа пленил воображение Жуковского. Россия была так бедна хорошими книгами, что Василий Андреевич взялся за перевод, хотя и не знал испанского языка: он переводил с французского перевода Жака-Пьера Флориана.

Появление «Дон Кихота», как и предвидел Жуковский, было важным событием литературной жизни тех лет. Книга вскоре разошлась, появилось второе издание, которое также было быстро распродано. Это доставило переводчику огромную радость. И в дальнейшем, находя у других народов великие произведения искусства в стихах и прозе, Жуковский переводил их для русского читателя.

4

Следующий год отмечен созданием песен, романсов, посланий, основной темой которых была любовь.

Любовь... но я в любви нашел одну мечту,
Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья
И невозвратное надежд уничтоженье,—

в этих словах из послания «К Филалету» сказано все. Искреннее как исповедь, полное тоски и грусти, это стихотворение Жуковского автобиографично.

Любовь стала для Жуковского источником мук, надежд и разочарований, она вдохновила поэта на трогательно-прекрасные, чистые и возвышенные произведения. Все они посвящены Маше Протасовой.

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!

Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы о тебе!

Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Прелесть жизни твоей,
Сей образ чистый, священный,—
В сердце — как тайну ношу.

Я могу лишь любить,
Сказать же, как ты любима,
Может лишь вечность одна!

5

У Маши Протасовой была подруга, которую она любила всей душой,— ее двоюродная сестра Дуняша Юшкова, умная, жизнерадостная, деятельная.

Дружба эта продолжалась и после свадьбы Дуняши. Ее выдали замуж шестнадцати лет за богатого помещика Василия Ивановича Киреевского в январе 1805 года, а в марте следующего года Дуняша родила сына, назвали его Иваном. Не прошло и двух лет, как родился Петр, за ним — Маша.

Киреевские были необыкновенно расположены к Жуковскому. Они постоянно звали его к себе в Долбино, неохотно отпускали его домой в Белев, и поскольку тот рвался к себе работать, Василий Иванович Киреевский оборудовал для него кабинет. В Долбине Жуковскому отвели просторную комнату с книжным шкафом, диваном, креслами и конторкой. Киреевскому было известно, что его друг любит писать стоя.

Жуковский знал, что когда бы он ни приехал, хозяева будут ему рады, Василий Иванович встретит его на крыльце, а Дуня-

ша выйдет ему навстречу веселая, смеющаяся и радостно воскликнет:

— Здравствуй, ангел мой Жуковский! Как хорошо, что ты приехал!

6

Четырнадцатого апреля 1808 года Жуковский закончил свою первую балладу «Людмила». Он дал ей подзаголовок: «Русская баллада»,— указав в примечании — «Подражание Биргеровой Леоноре».

«Людмила» Жуко́вского резко отличается от «Леноры» Готфрида Бюргера. Четверть века спустя Жуковский сделает еще один перевод этой баллады, на этот раз не вольный, а такой, который может служить образцом поэтического перевода. Он имеет неизмененное название — «Ленора», тот же размер, что и в подлиннике (четырехстопный ямб), и те же, что у Бюргера, исторические и географические события и названия. Жуковский лишь несколько смягчил те выражения, которые считал слишком грубыми и резкими.

«Людмила» написана четырехстопным хореем, Жуковский стремится приблизить свое произведение к русскому народному песенному творчеству:

«Где ты, милый? Что с тобою?
С чужеземною красою,
Знать, в далекой стороне
Изменил, неверный, мне;
Иль безвременно могила
Светлый взор твой угасила».

Людмила тщетно ждет своего жениха, который ушел в поход «С грозной ратию славян». Другие ждали своих милых не напрасно, а ее суженый не вернулся.

Горе ее бесконечно, она не хочет больше жить, призывает смерть, упрекает бога, который сулил ей счастье. «Так Людмила жизнь кляла, // Так творца на суд звала...»

В балладе Бюргера Жуковского особенно интересовала тема скорби. Жуковский был убежден, что истинное величие человеческого характера состоит в способности преодолеть даже невыносимое горе. Героиня Бюргера отдается скорби вполне и — погибает. Жизнь для нее потеряла смысл, творец внял ее мольбам и взял ее к себе.

Русская читающая публика получила романтическое, загадочно-прекрасное, овеянное дымкой неопределенности поэтическое сказание. Балладу читали, заучивали наизусть, переписывали в альбомы, она разошлась в огромном количестве экземпляров.

Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зыбких вод,
И небес далеких свод
В светлый сумрак облаченны...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!.. полночный час звучит.

«Все произведения, которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться в истории,— писал Белинский.— К таким произведениям принадлежит «Людмила» Жуковского. ...тогдашнее общество бессознательно почувствовало в этой балладе новый дух творчества, новый мир поэзии — и общество не ошиблось».

7

«Людмила» была напечатана в «Вестнике Европы» в 1808 году. В этом году Василий Андреевич Жуковский принял редактирование этого журнала и переехал в Москву.

Вначале Василий Андреевич поселился у Прокоповича-Антонского на Тверской, в Газетном переулке, где рядом с Университетским благородным пансионом стоял небольшой флигель инспектора. В этом флигеле Прокопович-Антонский отвел Жуковскому маленькую комнату. Василий Андреевич чувствовал себя тут желанным гостем, но его не оставляла мысль, что приятели, постоянно навещавшие его, мешают хозяину. Поэтому, когда один из них, Сергей Михайлович Соковнин, предложил Жуковскому перебраться к нему на Пречистенку, Василий Андреевич с радостью согласился.

У редактора журнала, естественно, образовался обширный круг знакомств. Из новых друзей надо в первую очередь упомянуть Петра Андреевича Вяземского и Николая Ивановича Гнедича. Петр Вяземский был восторженный юноша, тайно от своего опекуна, шурина, писавший стихи. Опекуном его стал

Николай Михайлович Карамзин, который женился на сестре Вяземского. Вяземский относился к Карамзину с обожанием, и поскольку Карамзин был дружен с Жуковским, Вяземский тоже искал с ним дружбы.



Н. И. Гнедич.

Но близкими друзьями они стали значительно позже, пока еще сказывалась разница в возрасте (Василий Андреевич был на девять лет старше Вяземского). А с Гнедичем Жуковский был почти ровесником, их роднила любовь к переводческой деятельности. В доме Соковнина на Пречистенке они провели долгие часы в разговорах о Гомере: год назад Гнедич начал переводить на русский язык «Илиаду». Жуковский древнегреческого не знал, познакомившись с Гнедичем, он решил изучить этот язык, чтобы перевести «Одиссею».

Гнедича Жуковский часто называл Николаем Гомеровичем. Когда впоследствии ему случалось писать Гнедичу, он составлял свои записки гекзаметром, намекая на занятия приятеля.

Здравствуй, мой друг, Николай Иванович Гнедич! Не сетуй,
Долго так от меня не имея ни строчки ответной;
Ведаешь, милый Гомеров толмач, что писать я не падок!
Ведаешь также и то, что и молча любить я умею;
. . . .

Василий Андреевич Жуковский очень недолго был редактором «Вестника Европы»: с 1808 до 1810 года. Но он успел много сделать для этого журнала и для русской журналистики. До 1809 года в «Вестнике Европы» было всего два отдела: «Литература» и «Политика», Жуковский организовал пять отделов: «Словесность», «Наука и искусство», «Критика», «Смесь» и «Обозрение происшествий». В журнале начали печатать «Обозрения произведений искусства», где помещали репродукции с картин, портреты, гравюры, карикатуры.

Интересна переписка Жуковского в это время. Например, письмо к Дмитрию Блудову.

2 Заказ 83

«Ты, Блудов, мог бы доставлять мне рисунки и планы лучших петербургских зданий, разумеется с описаниями; это было бы полезно для моего журнала, который хочу украшать не только пером, но и резцом»,— писал Жуковский Дмитрию Блудову в Петербург. А Александру Тургеневу он пытался дать несколько более сложное задание: «Если бы ты не был и ленив и беспечен, то мог бы быть весьма полезен моему изданию. Первое, доставляя разные известия о ученых обществах петербургских, о литературе, театре и разных разностях, являющихся на горизонте петербургского мира или, по крайней мере, ты мог бы надоумить двух-трех и до полдюжины хлопотливых и умных человек.., которые присылали бы мне разные известия, с полной доверенностью делать из них что мне рассудится. Также не худо было бы, если бы ты снабжал меня и книгами, *годными* для журнала, за которые получал бы от меня деньги аккуратно, ибо типография ассигновала на сии издержки 200 рублей и более; но ты ленив, и ленив, и ленив. Надеюсь, одним словом, что «Вестник» на следующий год будет занимательнее, любопытнее, разнообразнее и вдвое менее принесет доходу. Но черт побери те доходы, которые к нам не доходят!»

Жуковскому приходилось много писать для журнала. В критической статье «О басне и баснях Крылова» Жуковский-романтик выступает как реалист, защищая реализм басен Крылова. Приведя цитату из басни «Лягушки, просящие царя», критик восклицает: «Можно забыть, что читаешь стихи: так этот рассказ легок, прост и свободен. Между тем, какая поэзия! Я разумею здесь под словом *поэзия* искусство представлять предметы так живо, что они кажутся присутственными.

Что ходенем пошло трясинно государство — живопись в самых звуках! Два длинных слова: *ходенем* и *трясинно,* прекрасно изображают потрясение болота:

Со всех лягушки ног
В испуге пометались,
Кто как успел, куда кто мог.

В последнем стихе, напротив, красота состоит в искусном соединении односложных слов, которые своею гармониею представляют скачки и прыганье. Вся эта тирада есть образец легкого, приятного и живописного рассказа». Затем Жуковский переходит к разбору другой басни, помещенной в сборнике Крылова,— «Пустынник и медведь», дает два небольшие отрывка и детально их объясняет: «Все эти слова: *Мишенька, увесистый булыжник, корточки, переводит, думает, и у друга, подка-*

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

ВАСИЛІЕМЪ ЖУКОВСКИМЪ.

ЧАСТЬ XLII



МОСКВА.

Въ Университетской Типографіи,

1808.

Титульный лист журнала «Вестник Европы».

рауля, прекрасно изображают медлительность и осторожность: за пятью длинными, тяжелыми стихами следует быстрое полустишие:

— Хвать друга камнем в лоб.

Это молния, это удар! Вот истинная живопись, и какая противоположность последней картины с первою!»

В начале прошлого века Россию наводняли переводы дешевых, пошлых французских романов. На страницах своего журнала Жуковский вел с ними борьбу.

«...большую часть переводов можно сравнить с ложными слухами, которые и самую истину нередко превращают для нас в небылицу. ...оригинальных русских книг весьма немного... зато какое множество переводов, и каких переводов! Их смело можно назвать оригиналами, ибо они совершенно никакого не имеют сходства с подлинниками. Что же делать критику, посреди сего наводнения, в котором утопает наша несчастная словесность» («О критике», Письмо к издателям «Вестника Европы», 1809).

Публицистические статьи в виде писем к издателям — это дань времени. В статье «О критике» Жуковский выступает против склок, говорит о достоинстве и чести писателя. «И нужно ли заводить междоусобия в спокойной республике литературы, превращать ее в поле сражения, на котором одинаковое бесславие ожидает и победителя и побежденного»,— гласит одно из таких правил.

В «Письме из уезда» Жуковский снова пишет о критике. «*Критика* — но, государи мои, какую пользу может приносить в России критика? Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственных романов?» Нельзя забывать, что это было написано, когда русская журналистика была еще очень молода.

Жуковский всеми силами содействовал ее развитию. «Ожидаю великой пользы от хорошего журнала в России!» — восклицает он.

В эти годы Жуковский много размышляет о роли поэзии и назначении поэта. В дневниковой записи находим следующие строчки: «Поэзия принадлежит к народному воспитанию. И дай бог в течение жизни сделать хоть шаг к этой прекрасной цели».

Миссия писателя, как ее понимал Жуковский, — учить добру и преданности родине. Достичь этого можно лишь упорным трудом. Если литератор не будет много работать, «никогда не до-

стигнет он благородной цели писателя — пользы распространения идей, благодетельных для человечества».

В 1808 году Жуковский пишет статью «Писатель в обществе». В этой статье он снова настаивает на необходимости трудиться в уединении, но не замыкаться от людей. Автор статьи предупреждает, однако, что надо относиться несколько снисходительно к неловкости литератора, ибо в некотором смысле он похож на страстно влюбленного. Ведь «стихотворец... перестает ли быть человеком... членом общества, сыном отечества?

Но всякий читатель, будучи критиком *стихотворца*, есть в то же время и судия *человека;* и горе поэту, если одобрение судии не будет для него столь же важно, как и одобрение критика» («О нравственной силе поэзии» 1809 г.).

Здесь уместно вспомнить известный афоризм, принадлежащий Василию Андреевичу Жуковскому: «Дела поэта — слова его».

«Марьина роща. Старинное предание» — так озаглавил Жуковский свою повесть, помещенную в 1808 году в «Вестнике Европы». Жуковский воспользовался поэтическим названием дальней окраины Москвы, чтобы живописать историю.

Дремучие, непроходимые леса. По берегам светлых тихоструйных речек живут вятичи, высокие, красивые, сильные люди. Пройдут века, и здесь создастся город, прекраснее которого для русского человека нет ничего на свете. И имя этому городу будет дано красивое и гордое — Москва.

Мария, дева сказочной красоты, любит поэта и певца Услада. Но он уезжает, и Мария попадает в замок грозного витязя Рогдая. Богатство не приносит ей счастья, она страдает и, услышав Услада, бросается в Яузу. Рогдай спасает Марию. Она в забытьи прошептала имя певца, тогда ревнивый властелин заживо замуровал красавицу в тереме.

Во времена Жуковского в Марьиной роще уже не было нехоженых троп и уходящих в поднебесье дубов, лишь густая и светлая березовая роща, где в день поминовения усопших устраивались народные гулянья. Но история древней русской столицы волновала поэта.

«Печальное происшествие, случившееся в начале 1809 года» Жуковского направлено против крепостного права.

«Просвещение должно возвышать человека в его собственных глазах — а что унизительнее рабства! Вы замечаете в своем человеке дарования и ум необыкновенный — итак, прежде нежели решитесь открыть ему тайну его сокровища,

возвратите ему свободу (подчеркнуто мною.— *М. Б.*), или убийственное чувство рабства уничтожит все ваши о нем попечения».

Столь же резкие суждения высказывает Василий Андреевич Жуковский в своей рецензии «О новой книге «Училище бедных», сочинение госпожи ле Пренс де Бомон. Перевод Настасьи Плещеевой»: «Ремесленник, который находит удовольствие свое в пьянстве, именно оттого, что лучшее удовольствие неизвестно ему, ужели осужден навсегда сохранить сие несчастное, гибельное для него невежество? И может ли быть такое состояние в обществе человеческом, в котором бы человек, существо умное и способное совершенствоваться, ничем иным не должен был отличаться от грубого скота, кроме образа?»

Свой взгляд просветителя Жуковский выразил предельно ясно: «Возможное, близкое благоденствие отечества моего меня трогает; охота читать книги — очищенная, образованная — сделается общею; просвещение исправит понятия о жизни, о счастии; лучшая, более благородная деятельность оживит умы. Что есть просвещение? Искусство жить, искусство действовать...»

8

Устав от издательских передряг, которые отрывали его от поэзии, Жуковский решил уехать в Белев.

Очутившись в родных краях, он первым делом направился к Екатерине Афанасьевне Протасовой. Она попросила Василия Андреевича начертить план дома в Муратове. Он согласился. Вскоре дом был построен. Он был удобен, красив и вместителен. В конце 1810 года Протасова переехала из Белева в Муратово, в собственный дом.

К этому времени Мария Григорьевна разделила имение между своими наследниками. Жуковскому из бунинского наследства не досталось ничего, кроме десяти тысяч рублей. Он купил на эти деньги крошечную деревеньку близ Муратова и в 1811 году переехал в свой загородный дом (когда Маша соберется уехать в далекий Дерпт, он эту деревушку продаст безо всякого сожаления, но это произойдет спустя четыре года после описываемых событий).

Жуковский был молод, полон сил, энергии, и жизнь, которую он вел в деревенской глуши, не была скучной и однообразной.



*Село Муратово, Орловской губернии.
Рис. В. А. Жуковского (1839 г.).*

Я не в Орле,
Живу в селе,
Земном раю,
И жизнь мою
В труде, во сне
И в тишине
Таясь, веду, —

писал он.

Это время отмечено созданием произведения, которое критики единодушно считают классическим образцом русской сентиментальной лирики. Стихотворение «Певец» переносит читателя все к тому же сельскому пейзажу, который описан в элегии «Сельское кладбище»:

В тени дерев, над чистыми водами
Дерновый холм вы видите ль, друзья?
Чуть слышно там плескает в брег струя;
Чуть ветерок там дышит меж листами;
На ветвях лира и венец...
Увы! друзья, сей холм — могила;
Здесь прах певца земля сокрыла;
Бедный певец!

Он сердцем прост, он нежен был душою,—

повествует автор. Бедный певец — это не Жуковский, но некоторые события его жизни нам знакомы по биографии Жуковского. «Он дружбу пел, дав другу нежну руку.— // Но верный друг во цвете лет угас; // Он пел любовь—но был печален глас; // Увы! он знал любви одну лишь муку».

Стихотворение было чрезвычайно популярно. Лицеист Пушкин, влюбившись, выписывает в дневник строчки:

Он пел любовь, но был печален глас,
Увы! он знал любви одну лишь муку!

Жуковский.

9

В деревне Жуковскому жилось хорошо: писал, много времени уделял самообразованию, переписывался с друзьями, выписывал из столиц нужные книги, а временами, устав от занятий, отправлялся в гости к родным или друзьям, которых у него было немало.

В те годы на всю губернию славился крепостной театр Александра Алексеевича Плещеева, которого с Жуковским связывала многолетняя дружба. Василий Андреевич часто гостил в его роскошном имении в Черни, в Болховском уезде Орловской губернии. Плещеев страстно любил театр. Был талантливым режиссером и оформителем спектаклей. У Плещеева было еще одно дарование — он неплохо сочинял музыку. Жуковскому он помогал писать диалоги в шуточных пьесах для домашнего театра.

Эти пьесы пользовались успехом, на представления съезжались знакомые из дальних и ближних поместий, многие из других губерний.

В других домах, где театра и быть не могло, часто играли в игру, которая называлась «Секретарь». Игра была в большой моде. Играли в нее так: каждый участник записывал на бумажке два предмета или явления, записки клали в коробку, затем тащили жребий. Оставалось указать сходство и различие обозначенных на доставшейся записке слов. Тот из играющих, кто придумывал самый остроумный ответ, избирался на этот вечер «королем секретарей». Он отдавал распоряжения — кому петь, кому плясать, кому поцеловать другого, поднимался шум, веселье, взрослые забывали о своем возрасте и громко хохотали. Жуковский увлекался игрой необыкновенно.

Порой он писал отличные экспромты. Например, «Звезда и корабль»:

Звезда небес плывет пучиною небесной,
Пучиной бурных волн земной корабль плывет!
Кто по небу ведет звезду — нам неизвестно;
Но по морю корабль звезда небес ведет!

10

Бунинская семья была большая, добрая. Тон задавала Мария Григорьевна. Ее любили и дочери, и зятья, и внуки. Но больше всех ее любила Елизавета Дементьевна, Сальха. Когда 13 мая 1811 года Мария Григорьевна умерла, Сальха слегла. Она была совершенно убеждена, что ей невозможно пережить Бунину. Через две недели ее не стало.

Жуковский только теперь и понял, как она была ему дорога. Он ничего не успел для нее сделать...

Екатерина Афанасьевна пригласила Василия Андреевича погостить в Муратове. Ему было тоскливо в опустевшем доме, он принял приглашение. А попав в Муратово, увидев Машу, осознал, что никогда никого на свете не будет любить так, как ее. Он посвящал ей стихи, его любовная лирика задушевно-интимна, в стихах Жуковского — искреннее, горячее чувство, его первая любовь.

Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравненья,
Люблю тебя, дышу тобой;
Но где для страсти выраженья?
Во всех природы красотах
Твой образ милый я встречаю;
Прелестных вижу — в их чертах
Одну тебя воображаю.

Беру перо — им начертать
Могу лишь имя незабвенной;
Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной:
С тобой, один, вблизи, вдали
Тебя любить — одна мне радость;
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

(«Песня»)

Это произведение настолько полно выражает состояние души Жуковского, что воспринимается как оригинальное, более того, как автобиографическое. Оно и на самом деле является таковым, хотя это перевод французского стихотворения Филиппа Фабра д'Эглантина.

Любовь к Маше Протасовой, надежда на возможность получить согласие ее матери на брак с нею легли в основу еще одного очень известного в свое время романса Жуковского «Пловец», музыку к которому написал Плещеев.

Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла,
В океан неисходимый
Буря челн мой занесла.
В тучах звездочка светилась;
«Не скрывайся!» — я взывал;
Непреклонная сокрылась
Якорь был — и тот пропал.

Это море житейских бед, из него автор попал в спасительную райскую обитель и в ней увидел «трех ангелов небес». Это, разумеется, Екатерина Афанасьевна Протасова и ее две дочери.

О судьба! одно желанье:
Дай все блага им вкусить;
Пусть им радость — мне страданье;
Но... не дай их пережить.

В январе 1812 года Василий Андреевич ненадолго уехал в Москву. Через некоторое время Екатерина Афанасьевна получила от него письмо, в котором Жуковский просил руки ее старшей дочери и уверял, что Машенька будет с ним счастлива.

Екатерина Афанасьевна была в ужасе. Она не понимала, как Жуковскому могла прийти в голову такая мысль, наивно полагая, что у него к ее семейству должны быть только такие чувства, как у нее к нему, то есть чисто родственные.

Екатерина Афанасьевна ни слова не сказала дочери о предложении Василия Андреевича, а ему написала письмо, которое должно было расхолодить любую голову, кроме, разве, головы поэта. Она запретила Жуковскому даже говорить о его любви.

Жуковский обещал...

ПОЭТ-ВОИН

Одни только русские могли устоять: они сражались под отечественным небом и стояли на родной земле.

Ф. Н. Глинка. Воспоминания

1

В ночь на 12 июня 1812 года шестисоттысячное войско Наполеона перешло русскую границу. Началась война.

Василий Андреевич Жуковский решил записаться в ополчение, но его мучила мысль, что если он будет убит, Маша ничего не узнает о его любви, ей никогда не расскажут, что он просил ее руки. Слово, данное Протасовой, мешало ему что бы то ни было предпринять, и это его настроило на мрачный лад. Но в конце концов Жуковский нашел выход.

В середине лета у Плещеевых в Черни был праздник — именины хозяина. Гостей съехалось множество, среди них и родственники Жуковского.

После обеда давали концерт. В начале шла веселая комическая пьеса, а потом музыкальные номера. Жуковский под аккомпанемент Плещеева исполнил свой романс «Пловец».

Голос у Жуковского был небольшой, но пел он прекрасно. А в этот день он вообще был в ударе. Пел Василий Андреевич, не спуская глаз с Маши, ее бросало то в жар, то в холод, — это было жаркое признание в любви двадцатидевятилетнего автора. Последние его слова: «Но... не дай их пережить» — вызвали слезы умиления растроганных слушательниц и громкие аплодисменты.

Дуняша Киреевская впоследствии вспоминала, что никогда не видела Жуковского таким красивым и никогда он не пел так хорошо, как в этот день.

Екатерина Афанасьевна усмотрела в поведении Жуковского нарушение ее запрета говорить о любви. Она обиделась.

Василий Андреевич уехал к себе, наскоро сделал необходимые приготовления в дорогу и записался в Московское ополчение. Как тысячи его сверстников, он рвался в бой.

Жуковского и его друга Вяземского провожал на войну Николай Михайлович Карамзин. Он крепко их обнял, поцеловал и благословил на ратный подвиг. В глазах Карамзина стояли слезы.

Московское ополчение шло на запад. Поручик Жуковский успел послать весточку Машеньке. Она записала в дневнике 7 августа:

«Получено письмо от Жуковского из деревни Перхушкиной, он прошел пешком 28 верст, идет к Можайску. Сохрани его господь, он не поглядел на усталость, ни на все препятствия — написал ко мне». Эта запись опровергает утверждение биографов Жуковского о том, что он поступил в ополчение 12 августа. Дневник, в котором она сделана, был коллективный: его вели Мария и Александра Протасовы и Авдотья Киреевская, когда поселились в середине лета в большом доме Плещеева в Орле. В деревне оставаться не хотели: боялись французов.

Настал великий день Бородина.

Много лет спустя Жуковский описал Бородинское сражение: «...две армии стали на этих полях одна перед другою: в одной Наполеон и все народы Европы, в другой одна Россия. Накануне сражения (25 августа) все было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со звуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце село прекрасно; вечер наступил безоблачный и холодный; ночь овладела небом, которое было темно и ясно, и звезды ярко горели; зажглись костры; наконец, армия заснула вся с мыслью, что на другой день быть великому бою. И тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании и в этом глубоком темном небе, полном звезд и мирно распростертом над двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение...

Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель; ядра, невидимо откуда, к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело; огромные клубы дыма подымались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного

пожара, и наконец ужасной белой тучей обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями. Во все продолжение боя нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец, с наступлением темноты, сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Тут нам велено было двинуться вперед, и мы очутились на возвышении посреди армии; вдали царствовал мрак; все покрыто было густым туманом, смешавшимся с дымом, и костры неприятельских биваков горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы не долго оставались на месте; армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темной ночью. Вот то, что мои глаза видели здесь за 27-мь лет. Теперь на Бородинском поле картина иная. Батареи на высотах исчезли; по ним переливается жатва, и один монумент Бородинский ими владычествует».

Этот отрывок из письма по существу является законченным художественным произведением, и в дореволюционных собраниях сочинений Жуковского он печатался под заголовком: «Бородинская годовщина».

Письмо было написано Жуковским 5 сентября 1839 года великой княжне Марии Николаевне, которая имела обыкновение передавать подобные письма для опубликования редактору журнала «Современник» Петру Александровичу Плетневу. Так случилось и с этим письмом: в том же году оно было опубликовано.

Разумеется, Жуковский адресовал его не одной своей корреспондентке. Также не подлежит сомнению, что без путешествия на место Бородинского сражения Жуковский не вспомнил бы все, чему был свидетелем, так отчетливо. Друзьям он говорил, что это верный признак старости: давнишние события оживают в памяти, словно они произошли вчера, а то, что случилось недавно, моментально забывается.

Ночь после сражения Жуковский описал в стихах:

Я помню ночь: как бранный щит,
Луна в небесном рдела мраке;
Наш стан молчаньем был покрыт,
И ратник в лиственном биваке
Вооруженный мирно спал;
Лишь стражу стража окликал,
Костры дымились, пламенея,
И кое-где перед огнем,

На ярком пламени чернея,
Стоял казак с своим конем,
Окутан буркою косматой;
Там острых копий ряд крылатой
В сияньи месяца сверкал;
. . . .
И ветерок равно порхал
Над благовонными цветами,
Над лоном трепетных зыбей,
Над бронями, над знаменами
И над безмолвными рядами
Объятых сном богатырей...

Автор знал солдат, знал, что русские солдаты идут в бой за отечество, и в этом — тайна их непобедимости. Жуковский, всегда находивший нужное слово, назвал участников Бородинского боя богатырями. Мысль об этих богатырях всегда будет вызывать гордость у читателя, что он тоже русский, что здесь воспета его мощь, его героическое прошлое, его народ.

* * *

Десятого сентября к орловскому губернатору прибыл из действующей армии курьер поручик Василий Жуковский. Велика была радость встречи с Машей: услышав голос Василия Андреевича, она выскочила в прихожую, и он, забыв всякую осторожность, обнял ее и поцеловал. За ней выбежала Саша, ахнула от неожиданности и осталась стоять в дверях. Девушки ввели поручика в гостиную, Екатерина Афанасьевна его обняла и расцеловала. Пили чай всей семьей, как в Муратове, потом пришла Дуняша с Василием Ивановичем и засиделись за полночь. «Этот бесподобный вечер никогда не забудется», — записано в дневнике трех сестер.

Жуковский, однако, привез грустные вести: в Орел должны были доставить пять тысяч раненых. Их привезли 17 сентября. Сто восемьдесят человек разместили в доме Плещеева, и в первую же ночь из ста восьмидесяти умерло двадцать! Утром, едва проснувшись, Машенька подошла к окну и выглянула на улицу. Она увидела тяжело нагруженную телегу, выезжавшую со двора, и возницу, который шел рядом, держа под уздцы лошадь. Маша хотела было уже отойти от окна, как вдруг заметила, что из-под мешковины, которой был накрыт груз, выглядывает закоченевшая человеческая нога. Она сразу поняла, что это те самые раненые, которые скончались ночью. Маша бросилась к сестрам, они быстро оделись и отправились к раненым. Подой-

дя к старому фельдшеру, спросили, можно ли им помочь раненым.

— Бог с вами, барышни, какая уж от вас может быть помощь.

Но, взглянув на Машу, он добавил:

— Вот разве что уговорите Кожухова, чтоб лежал спокойно, а то ведь беда: все порывается встать, а у самого пуля в груди; вошла слева, застряла справа.

У Сашеньки глаза сразу наполнились слезами, Дуняша ахнула, а Маша спокойно, словно она только и делала, что ухаживала за ранеными, спросила:

— Где он?

— Пойдемте, барышня.

Она вошла в зал, — собранная, неторопливая, деловитая. В ее лице было что-то до того домашнее, доброжелательное, что Кожухову, к которому ее подвел фельдшер, показалось, будто он знаком с нею.

— Сколько вам лет? — не удержалась от вопроса Маша, пораженная его молодостью.

— Семнадцать, — ответил он.

— Шестнадцать, шестнадцать их благородию, — уточнил фельдшер.

Маша улыбнулась.

С тех пор сестры Протасовы постоянно приходили в лазарет: они помогали санитарам поить и кормить раненых и относились к своим обязанностям исключительно внимательно и серьезно.

Жуковский снова уехал в армию, девушки что ни день вспоминали, как он хорош в своем синем казацком кафтане, без конца перечитывали его письма и стихи.

«23 октября 1812 года. Приехал человек Плещеевых и привез стихи Жуковского, которые бесподобны, и мы перечитывали их раз десять».

2

Есть все основания полагать, что новое произведение Василия Андреевича Жуковского, полученное в Орле 23 октября, — не что иное, как стихотворение «Певец во стане русских воинов», написанное перед сражением при Тарутине. Тарутинское сражение состоялось 6 октября. Кутузов атаковал и разбил

французский авангард, что и послужило началом разгрома армии Наполеона.

Жуковский дал своему произведению название:

«ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ».

На поле бранном тишина,
Огни между шатрами.
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.

Жуковский пишет о Кутузове:

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь и дождь
И труд он делит с нами.
О, сколь с израненным челом
Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом,
И сколь врагу ужасен!
. . . .
Хвала сподвижникам-вождям;
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твои перуны.
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

Это было первое художественное произведение, в котором подчеркивался народный характер войны Двенадцатого года: не избранный герой, а русские воины добыли победу.

Их подвиг свят: то правых брань
С злодейскими ордами.
Пришло разрушить их мечам
Племен порабощенье;
Самим губителя рабам
Победы их спасенье.

До нас дошло красноречивое свидетельство современника: только и разговаривали о стихах Жуковского, только их и повторяли друг другу наизусть.

Время было беспримерное, и Жуковский явился достойным его выразителем.

3

В армии Жуковский встретил своего приятеля Андрея Сергеевича Кайсарова, того самого, который входил в «Дружеское литературное общество». Это был выдающийся человек. Шесть лет назад он защитил в Геттингенском университете диссертацию на латинском языке: «О необходимости освобождения рабов в России». О ней было много разговоров. Молодой ученый доказал экономическую и моральную несостоятельность крепостного права.

Встретив Жуковского, Кайсаров обрадовался: ему нужны были талантливые литераторы для первой русской походной типографии, которую он организовал в действующей армии. Брат Андрея Паисий Сергеевич Кайсаров был адъютантом и доверенным лицом Кутузова, он взял Жуковского в штаб главнокомандующего.

Василий Андреевич Жуковский сотрудничал в походной газете: писал стихи и краткие воззвания.

Кутузов тоже использовал писательское дарование поручика: Жуковскому было доверено составлять реляции о действиях русской армии.

В конце 1812 года Жуковский получил чин штабс-капитана. За отличную службу он был удостоен ордена Святой Анны второй степени, и, можно утверждать с полным основанием, перед ним открылась возможность сделать блестящую военную карьеру. Однако у Жуковского и в мыслях не было ничего подобного. «Я... записался под знамена не для чина, не для креста и не по выбору собственному, а потому, что в *это время* всякому *должно* было быть военным, даже и не имея охоты...» — писал он Александру Ивановичу Тургеневу.

Под Красным с Жуковским стряслась беда: он заболел горячкой.

4

Жуковский не помнил, как попал в лазарет. Когда от Кутузова прислали спросить, в каком он состоянии, полковый лекарь только пожал плечами:

— Труден, очень труден. Третий день в беспамятстве.

Кризис миновал, но выздоравливал Жуковский медленно. Начав ходить, стал просить доктора, чтобы вернул его в полк, но тот замахал на него руками.

— Когда я окончательно выздоровлю, французов здесь и в помине не будет, — убеждал врача больной.

— Василий Андреевич, голубчик вы мой, кампании вы все равно не сделаете. Поверьте моему опыту. В таких условиях, при двадцатиградусном морозе, вы сляжете после первого же перехода. Болезнь начнется сызнова, с той только разницей, что организм ваш с ней не справится: он обессилен. И мой долг — отправить вас долечиваться домой.

Жуковский приехал в Муратово 13 января 1813 года. Стояли тридцатиградусные морозы, дороги замело, он отчаянно продрог в кибитке и был несказанно рад, когда за поворотом дороги увидел знакомый, им самим когда-то построенный дом.

Приняли его, как родного, так встречают только самых дорогих гостей, но по лицу Екатерины Афанасьевны он видел, что ей не хочется, чтобы он останавливался у нее в доме. Распрощавшись со всеми, Василий Андреевич уехал к себе. У него накопилось много впечатлений, впечатления эти были сильны, он должен был писать, не писать не мог.

5

Четырнадцатого мая 1813 года в битве при Ганау был убит Андрей Сергеевич Кайсаров. Кайсаров был отважен, горяч, ему шел тридцать первый год...

А время мчится без возврата,
И жизнь-изменница за ним;
Один уходит за другим;
Друг, оглянись... еще нет брата!
Час от часу пустее свет;
Пустей дорога перед нами,—

писал Жуковский о смерти Кайсарова.

Как только лег снег, к Жуковскому пожаловал гость, Александр Федорович Воейков, в доме которого на Девичьем поле собирались члены «Дружеского литературного общества». Василий Андреевич никогда не был особенно дружен с Воейковым, который был старше его, но Жуковский обрадовался новому человеку:

Добро пожаловать, певец,
Товарищ-друг, хотя и льстец,
В смиренную обитель брата...

Так начинается послание Жуковского «К Воейкову», имеющее следующее примечание автора: «А. Ф. Воейков, известный

наш стихотворец, объездив некоторые южные провинции России, посетил автора, жившего в деревне (в конце 1813 года). Он написал несколько стихов в похвалу поэмы его «Владимир», существующей в одном только воображении».

Жуковский написал свое послание в ответ на послание к нему Воейкова, в котором есть следующие строчки:

Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю!
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!
Нам предметов не заимствовать
И за словом не за море плыть!
На Руси был свой Великий Карл,
Князь Владимир, солнце светлое...

Хотя Жуковский и не написал поэмы «Владимир», в ответе Воейкову он посвятил шестьдесят строк ее плану:

Я вижу древни чудеса:
Вот наше солнышко-краса
Владимир-князь с богатырями;
Вот Днепр кипит между скалами;
Вот златоверхий Киев-град;
И бусурманов тьмы, как пруги,
Вокруг зубчатых степ кипят;
Сверкают шлемы и кольчуги;
. . . .

Далее через степи и дремучие леса не скачет витязь, а летит, громя чудищ, ведьм и великанов,

И вот внезапно занесен
В жилище чародеев он;
Пред ним чернеет лес ужасный!
Сияет блеск вдали прекрасный;
Чем ближе он — тем дале свет;
То тяжкий филина полет,
То вранов раздается рокот;
То слышится русалки хохот;
То вдруг из-за седого пня
Выходит леший козлоногий;
. . . .

В критической литературе этот отрывок справедливо считается прообразом пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Более того, Пушкин счел нужным поместить пятьдесят три строки из послания «К Воейкову» в примечаниях к «Кавказскому пленнику», назвав их прелестными стихами.

Жуковский встретил Воейкова, как доброго знакомого. Ввел его в дом Протасовой и поделился своим горем: рассказал о ка-

тегорическом отказе Екатерины Афанасьевны выдать за него старшую дочь. Воейков слушал его сочувственно и выразил желание помочь Василию Андреевичу. Но поступил иначе: стал тайком наговаривать Протасовой на Жуковского, убеждая ее, что нельзя отдавать дочь за такого безответственного и несолидного человека, как Жуковский.

Прошло немного времени, и Жуковский обнаружил, что Протасова начала проявлять явное расположение к Воейкову, она выказывала ему предпочтение перед Жуковским.

Василий Андреевич ничего не мог понять. Порой он замечал в глазах Екатерины Афанасьевны нескрываемое торжество и злорадство. Это его огорчало, на душе становилось тяжело.

6

О настроении Жуковского можно судить по его стихам. В сентябре 1813 года он писал в послании, озаглавленном: «Тургеневу, в ответ на его письмо»:

О! не бывать минувшему назад!
Сколь весело промчалися те годы,
Когда мы все, товарищи-друзья,
Делили жизнь на лоне у Свободы!
. . . .
Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?
Нет и следов; исчезло все — и сад
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.

Вспомнив об умерших отце и брате Александра Ивановича Тургенева, Жуковский восклицает:

. . . . . . Друг милый, упованье!
Гробами их рубеж означен тот,
За коим нас свободы гений ждет,
С спокойствием, бесчувствием, забвеньем.
Пришед туда, о друг, с каким презреньем
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет;
Где милое один минутный цвет;
Где мнение над совестью властитель;
Где все, мой друг, иль жертва, иль губитель!..

Небогатый дом Жуковского, чистый и опрятный, был свидетелем его неустанных трудов. Удивительный характер был у это-

го человека! Жуковский был прирожденным оптимистом, и самое одиночество свое называл уединением, находя в нем благодатные для поэта обстоятельства.

Дружи с Уединеньем!
Изнежен наслажденьем,
Сын света незнаком
С сим добрым божеством, —

советует Жуковский в стихотворении, которое так и называется — «Уединение».

7

Новый, 1814 год Жуковский встречал в Черни, у Плещеева. Здесь собрались все родственники и друзья Жуковского.

За праздничным столом Жуковский очутился рядом с Дуняшей. Едва гости заняли свои места, как появился крепостной актер, наряженный двуликим Янусом. Повернувшись к собравшимся лицом старика, он начал декламировать стихи, написанные Жуковским для этого праздника:

Друзья, я восемьсот
Увы! тринадесятый,
Весельем небогатый
И очень старый год.

Затем Янус повернулся к зрителям молодым лицом:

А брат, наследник мой,
Четырнадцатый родом,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой.

Часы начали бить полночь, зазвенели бокалы, и тут вспыхнула ссора между двумя пленными французскими офицерами, которых хозяева приютили у себя до лучших времен: оба они получили тяжелые ранения, от которых еще не вылечились. Один из них был бонапартист.

— Пью за здоровье императора Наполеона! — громогласно заявил бонапартист.

Все мужчины встали и с решительными лицами направились к нему.

— Боже мой, что теперь будет,— воскликнула Дуняша.

Но тут вмешался Жуковский, который в ответственные моменты никогда не терял самообладания:

— Господа, испокон века пленные на Руси всегда были в безопасности,— спокойно сказал он, отводя на место помещика Боборыкина, который отличался крайне вспыльчивым характером.

— Правильно, лежачего не бьют,— провозгласил Плещеев, садясь на свое место.

Отношения с Екатериной Афанасьевной становились все хуже и хуже. Любовь Василия Андреевича она воспринимала как его каприз и разобиделась. Случалось, становилось так плохо, что Жуковский не выдерживал и бежал к доброму старому другу Дуняше, которая недавно овдовела.

В Долбине, как и в те времена, когда был жив Киреевский, для Василия Андреевича была отведена комната, где он мог работать сколько душе угодно.

Здесь Жуковскому легко писалось, и стихи выходили из-под его пера легкие, стремительные, иногда насмешливые, иногда чуть грустные, а иногда сатирические, хотя он и утверждал, что сатиру не любил.

Тридцать пять долбинских стихотворений — так назвал их автор,— они как бы предваряют бурю насмешек и эпиграмм, рожденную «Арзамасом».

Закон — на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих средь дороги,
Иль их сворачить назад,
Или им путать ноги.
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет!
Никто и подождать не хочет!
Кто ростом мал — тот вниз проскочит,
А кто велик — перешагнет!

(«Что такое закон»)

Было бы неверно утверждать, что Василий Андреевич Жуковский уходил от тягот жизни в поэзию, ибо поэзия была для него жизнью. Он блестяще выразил это в стихах:

Для меня в то время было
Жизнь и поэзия — одно.

«СВЕТЛАНА»

Мы не имели своих средних веков, Жуковский дал нам их.

В. Г. Белинский

1

В середине лета 1814 года Жуковский отправился в столицу. В пути встретил знакомого помещика, владельца деревеньки неподалеку от Бунино, который после обычных фраз о погоде, о видах на урожай спросил, что он думает о предстоящей свадьбе.

— О какой свадьбе? — удивился Василий Андреевич.

— Неужели Екатерина Афанасьевна держит это в тайне? Воейков сватался к Сашеньке и получил согласие.

— Быть этого не может!

— Помилуйте, Василий Андреевич! Уж и день назначили, да по каким-то причинам отложили. Екатерина Афанасьевна сказывала моей супруге, что жених очень опечален отсрочкой.

Помещик хихикнул и многозначительно подмигнул Жуковскому. Василий Андреевич тут же решил ехать обратно в Муратово. Из головы все не шли мысли о свадьбе Саши и о необычайной сговорчивости Екатерины Афанасьевны. «Боже мой, до чего же быстро она умеет соглашаться,— думал Жуковский.— Наверно, Сашенька влюбилась, и это тронуло материнское сердце».

Первоначально свадьбу назначили на второе июля, но денег не было, и Екатерине Афанасьевне, к великому огорчению жениха, пришлось перенести торжество на 14 июля 1814 года (эту дату Воейков вырезал на своей печатке). Протасова дума-

ла только о том, как бы скрыть от жениха свою бедность, ей и в голову не приходило, что он занят тем же.

Тут и явился их добрый ангел. Жуковский узнал о ее трудностях и продал свое крошечное сельцо рядом с Муратовом, единственную ценность, которую он имел. Он получил одиннадцать тысяч рублей и привез их Протасовой.

Второй подарок Жуковского Александре Андреевне Протасовой — баллада «Светлана».

Раз, в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат,
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Тускло светится луна
В сумраке тумана,—
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
. . . .

Свадьба Сашеньки Протасовой состоялась в разгар лета, а в балладе воспета русская зима, ибо, как ни красно лето, а зима, с ее дивными праздниками, больше говорит русскому сердцу.

Жуковский любил старинные обряды и праздники; его трогало, что они всем приносили радость.

Снег на солнышке блестит,
Пар алеет тонкий...
Чу!.. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий;
На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
Санки кони рьяны;
Ближе; вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идет...
Кто?.. Жених Светланы.

Невозможно не полюбить героиню, это изумительный женский образ: в Светлане столько чистоты и очарования, что она

стала символом верности и срастной преданности русской девушки.

O! не знай сих страшных снов
   Ты, моя Светлана...
. . . .
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
   Дней ее подруга.

«Светлана» творение бессмертное, воплощение дивных, чарующих преданий, чистых и трогательно-наивных.

Современные Жуковскому критики признали «Светлану» его шедевром, автора называли «певцом Светланы».

2

В начале прошлого века новаторским был самый жанр баллады. Жуковский работал над балладами с восторгом, в них воплотился его романтизм, и, поскольку он вкладывал и в оригинальные и в переводные произведения что-то свое, выстраданное, глубоко интимное,— это делало их понятными читателям, и в этом, по-видимому, и заключается секрет их чрезвычайной популярности.

В октябре 1814 года он перевел стихотворение Монкрифа «Верная любовь Алисы и Алексиса». Жуковский сделал из него балладу «Алина и Альсим», которая сразу после опубликования стала знаменита, как его лучшие баллады:

Алина матери призналась:
   «Мне мил Альсим;
Давно я втайне поменялась
   Душою с ним;
Давно *люблю* ему сказала;
   Дай счастье нам».—
«Нет, дочь моя, за генерала
   Тебя отдам».

Этот легкий, как разговорная речь, стих придает балладе достоверность реальной жизни. В ответе матери Алины нет ничего от сказочного стиля баллад, так могла сказать и Екатерина Афанасьевна Протасова любой из своих дочерей. Автобиографические мотивы в этом произведении особенно сильны: на его вторичное сватовство Протасова отказала ему столь решительно, что у Жуковского не должно было остаться никаких надежд получить руку ее дочери.

Поэт горестно восклицает:



В. А. Жуковский.
С портрета Кипренского (1818 г.)

Зачем, зачем вы разорвали
    Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали,—
    Всему конец.
Что пользы в платье золотое
    Себя рядить?
Богатство на земле прямое
    Одно: любить.

В том же году Жуковский написал еще одно автобиографическое произведение, балладу «Эолова арфа». Тема все та же —

запретная любовь. Царская дочь, красавица Минвана, полюбила бедного певца. Сюжет баллады трагичен, и это чувствуется уже по первым аккордам: Жуковский прибегает к звукописи, настойчивое повторение рокочущего «р», входящего и в имя царя, и в название его страны, создает ощущение грозной, неотвратимой силы.

Владыко Морвены,
Жил в дедовском замке могучий Ордал;
Над озером стены
Зубчатые замок с холма возвышал;
Прибрежны дубравы
Склонялись к водам,
И стлался кудрявый
Кустарник по злачным окрестным холмам.

Младая Минвана
Красой озаряла родительский дом;
Как зыби тумана,
Зарею златимы над свежим холмом,
Так кудри густые
С главы молодой
На перси младые,
Вияся, бежали струей золотой.

Минвана была красавицей, в дом ее отца стекались знатные витязи, могучий Ордал гордился дочерью, а она полюбила не короля и не принца, а бедного менестреля.

В 1843 году Белинский писал об «Эоловой арфе», что в ней «сосредоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского. Эта любовь, несчастная по неравенству состояний, младенчески невинная, мечтательная и грустная, это свидание под дубом, полное тихого блаженства и трепетного предчувствия близкого горя, и арфа, повешенная «залогом прекрасных минувших дней», и явление милой тени одинокой красавице, сопровождаемое таинственными звуками и возвестившее утрату всего милого на земле: все это так и дышит музыкой северного романтизма, неопределенного, туманного, унылого, возникшего на гранитной почве Скандинавии и туманных берегах Альбиона... Надо живо помнить первые лета своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не охватили его своим порывистым пламенем,— надо живо помнить эти дни сладкой тоски, мечтательного раздумья ...надо живо помнить это время своей жизни, чтобы понять, какое глубокое впечатление должны производить на юную душу эти прекрасные стихи последнего куплета баллады:

И нет уж Минваны...
Когда от потоков, холмов и полей
Восходят туманы,
И светит, как в дыме, луна без лучей
Две видятся тени:
Слившись, летят
К знакомой им сени...
И дуб шевелится, и струны звучат.

Это тоже словно для того и написано, чтобы тронуть сердце суровой матери, разлучающей влюбленных. Однако сердце Екатерины Афанасьевны его стихи не трогали. Случалось, она прогоняла Жуковского, он уезжал, но забыть Машу не мог.

Когда он не видел свою возлюбленную, у него возникала потребность говорить о ней, писать о ней, читать ее письма. В этом случае не было для него лучшего собеседника, чем его старый друг Дуняша. Жуковский изливал душу Авдотье Петровне, а ему и невдомек было, что Дуняша тоже страдает, что она тоже влюблена, и менее всего он задумывался о том, что она может быть влюблена в него.

Дуняша любила Жуковского с детских лет: ей шел одиннадцатый год, когда она писала ему в Университетский пансион, называя Юпитер моего сердца. Замужество, дети заставили ее забыть детскую любовь, но, оставшись в двадцать три года вдовой, Дуняша полюбила поэта. Весь избыток душевных сил она старалась отдать детям, но это была горячая, страстная, порывистая натура, стоило ей увидеть Жуковского, она вся преображалась: глаза блестели от радости, она не могла скрыть волнения.

Они часто виделись, переписывались тоже часто.

А. П. Киреевская — В. А. Жуковскому

Письмо ваше буду беречь, как драгоценный знак дружеского участия; и ежели бы дружба моя к вам могла бы увеличиться, то думаю, что теперь стала бы любить вас и уважать еще больше.

На все то, что вы мне сказали, возражений я делать не буду, вам этого нечего бояться, а скажу вам просто то, что чувствую, не соглашаясь с воображением, а с самолюбием еще меньше. ...я давно уже обещала себе переломить все слишком сильные движения души и удерживать их рассудком; и так на этот счет не беспокойтесь. ...Вчера целый день не писала к вам для того, что было очень грустно, и, боясь сказать многое, что вам показалось бы непростительно и непонятно; сегодня спешу.

Еще одно слово о вашем последнем пункте. Неужели вы думаете, что я не вижу, что совсем не исполняю многих долж-

ностей и самым непростительным манером, и что в то время, когда пишу ноты и читаю Инфланда, все равно ежели бы меня и не было совсем. Поверьте, что это меня больше всего сокрушает. Я была бы совершенно довольна, если бы могла посвятить себя совсем воспитанию детей, и заняться порядочно хозяйством. Если бы намерения, которые мы имели *вместе,* могли бы теперь исполниться, хотя я и одна, то верно и мне бы лучше было жить и хозяйство наше пошло бы путем и дети были бы добрые, полезные люди, и вечно обожали бы отца своего»

(1813 г.)

Через некоторое время Авдотья Петровна писала Жуковскому:

«Ваше письмецо сильно встревожило мою душу! Много разных чувств беспрестанно в ней меняются! Иногда кажется мне, будто вы меня вытащили из какого-нибудь страшного рва, а иногда боюсь опять туда упасть. Друг мой! На вашей великой душе основано счастье многих, а точнее все счастье Маши! Я наперед знаю, что она вам будет отвечать и вижу ту радость, с которой читать будет ваше письмо. Хотела вам написать *ответ* на то письмо, которое вы к ней писать *собираетесь,* и это вместе с тем был бы ответ на то, что мне вы велели написать себе, но — до свидания.

Теперь сердце слишком полно! А подле меня Полонская, которая удивляется и красным глазам моим, и биению сердца, и дрожанию.

Милый, хочется вас увидеть! — Вы еще привезете запасу мечтам моим. Хороши они были! И тяжело будет с ними расставаться.

Вы спрашиваете, в чем я себя упрекаю? ...Милый Жуковский! Мне досадно на себя, безделица веселит меня и возвращает надежду; многие ощутительные несчастия давно бы должны были прогнать и легковерие, и мечтательность; между тем что-то вы скажете, а письмо маменькино здесь,— да уж и какое! ...

Посылаю вам, брат милый, деньги, которые вы приказываете. Знаете, что скоро буду очень богата? Лес мой продается! Пожалуй, хоть в Париж, хоть в Лондон. *1814 г.»*

Вероятно, Василий Андреевич был бы искренне огорчен, если бы узнал о чувствах Дуняши. Но он ни о чем не догадывался, он думал о другой.

— Люблю Машу, как жизнь,— признался он однажды своему лучшему другу Андрею Ивановичу Тургеневу.



Г. Р. Державин.

3

В 1814 году Василий Андреевич создал произведение, нашумевшее на всю Россию:

Императору Александру
Послание.

Современники считали послание Жуковского дерзким, и оно, безусловно, было таковым и по содержанию и по самому факту обращения к царю. Это было время, когда писать произведения этого жанра мог разве что Державин, потому что еще Екатерина Вторая запретила поэтам обращаться с посланиями к коронованным особам, ибо заметила у сочинителей склонность приписывать ей их собственные мысли. К слову сказать, Гаврила Романович Державин и подал Жуковскому мысль о том, что считает его своим преемником:

Тебе в наследие, Жуковский,
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.

Следуя державинской традиции, Жуковский говорит с царем смело и честно, он отмежевывает себя от тех, кого обычно приходится слушать Александру:

Хвалой неверною трон царский окружен.

Иными словами, автор послания выполняет свою миссию. Это подтверждается декларацией Жуковского: «глас лиры — глас народа».

Послание «Императору Александру» написано по плану, в хронологическом порядке. Поэт запечатлел великие исторические события: победу над Наполеоном и подъем, охвативший страну.

Начал он с предыстории. Жуковский смело говорит то, что думает. Описывая полудремотное состояние, в которое были

погружены европейские государства накануне французской буржуазной революции 1789 года, он восклицает:

> Давно ль одряхший мир мы зрели в мертвом сне?
> Там, в прорицающей паденье тишине,
> Стояли царствия, как зданья обветшалы;

Затем появилось «страшилище» — Наполеон. Рухнули наклонившиеся троны,— свидетельствует поэт,— и вера, спутник народов, с надеждой обратила взоры на восток. Наполеон вторгся в пределы России. Война.

> Тогда явилось все величие народа,
> . . . .
> Все в пепел перед ним! разлей пожары, месть!
> Стеною рать! что шаг, то бой! что бой, то честь!
> Пред ним развалины и пепельны пустыни;
> Кругом пустынь полки и грозные твердыни,
> Везде ревущие погибельной грозой, —
> И старец-вождь средь них с невидимой судьбой!..
> Холмы Бородина, дымитесь жертвой славы!..
> Уже растерзанный, едва стопы кровавы
> Таща по гибельным отмстителей следам,
> Грядет, грядет слепец. Москва, к твоим стенам!
> О радость!.. он вступил!.. зажгись, костер свободы!
> Пылает!.. цепи в прах! воскресните, народы!
> Ваш стыд и плен Москва, обрушась, погребла,
> И в пепле мщения Свобода ожила,
> . . . .

«Поверь народу, царь, им будешь счастлив ты»,— внушает поэт. Здесь, как и во многих других произведениях, Жуковский настойчиво повторяет, что самое главное на земле звание — человек:

> Но дань свободная, дань сердца — уваженье,
> Не власти, не венцу, но человеку дань.

Не случайно менее чем через месяц Василий Андреевич снова вернется к этой чрезвычайно важной для него теме в стихотворении «Теон и Эсхин»: «При мысли высокой, что я *человек.* // Всегда возвышаюсь душою». Наконец, в послании «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича» он повторит: «Да на чреде высокой не забудет // Святейшего из званий: человек».

В послании отражены не помыслы царя, а чаяния поэта, который убежден, что Александру Первому свойствен возвышенный образ мыслей и любовь к истине. Отсюда искренность и смелый, благородный тон послания Жуковского. Оно не случайно пользовалось большой популярностью у современников,

и даже спустя десятилетие Александр Сергеевич Пушкин с гордостью воскликнул: «Вот как русский поэт говорит русскому царю!», имея в виду послание «Императору Александру».

Как только слух о новом произведении Жуковского дошел до императрицы Марии Федоровны, она передала автору приглашение приехать в Петербург. Вдова Павла Первого Мария Федоровна взяла на себя роль покровительницы искусств. Возможности у нее были большие, по ее желанию издавались те или иные произведения. В ее летней резиденции Павловске устраивались литературные чтения, причем приглашались лучшие писатели России, здесь бывали Дмитриев, Карамзин, Гнедич и Иван Андреевич Крылов.

Как это ни странно, Жуковский отказался от приглашения императрицы, которое было передано через его друга Александра Ивановича Тургенева. Казалось бы, он должен был обрадоваться возможности очутиться среди прославленных писателей, в центре литературной жизни, однако в письме Тургеневу Василий Андреевич написал, что у него ни денег нет на поездку, ни желания. К тому же Протасовы перебрались в Дерпт, и теперь никакой другой город на свете не был для Жуковского столь притягательным: с 1814 до 1817 года он проводит большую часть времени в Дерпте.

4

В Дерпте Жуковский продолжал учиться. Очутившись в городе, где центром жизни был университет, он стал регулярно посещать лекции: прослушал курс истории средних веков у профессора Эверса-младшего. В это время в Дерпт на каникулы приехал полковник лейб-гвардии гусарского полка Тимофей-Эбергард фон Бок. Это была романтическая личность: двадцативосьмилетний участник многих сражений, награжденный за храбрость золотым оружием, фон Бок был искренен, горяч, опрометчив, и Василий Андреевич искренне к нему привязался. Они вместе посещали лекции в университете, часто встречались, сохранились записки Жуковского к фон Боку в стихах и прозе, Жуковский относился к новому другу восторженно.

Седьмого апреля 1815 года Жуковский узнал, что фон Бок срочно уезжает в действующую армию (это было вызвано тем, что 20 марта в Париж вступил бежавший с острова Эльбы Наполеон, началось второе правление Наполеона, его знаменитые «Сто дней»). Посылая фон Боку экземпляр «Певца во стане русских воинов», Василий Андреевич сделал на книге надпись:

Мой друг, в тот час, когда луна
Взойдет над русским станом,
С бутылкой светлого вина,
С заповедным стаканом
Перед дружиной у огня
Ты сядь на барабане —
И в сонме храбрых за меня
Прочти *Певца во стане.*
Песнь брани вам зажжет сердца!
И, в бой летя кровавый,
Про отдаленного певца
Вспомянут чада славы!

5

В Петербург Жуковский приехал в 1815 году. Он остановился у своего товарища по пансиону Дмитрия Блудова и через некоторое время был приглашен в Павловск, где находилась летняя резиденция вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Ко двору он был представлен поэтом Нелединским-Мелецким.

Забыв и сан и лета,
Он был товарищ мой
При скользском входе света,
За доброго поэта
Я душу рад отдать! —

с благодарностью вспоминает Василий Андреевич. Именно Нелединский-Мелецкий читал произведения Жуковского, когда собрались писатели и поэты, чтобы послушать его стихи. Василий Андреевич был взволнован: он и не ждал столь бурных проявлений восторга.

Его ждала еще одна радость: императрица повелела издать его послание «Императору Александру».

Природа Павловска, прекрасные скульптуры работы Мартоса, тихая река Славянка вдохновили Жуковского на полную грусти элегию. Он назвал ее «Славянкой»:

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;
При свете солнечном прохлада повевает;
Последний запах свой осыпавшийся лист
С осенней свежестью сливает.

Жуковский пробыл в Павловске три дня. За это время, по собственному его признанию, он успел подружиться с Нелединским-Мелецким так, словно был с ним знаком не три дня, а три года, хотя его гостеприимный хозяин был в два раза старше его.

До нас дошло письмо, в котором Жуковский рассказывает Петру Андреевичу Вяземскому о том, как он впервые увидел Александра Пушкина.

«Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое, живое творенье! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Ему надобно непременно учиться, и учиться не так, как мы учились! Боюсь я за него этого убийственного Лицея — там учат дурно! Учение, худо предлагаемое, теряет прелесть для молодой, пылкой души, которой приятнее творить, нежели трудиться и собирать материал для солидного здания. Он истощает себя. Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет. Даже Дерпт лучше Царского Села. Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки, — прекрасное! Это лучшее его произведение! Но и во всех других виден талант необыкновенный! Его душе нужна пища! Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но когда запасется собственными, увидишь, что из него выйдет! Послание доставлю тебе после.

19 сентября 1815 г.»

Можно только пожалеть, что Василий Андреевич поленился переписать посвященное ему стихотворение Пушкина, потому что послание, которое привело его в такой восторг, не сохранилось.

Это письмо говорит о необыкновенной интуиции Жуковского, с первой встречи разгадавшего в шестнадцатилетнем юноше гениального поэта России. Восторг Жуковского так велик, что он сгоряча обрушился на Лицей, считая, что для Пушкина это учебное заведение скверно.

Есть еще одно описание этой встречи, оно принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину:

Не ты ль мне руку дал в завет любви священной?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела...

(«К Жуковскому»)

В январе 1815 года Жуковский приехал в Москву. «...пишу из священной нашей столицы... в которую въехал я с гордостью русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия». Он бы не прочь был обосноваться во второй столице и сделал попытку устроиться служить. Влиятельные знакомые рекомендовали Жуковского генерал-губернатору Москвы графу Ростопчину. Однако Федор Васильевич Ростопчин отказался прикомандировать к себе Жуковского, считая его зараженным якобинскими идеями.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАТАЛИИ

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

А. С. Пушкин. Эпиграмма

1

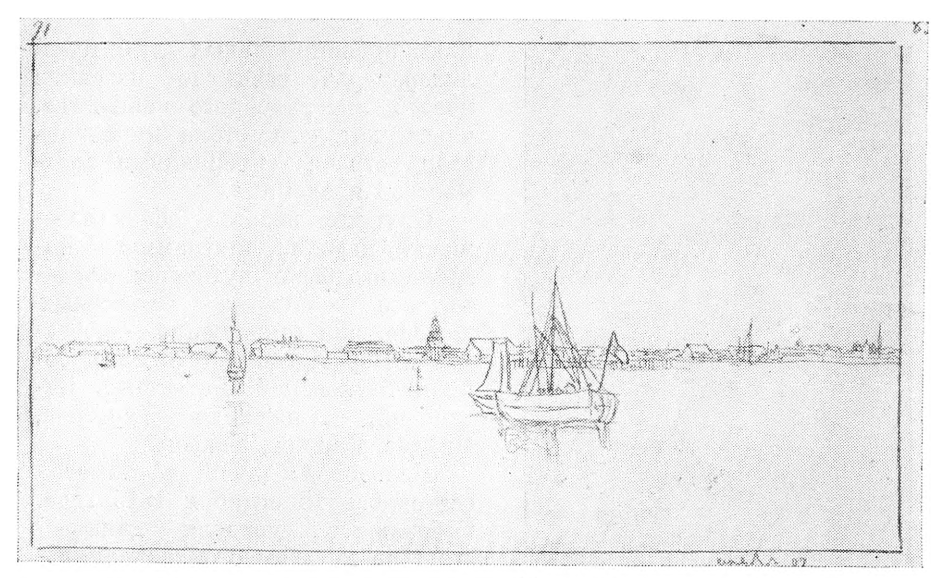
В Петербурге Жуковский лицом к лицу столкнулся с весьма влиятельным обществом «Беседа любителей русского слова». «Беседа» возникла еще в 1811 году для защиты родного языка от иноземного влияния.

Гаврила Романович Державин предоставил для собрания «Беседы» роскошный зал своего дома на Фонтанке. Дамы являлись на заседания в бальных платьях, все было торжественно и чинно.

Таким же стилем отличались и литературные произведения, читаемые на собраниях «Беседы» (исключение составляли лишь произведения Державина, Дмитриева и Крылова).

Общество «Беседа любителей русского слова» подразделялось на четыре разряда, каждый разряд имел своих представителей (Шишков, Державин, Хвостов, Захаров) и попечителей (Завадовский, Мордвинов, Разумовский, Дмитриев). Тон задавал президент Российской академии, член Государственного совета Александр Семенович Шишков.

Новые веяния в литературе вызвали тревогу у членов «Беседы любителей русского слова». Возникла борьба между старыми писателями и новым поколением литераторов, начисто отвергавшим неудобопроизносимый язык, на котором писали свои произведения члены «Беседы любителей русского слова» (вместо «любители» литературная молодежь говорила «губители»).



Петербург.
Рис. В. А. Жуковского (1839 г.)

2

Двадцать третьего сентября 1815 года в Петербургском Малом театре состоялась премьера комедии Шаховского «Липецкие воды, или Урок кокеткам». Было известно, что под видом балладника Фиалкина в комедии высмеян Жуковский. Василий Андреевич и его приятели присутствовали в театре. Сидели они в третьем ряду кресел: Дашков, Александр Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и Вигель.

По ходу действия, когда на сцене появлялся поэт Фиалкин, взоры многих зрителей обращались на Жуковского. Ему это было весьма неприятно, что же касается его друзей, то они негодовали.

В сущности, молодые карамзинисты уже давно представляли собой литературный кружок, теперь же они решили создать общество, пародирующее «Беседу любителей русского слова». После того как Дмитрий Блудов написал пародию на литературных староверов: «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей», в которой «тучный проезжий» (то есть толстяк Шаховской) попадает в арзамасском трактире в компа-



А. С. Шишков.

нию провинциальных любителей литературы, возникло название нового литературного общества, члены которого стали именовать свои встречи «Собраниями арзамасской академии».

Оружие нового общества — шутка, пародия, эпиграмма. И название его было шуточное: «Арзамасское общество безвестных людей», или сокращенно — «Арзамас». Первоначально в него вошли: Жуковский, Батюшков, Вяземский, Александр Тургенев, Блудов, Дашков, Уваров.

Первое заседание «Арзамаса» состоялось 15 октября 1815 года. Собравшиеся увидели длинный стол, на котором стояли чернильницы, лежали отточенные перья и бумага, предстояло выработать правила нового общества.

Жуковский в этот вечер был в ударе. От его предложений приятели покатывались со смеху, на первом же заседании Жуковский был избран секретарем «Арзамаса».

Арзамасцы окружали таинственными обрядами прием новых членов. Они положили за правило, что каждый член общества в целях «обновления» должен торжественно отречься от своего имени, оскверненного общением с членами «Беседы любителей русского слова» и Российской академии, и возьмет себе новое имя, дабы наводить ужас на своих противников. Арзамасцы брали свои имена из произведений Жуковского, чаще всего из его баллад: Жуковский — Светлана, Вяземский — Асмодей, Василий Пушкин — Вот я вас, Батюшков — Ахилл, Дашков — Чу, Александр Тургенев — Эолова арфа, Блудов — Кассандра, Вигель — Ивиков журавль, Плещеев — Черный вран, Жихарев — Громобой, Уваров — Старушка, Полетика — Челн очарованный, Северин — Резвый кот, Воейков — Дымная печурка, или Две большие руки, Александр Пушкин — Сверчок, Денис Давыдов — Армянин, Никита Муравьев — Адельстан, Николай Тургенев — Варвик, Михаил Орлов — Рейн.

Поскольку городок Арзамас на всю империю славился своими гусями, арзамасцы, которые вначале собирались каждый четверг, постановили на каждом собрании съедать жареного арзамасского гуся. Жуковский предложил на гербе общества изобразить белого гуся. Выдумкам Жуковского не было конца. Это он придумал почетных членов «Арзамаса» Карамзина и Нелединского-Мелецкого именовать «почетными гусями».

Шуточные обряды перемежались с серьезной деятельностью: члены общества читали на заседаниях свои произведения и тут же устраивался их критический разбор.

Арзамасцы вели летоисчисление от Липецкого потопа 1815 года, когда была поставлена комедия Шаховского. В начале заседания тайным голосованием избирался президент. Голову его торжественно увенчивали красным якобинским колпаком, и он начинал свою речь словами:

— Граждане!

Как ни склонны были арзамасцы к шуткам, но в данном случае, в стране, где так искоренялась «якобинская зараза», это было более чем шутка. Тут звучал осознанный протест против всего, что тормозило «движение века вперед» (впоследствии эти слова из статьи Жуковского будут фигурировать в полицейском донесении). Однако «Арзамас» ничего общего не имел с тайными политическими обществами: попытка будущих декабристов революционизировать «Арзамас» лишь ускорила его гибель.

В период расцвета «Арзамасское общество безвестных людей» вело борьбу против архаистов и было школой взаимного литературного обучения.

3

Жуковский являлся постоянным секретарем «Арзамаса», он писал протоколы заседаний (из двадцати пяти протоколов его рукой написаны восемнадцать).

Стихотворные отчеты Жуковского ироничны и остроумны, отрывок о двадцать первом заседании «Арзамаса» — наглядное тому доказательство.

. . . . Асмодей . . .
Отдал честь Арзамасу и начал китайские тени
Членам показывать. В первом явленьи предстала
С кипой журналов *Политика,* рот зажимая Цензуре,
Старой кокетке, которую тощий гофмейстер Яценко
Вежливо под руку вел, нестерпимый дух издавая.
Вслед за Политикой вышла *Словесность.* . . . .
. . . .

Прямым отголоском литературных битв является сатира Жуковского «Плач о Пиндаре»:

Однажды наш поэт Пестов,
Неутомимый ткач стихов
И Аполлонов жрец упрямый,
С какою-то ученой дамой
Сидел, о рифмах рассуждал,
Свои творенья величал,
Лишь древних сравнивал с собою
И вздор свой клюквенной водою,
Кобенясь в креслах, запивал.

Далее описывается великий плач о поэте Пиндаре, который умер в тридцатилетнем возрасте более трех тысяч лет тому назад: «Пиндар великий! Грек! Певец! // Пиндар, высоких од творец! // Пиндар, каких и не бывало, // Который мог бы мало-мало // Еще не том, не три, не пять, // А десять то́мов написать,— // Зачем так рано он скончался? // Зачем еще он не остался // Пожить, попеть и побренчать? // С печали дама зарыдала, // С печали зарыдал поэт — // За что, за что судьба сослала // Пиндара к Стиксу в тридцать лет! //»

Бездарный рифмоплет Дмитрий Иванович Хвостов является прообразом поэта Пестова, а ученая дама — это Анна Петровна Бунина, произведения которой так же плохи, как и стихи Хвостова. И Хвостов, и Бунина были приверженцами «Беседы любителей русского слова».

Интересно, что после критического разбора басен Хвостова на очередном заседании «Арзамаса», автор выправил раскритикованные басни. Разбор этот был сделан Жуковским. Поскольку «Избранные притчи» Хвостова были любимой потешной книгой арзамасцев, они черпали из нее «перлы» неоднократно. Других членов «Беседы» тоже не забывали: Шаховской и Шихматов особенно часто фигурировали в эпиграммах арзамасцев.

4

Арзамасцы читали друг другу свои новые произведения с первых заседаний общества, когда же кому-нибудь приходилось уезжать, он присылал свои труды по почте. Василий Андреевич Жуковский отослал по почте в адрес «Арзамаса» три стихотворения: «Певец в Кремле», «Красный карбункул» и «Вадим».

Первое из них было написано к 25 декабря 1814 года, когда Россия отмечала спасение *через нея* всех народов Европы.

В этом стихотворении, так же как и в «Певце во стане русских воинов», говорится, что отечество спас народ, воины земли русской. К ним он и обращается со словами, звучащими торжественно, как клятва:

Друзья, благословенье вам!
Вы пали за отчизну;
И здесь, прискорбная, сынам
Она свершает тризну;
. . . .

Поэт настойчиво повторяет: «Все вы! все нам от ваших дней // Наследствие святое!..»

В стихотворении «Певец в Кремле» Жуковский говорит о многонациональном русском воинстве, спасшем родину в 1812 году: «Калмык, башкир, черкес и финн» взялись за оружие. Произведение это содержит страстные призывы: «В одну семью, народы!», «Будь, сила, щит свободы!»

Стихотворение «Певец в Кремле» (вначале оно называлось «Певец на Кремле») арзамасцы встретили одобрительно. Зато повесть Иоганна Гебеля «Карбункул» (у Жуковского это сказка «Красный карбункул») вызвала резкие возражения. Переведена она великолепно, но друзья Жуковского осуждали его увлечение нравоучительными произведениями «какого-то базельского Пиндара», то есть немецкого писателя Гебеля, жившего в Базеле.

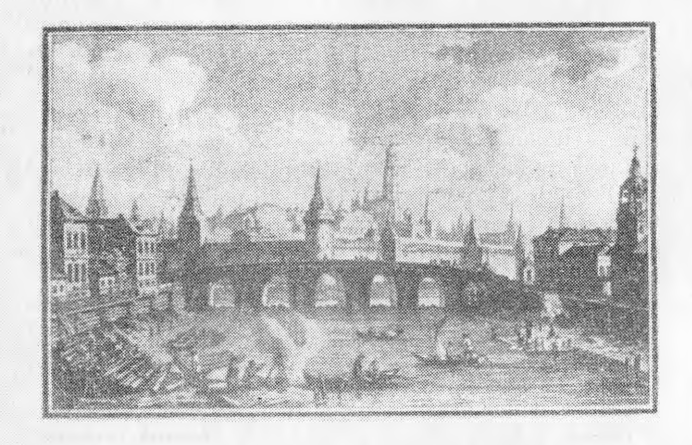
. . . . Кто заглянет
В полночь в трактир, иль в полдень, иль в три часа пополудни —
Вальтер сидит за столом и тасует крапленые карты.
Брошены дети; все что было, то сплыло; поле за полем
Проданы все с молотка, и жена пропадает от горя.
Дома же только и дела, что крик, да упреки, да слезы;
Нынче драка, а завтра к пастору, а там для ответа
В суд, а там и в тюрьму на хлеб с водой попоститься.
Плох он пойдет, а воротится хуже. . . . .

Мнения о «Красном карбункуле» Жуковского разделились: Белинский причислил его к числу «замечательных переводов».

Балладу «Вадим» арзамасцы нашли выше всяких похвал. «Вадим» — это продолжение «Громобоя», обе они составляют старинную повесть под названием «Двенадцать спящих дев». Первая баллада основана на романе Шписа «Двенадцать спящих дев, или История о привидениях», а вторая восходит

Пѣвецъ на Кремлѣ

Василія Жуковскаго



въ Санктпетербургѣ

1816.

Титульный лист «Певца в Кремле» Жуковского.

к задуманной Жуковским древнерусской богатырской поэме «Владимир».

И прислонив к груди своей
Вадим княжну младую
Из золотых ее кудрей
Жал влагу дождевую;
. . . .
Лазурны очи опустя,
В объятиях Вадима
Она, как тихое дитя,
Лежала недвижима;
И что с невинною душой
Сбылось — не постигала;
Лишь сердце билось, и порой,
Вся вспыхнув, трепетала;
Лишь пламень гаснущий сиял
Сквозь тень ресниц склоненных,
И вздох невольный вылетал
Из уст воспламененных.

Вадим внезапно оставил красавицу княжну, ему предстояло еще множество испытаний, как и положено герою баллады.

В свое время баллада «Двенадцать спящих дев» пользовалась большим успехом. Критиковать ее стали значительно позднее.

5

В 1816 году в «Арзамас» вступил Николай Иванович Тургенев. В своей вступительной речи он сказал:

— Я невольно вспомнил о том, что не только у нас, но и во всей Европе, приятными наименованиями стараются покрывать наготу деспотизма и порока.

В протоколе этого заседания выступление Тургенева описано весьма красочно: «Лицо его пылало огнем геройства, и голова, казалось нам, дымилась, как Везувий. Извержение черепа воспоследовало. Пролилась река лавы».

У Николая Ивановича Тургенева было стремление круто повернуть деятельность «Арзамаса», он постоянно говорил то с одним, то с другим членом общества о положении в России.

Осенью 1817 года в «Арзамасе» появился только что выпущенный из Лицея Александр Сергеевич Пушкин.

Он был вне себя от радости, его вступительная речь начиналась словами:

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный «Арзамас»!

Арзамасское имя Пушкину — Сверчок — дал Жуковский. Исследователи последних лет в один голос утверждают, что имя было выбрано на редкость удачно: Пушкин, еще будучи в Лицее, подсвистывал «Арзамасу».

6

Изменился состав «Арзамаса», изменился, как принято было говорить в те годы, самый дух общества.

Кроме Николая Тургенева, в «Арзамас» вошли еще два будущие декабриста: Михаил Федорович Орлов и Никита Михайлович Муравьев. Они без обиняков заговорили о необходимости издавать журнал, редактором которого хотели сделать Муравьева. Орлов предложил организовать в тех местах, где будут находиться члены «Арзамаса», филиалы общества, но все эти планы оказались неосуществимыми. Распалась «Беседа», и «Арзамас», созданный для борьбы с нею, вскоре прекратил свое существование.

«Я получил на днях письмо от Рейна; он... оплакивает смерть арзамасских надежд, т. е. надежд на журнал. Я в этом ему товарищ. Хороший журнал теперь был бы в самую пору... Он ...принял бы из купели новорожденное просвещение и показал бы его народу. Мы, т. е. русские, могли бы обойтись вовсе без журналов; но при дурных журналах один хороший необходим», — писал Петр Андреевич Вяземский Николаю Ивановичу Тургеневу 3 июня 1818 года.

Исследователи последних лет полагают, что после вступления в «Арзамасское общество безвестных людей» будущих декабристов, к ним, то есть к Тургеневу, Орлову и Муравьеву, перешло фактическое руководство «Арзамасом». Новые руководители общества предложили иную, глубокую программу, которая оказалась не по плечу «Арзамасу».

Однако есть основания полагать, что «Арзамас» существовал и после 1818 года. Последние протоколы заседаний не сохранились, — возможно, они были уничтожены. На собраниях же арзамасского братства протоколов не вели; эти собрания происходили по вечерам у Жуковского, — должно быть, они прекратились лишь после его отъезда за границу в 1826 году.

7

Жуковский узнал о существовании тайного общества от князя Сергея Трубецкого, с которым он был едва знаком. В своих записках Трубецкой рассказывает, как он дал Жуков-

скому прочесть устав Союза Благоденствия. Возвращая его, Жуковский сказал:

— Устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, для выполнения которой требуется много добродетели. Я счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования; но, к несчастью, не чувствую в себе достаточной к тому силы.

Это был отказ. Жуковский был совершенно убежден, что не может быть членом тайного политического общества.

* * *

В декабре 1817 года Жуковскому предложили давать уроки русского языка жене великого князя Николая Павловича Александре Федоровне. Она была немка, и Жуковский, хорошо знавший немецкий язык, согласился. Первый урок состоялся 22 декабря 1817 года. Жуковский был доволен, ибо ученица его оказалась понятлива. Уроки не были особенно обременительны, он считал, что они не помешают ему писать.

* * *

Восторженно восприняло арзамасское братство выход в свет в 1818 году первых восьми томов «Истории Государства Российского» Карамзина.

Жуковский, воспринявший от Карамзина интерес к истории России еще в юности, был твердо убежден, что знание истории своей страны делает народ сильнее, добрее, умнее и непреклоннее в защите отечества.

В основании взглядов Жуковского на историю лежали трезвые мысли: «В минувшем» нам дорог «славный пример отцов, великих гражданской доблестью, или мужеством бранным, или творческой мыслью, и в настоящем чувство высокой, деятельно-полезной, ничем не стесняемой жизни, и в будущем спокойное ожидание лучшего», — пишет Жуковский в «Чертах истории государства Российского». Эту работу ему не удалось опубликовать, цензура нашла ее слишком пессимистичной. На самом деле неприемлемы были рассуждения о мятежном духе рабов, о бедственном *«примере наследования* для времен грядущих» царского престола, и прочих, не менее важных «промахах» Жуковского.

ПОБЕЖДЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И внемля им, вздохнет о славе
младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

А. С. Пушкин.
К портрету Жуковского

1

«О, Петербург, проклятый Петербург, со своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит! Рад все бросить и убежать...» — писал Жуковский Авдотье Петровне Елагиной. Это не случайно вырвавшаяся фраза, те же мысли заносит он в свой дневник:

«Моя честь, фортуна и все — мое перо. Но чтобы это перо было одушевлено, надобно уйти с ним из смертоносного петербургского климата, переселиться на родину... Оставляю эту надежду в перспективе».

Но этой надежде не суждено было осуществиться.

Однако Жуковский нашел в себе силы не впасть в уныние, сумел пройти свой жизненный путь с тем высоким достоинством, которое отличает истинно благородные характеры. Труд, «души печальные целитель», дружба и деятельная доброта заполняли его жизнь полностью, были в ней главным.

Целая вереница имен,— и каких имен! — связана с Жуковским: Александр и Николай Тургеневы, Батюшков, Кюхельбекер, Боратынский, Гоголь, Герцен, Шевченко, Кольцов и, конечно, любимец Василия Андреевича — Пушкин.

«Я не следствие, а точно ученик его... Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный»,— писал Пушкин о Жуковском. Они подружились и виделись друг с другом постоянно. «Было что-то редкое в этом братстве и общении

лучших талантов и лучших умов столицы»,— свидетельствует современник о кружке Жуковского. Пушкин относился к Жуковскому с сыновней любовью, почтительно, нежно, внимательно. Он прислушивался к советам Василия Андреевича.

Пушкин стремительно взлетал на крыльцо дома, где жил Жуковский, и, едва сбросив шубу, попадал в объятия друга. До чего радовался Жуковский его приходам!

— Здравствуй, Сверчок моего сердца! Здравствуй, друг любезный!

Теплый, чистый, ярко освещенный кабинет, радушный хозяин, добрые друзья, чтение новых произведений, поздние ужины — таковы незабываемые «субботы» Жуковского, столь дорогие для всех участников. Тут молодые литераторы знакомились друг с другом, тут они обменивались мнениями. Петр Александрович Плетнев впоследствии вспоминал, что, покидая дом Жуковского поздними вечерами, он часто возвращался с Пушкиным и Кюхельбекером и в одушевленных спорах не замечал дальних расстояний.

«По субботам проводим мы время у Василия Андреевича Жуковского, где собираются литераторы всех расколов и всех наций»,— сообщал Александр Иванович Тургенев в письме Дмитриеву.

Ни одно собрание не проходило без чтения новых произведений. Они были далеко не равноценны, но порой у Жуковского читали прекрасные пьесы и поэмы.

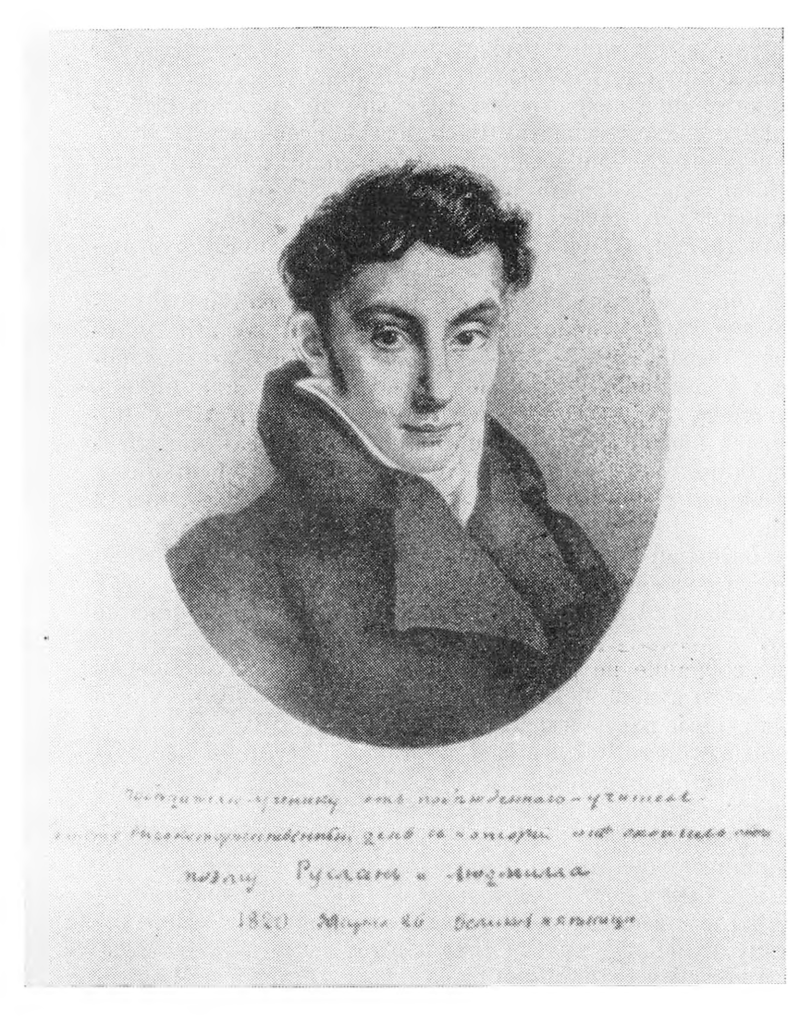
Начав писать поэму «Руслан и Людмила», Пушкин каждую субботу приносил новую песню. В эти дни никаких других чтений не было.

Пушкин любил читать свои произведения, читал прекрасно.

Прозвучали заключительные строчки последней главы.

Жуковский был в восторге. Он подарил Пушкину свой портрет, сделав на нем весьма многозначительную надпись: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила» 20 марта 1820 года». В поэме «Руслан и Людмила» есть строчки, посвященные Жуковскому; они полны любви.

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной



В. А. Жуковский
С литографии Эстеррейха. (1820 г.)

Теперь вослед тебе лечу
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.
Друзья мои, вы все слыхали,
Как бесу в древни дни злодей
Предал сперва себя с печали,
А там и души дочерей;
Как после щедрым подаяньем,
Молитвой, верой и постом,
И непритворным покаяньем
Снискал заступника в святом;
Как умер он и как заснули
Его двенадцать дочерей:
И нас пленили, ужаснули
Картины тайных сил ночей,
Сии чудесные виденья,
Сей мрачный бес, сей божий гнев,
Живые грешника мученья
И прелесть непорочных дев.
Мы с ними плакали, бродили
Вокруг зубчатых замка стен
И сердцем тронутым любили
Их тихий сон, их тихий плен;
Душой Вадима призывали,
И пробужденье зрели их,
И часто инокинь святых
На гроб отцовский провожали.
Но что ж, возможно ль?.. нам солгали!
Но правду возвещу ли я?

Александр Сергеевич Пушкин имел в виду поэму Жуковского «Двенадцать спящих дев».

Жуковский, разумеется, не обиделся, он вообще никогда не обижался на замечания своего ученика, они были незлобивы, метки и, главное, справедливы.

2

К 1820 году относится событие, которое произвело большую тревогу в кружке Жуковского. Ода «Вольность» Пушкина привела в гнев Александра Первого.

К счастью, Карамзину и Жуковскому удалось упросить царя, чтобы ссылка в Сибирь или Соловецкий монастырь была заменена службой в южных губерниях. Александр Первый согласился, и 6 мая 1820 года Пушкин выехал в Екатеринослав.

3

После истории с Тимофеем фон Боком Жуковский стал побаиваться царя: два года назад фон Бок передал Александру

записку о необходимости введения в России конституционного строя, после чего Бок исчез. О нем ничего не было известно, поговаривали, что он находился в Шлиссельбургской крепости.

Отголоски событий этих лет находим в письме Петру Андреевичу Вяземскому:

Ты в утешители зовешь воспоминанье;
    Глядишь без прелести на свет!
И раззнакомилось с душой твоей желанье!
    И веры к будущему нет!

О друг! в твоем мое мне сердце отозвалось:
    Я понимаю твой удел!
И мне вожатым быть желанье отказалось,
    И мой светильник побледнел!

Сменил блестящие мечтательного краски
    Однообразной жизни свет!
Из-под обманчиво смеющиеся маски
Угрюмый выглянул скелет.

На что же, друг, хотеть призвать воспоминанье?
    Мечты не дозовемся мы!
Без утоления пробудим лишь желанье;
    На небо взглянем из тюрьмы!

Петр Андреевич Вяземский переживал трудный период. Работая в Варшаве в канцелярии Н. И. Новосильцева, он принял участие в составлении записки об освобождении крестьян. Письма его друзьям, предназначавшиеся для чтения в арзамасском кружке, полны резких выпадов по адресу бездействующего царского правительства. 6 февраля 1820 года он писал: «...там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство — уродливость и что свобода, коей они лишены, так же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце. Тиранство могло пустить по миру одного Велизария, но выколоть глаза целому народу — вещь невозможная...» В конце июня того же года Вяземский высказался еще более резко: «На нас от рождения нашел убийственный столбняк: ни век Екатерины, со всей уродливостью своею, век, много обещавший, ни 1812 год — ничто не могло нас расшевелить. Пошатнуло немного, а тут опять эта проклятая Медузина голова, т. е. невежество гражданское и политическое, окаменило то, что начинало согреваться чувством.»

Правительство Александра Первого было осведомлено о настроениях, царящих в кругу арзамасцев, и Вяземский, приехав-



П. А. Вяземский.

ший летом 1821 года в отпуск в Петербург, не получил разрешения вернуться к месту службы в Варшаву. Тогда он подал на высочайшее имя прошение о сложении с него придворного звания камер-юнкера и удалился в Москву.

За признание в том, что стал «Афеем», то есть атеистом, вырвавшееся в письме к другу, Александр Сергеевич Пушкин был отправлен из южной ссылки в псковское имение.

Он прибыл в Михайловское 9 августа 1824 года под надзор властей и своего отца, что было для него особенно тяжело.

О том, что это была действительно мучительнейшая из пыток, свидетельствует его переписка с Василием Андреевичем Жуковским. Для Пушкина это был человек, на которого он всегда мог положиться, ему он поверял даже свои семейные распри.

Пушкин — Жуковскому

31 октября 1824 года.

Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, я был всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моей ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче—быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясняться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé...[4] (Жуковский, думай о моем положении и суди). Голова моя за-

кипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить...* Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня.
31 окт.

А. П.

Поспеши; обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдет до правительства, посуди, что будет. ...

Но вскоре Пушкин пишет брату, уехавшему в Петербург: «Скажи моему гению-хранителю, моему Жуковскому, что, слава богу, все кончено». И следом — письмо Жуковскому:

«Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу; но что мне было делать? я сослан за строчку глупого письма, что было бы, если бы правительство знало бы обвинение отца? это пахнет палачом и каторгою. Отец говорил после: *Экой дурак, в чем оправдывается!.... да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?»*

В ноябре 1824 года Жуковский пишет Пушкину: «На письмо твое, в котором описываешь то, что случилось между тобою и отцом, не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинять и кого оправдывать. И твое письмо и рассказы Льва уверяют меня, что ты столько же неправ, сколько и отец твой. На все, что с тобою случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: поэзия. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастия и обратить в добро заслуженное, ты более нежели ктонибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастие и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу,

и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач. А я обнимаю тебя. Уведомь непременно, что сделалось с твоим письмом. Читал «Онегина» и «Разговор», служащий ему предисловием: несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высокостию гения соединишь и высокость цели! Милый брат по Аполлону! это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни».

В одном из писем Пушкина брату Левушке есть гениальная характеристика Жуковского:

«Письмо Жуковского наконец я разобрал. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком, а не греком, и человеком, да каким еще!»

(май 1825).

Замечание справедливое, если учесть, что в кругу людей, близких к декабристам, грек — означало борец за свободу, революционер, а романтик — спокойный созерцатель.

Александр Сергеевич Пушкин всей душой любил Жуковского. Он писал о творчестве Жуковского Кондратию Федоровичу Рылееву: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводной слог его остается всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнит, за что венчает?»

25 января 1825 г.»

В начале лета 1825 года Пушкин писал из ссылки Александру Александровичу Бестужеву:

«Прочти послание к Александру (Жуковского 1815 года). Вот как русский поэт говорит русскому царю. Пересмотри наши журналы, всё текущее в литературе... Об нашей-то лире можно сказать, что Мирабо сказал о Сиесе. Son silence est une calamité publigue»[5].

А через месяц после восстания на Сенатской площади Пушкин, до которого дошли неподтвердившиеся слухи о новом стихотворении Жуковского, с недоумением обращается к другу: «Говорят, ты написал стихи на смерть Александра — предмет богатый! — Но в течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры, глас народа».

4

Дружба Пушкина с Жуковским продолжалась много лет, и, естественно, у них были не только общие друзья, но и общие враги. Бенкендорф придерживался мнения, что Жуковский вольнодумец. Как отметили многие биографы Жуковского, репутация якобинца прочно укоренилась за ним с тех пор, как он отказался печатать переведенное им стихотворение Шиллера «Три слова веры» без двух строчек, которые запретила цензура: «Человек создан свободным, даже если он родился в цепях». Об отказе Жуковского печатать сокращенный вариант перевода много говорили в петербургских гостиных: поступок этот вызвал осуждение.

Высший свет ошибался, считая Жуковского карбонарием: революционные идеи были чужды поэту. Но это был человек, верящий в идеалы всеобщего счастья, добра и справедливости, одним словом, человек, сильный своими убеждениями. Поэтому с Жуковским вынуждены были считаться даже те, кто его ненавидел.

Фаддей Венедиктович Булгарин получал в Третьем отделении деньги за доносы, но за промахи ему устраивали взбучки. Очень часто Жуковскому приходилось выручать из беды литераторов, на которых доносил Булгарин. Вернувшись домой после очередного выговора, тайный агент Булгарин однажды написал своему шефу такое письмо:

«Меня гонят и преследуют сильные ныне при дворе люди: Жуковский и Алексей Перовский... Семейство мое слезно просит перестать писать, то же советуют мне друзья, боясь моей гибели» (25 января 1830 г.).

Бенкендорф придумывал разные хитрости, чтобы оклеветать Жуковского, но репутация Василия Андреевича служила ему как бы непробиваемой броней, от которой отскакивали клевета и вымыслы. Не знался Жуковский и с редактором журнала «Сын отечества» Гречем, хотя был с ним знаком. Булгарин и Греч мстили ему, как могли. Фаддей Булгарин написал на Жуковского клеветническую эпиграмму (некоторые исследователи ошибочно приписывают ее перу Бестужева-Марлинского).

Жуковского эпиграмма мало задела.

— Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своей эпиграммой. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочел мне эпиграмму с невыразимым восторгом,— сказал Жуковский Гречу, который приводит в своих

воспоминаниях и этот разговор и злую эпиграмму на Жуковского.

Бенкендорф был тоже обрадован пасквилем на ненавистного ему поэта, который год от году становился все более уверенным в себе, держался скромно и независимо, был так непохож на тех, с кем приходилось общаться Бенкендорфу. Эпиграмма, если она содержала смелое разоблачение, могла послужить поводом для скандала, именно на это и надеялись враги Жуковского. Скандала, однако, не получилось: Жуковского не в чем было разоблачать.

Содержание эпиграммы лживо, в ней так и сквозит зависть:

Из савана оделся он в ливрею,
На ленту променял он миртовый венец,
Не подражая больше Грею,
С указкой втерся во дворец.
И что же вышло наконец?
Пред знатными сгибая шею
Он руку жмет камер-лакею,
Бедный певец!

Эпиграмма не получила распространения. Жуковский никогда не был придворным. Александр Иванович Тургенев еще в 1819 году записал однажды, что Жуковский и Карамзин блаженствуют, потому что общаются друг с другом, а во дворец заглядывают лишь для того, чтобы получить дань непритворного уважения.

Есть еще одно свидетельство современника, что Жуковский занимал особое положение в столице. Оно принадлежит перу Вяземского, знавшего Жуковского лучше, чем кто бы то ни было:

Жуковский во дворце был отроком Белева:
Он веру, и мечты, и кротость сохранил,
И девственной души он ни лукавством слова,
Ни тенью трусости, дитя, не пристыдил.

СЛОВЕСНОЕ ПОПРИЩЕ — ТОЖЕ СЛУЖБА

Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого.

В. А. Жуковский. Из письма

1

Возмужание таланта Жуковского происходило в момент подъема общественного движения. Цвет русского общества — офицеры, вернувшиеся из победоносных походов, были близки к революционным настроениям, ждали перемен, страстно желали найти что-то новое и в общественной жизни и в литературе, поэтому с таким энтузиазмом встретили произведения Жуковского.

«С его именем соединялось в тогдашнем молодом поколении предчувствие какого-то рассвета. Стихи его быстро переходили из рук в руки, и являлись часто в печать там, куда автор еще не показывался»,— писал друг Жуковского, профессор Петербургского университета Петр Александрович Плетнев.

Новое литературное течение, рожденное французской буржуазной революцией, провозгласило свободу личности, этим и объясняется, что современники Жуковского считали писателей-романтиков якобинцами и карбонариями, что совершенно не соответствовало действительности.

Велико было значение романтизма, велико и благотворно. Белинский писал: «Романтизм есть вечная потребность духовной природы человека... Есть в человеке чувство бесконечного; оно составляет основу его духа, и стремление к нему есть пружина всякой его деятельности. Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития, нет прогресса. Сущность развития состоит *в стремлении и достижении*. ...Есть в жизни человека время, когда он бывает полон безотчетного стремления, безот-

четной тревоги. И если такой человек может потом сделаться способным к стремлению действительному, имеющему цель и результат, он этим будет обязан тому, что у него было время безотчетного стремления. ...эта пора юношеского энтузиазма есть необходимый момент в нравственном развитии человека,— и кто не мечтал, не порывался в юности к неопределенному идеалу фантастического совершенства, истины, блага и красоты, тот никогда не будет в состоянии понимать поэзию — не одну только создаваемую поэтами поэзию, но и поэзию жизни; вечно будет он влачиться низкою душою по грязи грубых потребностей тела и сухого, холодного эгоизма. ...Но Жуковский, кроме того, имеет великое историческое значение для русской поэзии вообще: одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступной для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина».

Жуковский, этот великий поэт и превосходный педагог, видел, как важно пробудить душу.

Ведь мало научить ребенка ремеслу, развить его математические способности, возбудить у него интерес к науке, главное — воспитать его так, чтобы он чувствовал свои обязанности по отношению к другим людям и к обществу, иными словами, сделать его Гражданином, Сыном своего Отечества. Тогда уже не столь важно, какое поприще деятельности он для себя изберет, мир велик, и множество занятий ожидают труженика. А в поэзии Жуковский видел одно из важнейших средств воспитания народа.

2

При всем многообразии сюжетов в произведениях Жуковского преобладают три темы: равенство всех людей на земле, любовь к Ней и, наконец, самая главная тема творчества поэта — глубокий, искренний, волнующий патриотизм.

Родина для него все — источник всех его радостей.

Отчизне кубок сей, друзья!
    Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
    Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
    Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
    И первых лет уроки,

Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

(«Певец во стане русских воинов»)

Любовь к Ней (к Маше Протасовой) продолжалась всю жизнь. Здесь лирика Жуковского чрезвычайно разнообразна: от медитативных элегий, романсов и песен до глубоких раздумий, исполненных мужественной скорби. Любовные признания, страдания разлученных влюбленных, тоска о милой — все это Василий Андреевич Жуковский изливал в стихах с непривычной для своих современников искренностью. Отсюда — интимность его поэзии, ее доверчивый и проникновенный тон.

Я на тебя с тоской гляжу,
В груди огонь, в душе молчанье.
Хочу сказать... Но что скажу?
О друг, пойми мое признанье.
Тиха любовь к тебе моя;
Она всех чувств успокоенье,
Хранитель-гений бытия,
Души надежда и спасенье.

(«Признание»)

Страсть окрыляла его талант, внушала ему возвышенные чувства,— утверждал биограф Жуковского Яков Карлович Грот, который познакомился с Жуковским в ранней молодости и знал историю несчастной любви поэта.

Можно с полным основанием назвать нравственным величием ту духовную борьбу, которую вел Жуковский с несчастьем. Оно его не сломило, он сумел стать выше собственного горя. Какими мучительными усилиями это далось,— видно лишь из дневников и писем. Жуковский излил в стихах боль и тоску любви, лучшие из этих стихотворений всегда будут волновать читателя.

3

Философская проблема — постижение мира — завладела Жуковским в ранней молодости. В одной из своих стихотворных исповедей он рассказывает: «И неестественным стремленьем // Весь мир в мою теснился грудь; // Картиной, звуком, выраженьем // Во все я жизнь хотел вдохнуть». Поэт стремится освободить душу, написав то, что его волнует.

Как древле рук своих созданье
Боготворил Пигмалион —
И мрамор внял любви стенанье,
И мертвый был одушевлен —
Так пламенно объята мною
Природа хладная была;
И полная моей душою,
Она подвиглась, ожила.

И, юноши деля желанье,
Немая обрела язык;
. . . .

(«Мечты»)

Его волновала невозможность выразить в стихах то, что порой рвалось на бумагу. Но как это сделать, если иногда это подобно прилетевшему внезапно дуновенью ветра «От луга родины»?

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
. . . .

(«Невыразимое»)

4

В стихах Жуковского природа прекрасна. Жуковский был убежден, что любовь к родной природе пробуждает любовь к родной земле.

Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!
О родина! все дни твои прекрасны!
Где б ни был я, но все с тобой
Душой.

Ты помнишь ли, как под горою,
Осеребряемый росою,
Белелся луч вечернею порою
И тишина слетала в лес
С небес?

Ты помнишь ли наш пруд спокойный,
И тень от ив в час полдня знойный,
И над водой от стада гул нестройный,
И в лоне вод, как сквозь стекло,
Село?

(«Там небеса и воды ясны!»)

В этих стихах, по свидетельству друга и биографа Жуковского Зейдлица, описано село Мишенское, где родился поэт.

«Мы бы опустили одну из самых характеристических черт поэзии Жуковского, если б не упомянули о дивном искусстве этого поэта живописать картины природы и влагать в них романтическую жизнь»,— отметил Белинский. Пейзаж Жуковского необычен, стихи его полны ароматов и шорохов.

На кровле аист нос острит;
И в небе ласточка кружит,
И дым клубится из печей;
И будит мельницу ручей;
И тихо рдеет темный бор;
И звучно в нем стучит топор.

Но кто там в утренних лучах
Мелькнул и спрятался в кустах?
С ветвей посыпалась роса,
Не ты ли, девица-краса,
Душе сказалася моей
Веселой прелестью своей?

(«Утренняя звезда»)

Для своих стихов Жуковский находил предельно точные краски, ему удавалось даже передать чувство слияния с природой:

Уже утомившийся день
Склонился в багряные воды,
Темнеют лазурные своды,
Прохладная стелется тень;
И ночь молчаливая мирно
Пошла по дороге эфирной,
И Геспер летит перед ней
С прекрасной звездою своей.
Сойди, о небесная, к нам
С волшебным твоим покрывалом,
С целебным забвеньям фиалом,
Дай мира усталым сердцам.
Своим миротворным явленьем,
Своим усыпительным пеньем
Томимую душу тоской,
Как матерь дитя, успокой.

(«Ночь»)

Как это свойственно романтикам, Жуковский одухотворял и одушевлял природу. Особенно полно это выразилось в известной элегии «Море» (1822).

Эту элегию любили современники Жуковского. Ею восхищался Пушкин. Лермонтов помнил ее наизусть.

Великая и грозная стихия дышит, томится страстью. По этому стихотворению можно судить, как глубоко понимал Жу-

ковский философскую идею о неразрывности судьбы человека и судьбы мира, в котором он живет.

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земные неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
. . . .

Умение выбрать наиболее емкое слово позволило Жуковскому в зрелые годы добиться необыкновенной выразительности.

Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет,
Теплый дождь, сверканье вод,—
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?

(«Приход весны»)

Даже не верится, что в этом стихотворении всего шесть строк, так великолепна, красочна и трепетна эта картина пробуждения природы и человеческой души.

Поэту присуще стремление показать красоту там, где ее не всегда можно заметить, и показать так, что она волнует, возбуждает глубокие чувства.

Легкий, легкий ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Что с тобой к ней возвратилось,
Перелетная весна?
Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют
И, сияя, улетают
За далекие леса.

(«Весеннее чувство»)

В этих строчках — радость жизни, они пленительны своей хрустальной чистотой. Мелодический рисунок идеально соответствует содержанию стихотворения.

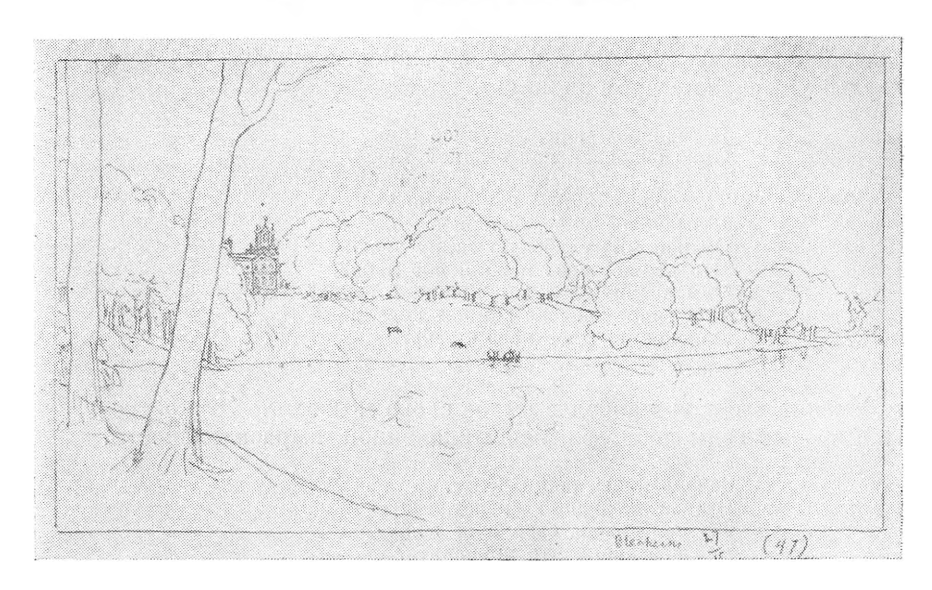


Рисунок В. А. Жуковского (1839 г.)

Оно как бы предвосхищает целый сонм прелестных стихов Фета, усвоившего мелодические приемы Жуковского.

5

Жуковскому удалось добиться наивысшей напевности стиха:

Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье,
Как сон пленительный, вся жизнь моя текла.
Но я тобой забыт,— где счастья привиденье?
Ах, счастием моим любовь твоя была!
Когда я был любим, тобою вдохновенный,
Я пел, моя душа хвалой твоей жила.
Но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный:
Ах! гением моим любовь твоя была!
Когда я был любим, дары благодеянья
В обитель нищеты рука моя несла.
Но я тобой забыт, нет в сердце состраданья!
Ах! благостью моей любовь твоя была!

(«Песня»)

До Жуковского никто не писал так: кажется, еще немного — и поэзия сольется с музыкой.

Одним из первых отметил важнейшую особенность поэзии Жуковского — ее музыкальность — известный критик прошлого века Николай Алексеевич Полевой. Он писал о Жуковском: «Отличие от всех других поэтов — гармонический язык, так сказать, *музыка языка,* навсегда запечатлело стихи Жуковского. Жуковский играет на арфе: продолжительные переходы звуков предшествуют словам его и сопровождают его слова, тихо припеваемые поэтом только для пояснения того, что он хочет выразить звуками». Это справедливо лишь в отношении песенной лирики поэта, в которой, безусловно, сказалась его любовь к музыке.

Прямым продолжателем романсно-мелодической традиции Жуковского явился и поэт нашего века Александр Блок. В стихах Блока — та же завораживающая магия звуков.

В «Автобиографии» Блок писал: «Первым вдохновителем моим был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем».

Что с тобой вдруг, сердце, стало?
Что ты ноешь? Что опять
Закипело, запылало?
Как тебя растолковать?
Все исчезло, чем ты жило,
Чем так сладостно грустило!
Где беспечность? где покой?..
Ах, что сделалось с тобой?
. . . .
Я неволен, очарован!
Я к неволе золотой,
Обессиленный, прикован
Шелковинкою одной!
. . . .

(«Песня»)

6

Среди оригинальных произведений Жуковского выделяются послания.

Они интересны лирическими отступлениями, в них много юмора, того чисто арзамасского юмора, который так ценили все приятели Жуковского. В посланиях Жуковского есть и философские раздумья, и литературная критика, словом, они представляют несомненный интерес.

В двух посланиях Петру Андреевичу Вяземскому и Василию Львовичу Пушкину, написанных 16 и 17 октября 1814 года, Жуковский говорит о нелегком поприще поэта.

Что главное для писателя? — на этот вопрос Жуковский отвечает предельно ясно:

. . . . благодарный труд,
Души печальные целитель
И счастия животворитель!
Что пред тобой ничтожный суд
Толпы, в решениях пристрастной,
И ветреной, и разногласной?

Жуковский еще раз повторяет: поэт не должен думать ни о чем, кроме своей миссии. «Здесь славы чистой не найдем», «Страшись к той славе прикоснуться, // Которою прельщает *Свет* — //Обвитый розами скелет; // Любуйся издали, поэт, Чтобы вблизи не ужаснуться». Нарисовав столь безотрадную и, несомненно, правдивую картину, автор указывает единственный выход: «Перенесем свои надежды в мир потомства».

Поэт, наделенный святым вдохновением, неуязвим для праздных завистников, зла и клеветы: он творит, «он о славе забывает // В минуту славного труда».

И Жуковский снова обращается к Поэту:

Твори, будь тверд; их зданья ломки;
А за тебя дадут ответ
Необольстимые потомки.

Как отметил биограф Жуковского П. Загарин, к этому призыву восходят строчки одного из лучших стихотворений Пушкина «Поэту»:

Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Светскую чернь Александр Сергеевич Пушкин ненавидел еще больше, чем Жуковский. Это к ней относятся слова «суд глупца» и «смех толпы холодной» из сонета Пушкина; о ней же говорится в послании Жуковского: «глупец, // Земли бесчувственный жилец, // С глухой и вялою душою»; «Подале от толпы судей! // Пока мы не смешались с ней».

В послании Жуковского есть вставка: рассказ о печальной судьбе известного драматурга Озерова, которого затравили сильные мира сего.

Увы! «Димитрия» творец
Не отличал простых сердец
От хитрых, полных вероломства.
Зачем он свой сплетать венец
Давал завистникам с друзьями?
Пусть Дружба нежными перстами
Из лавров сей венец сплела
В них Зависть тернии вплела;
И торжествует: растерзали
Их иглы славное чело —
Простым сердцам смертельно зло:
Певец угаснул от печали.

В этих стихах — тревога, боль и страстное негодование. В них также звучит предупреждение: по природе поэт доверчив и беспечен; клевета, оговоры, тайные интриги могут подорвать его жизненные силы и свести в могилу.

Интересно сравнить этот отрывок с гениальным стихотворением Лермонтова «На смерть поэта»:

И прежний сняв венок — они венѐц терновый,
Увитый лаврами, надели на него;
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело.

В данном случае мы вправе говорить о неслучайности совпадений в текстах Жуковского и Лермонтова.

Жуковский, как правило, писал дружеские послания не более одного дня, поэтому они порой недостаточно отшлифованы. Их отличительная черта — легкость и остроумие, они написаны в истинно «арзамасском» стиле. 7 ноября 1814 года он пишет Петру Андреевичу Вяземскому о древнем поэте Амфионе, который игрой на лире воздвиг каменные стены Фив. «Правдоподобно, хоть и чудно. // Что древнему поэту трудно? // А нынче?.. Нынче век иной. // И в наши бедственные леты // Не только лирами поэты // Не воздвигают городов, // Но сами часто без домов»,— иронизирует Жуковский.

О, Амфион! благоговею!
Но, признаюсь, не сожалею,
Что дар твой: говорить стенам,
В наследство не достался нам.
Славнее говорить сердцам
И пробуждать в них чувства пламень,
Чем оживлять бездушный камень
И зданья лирой громоздить.

Здесь чрезвычайно важная для Жуковского мысль о назначении поэта: *говорить сердцам, пробуждать в них пламень чувства.*

Через день после этого послания Жуковский написал Вяземскому еще одно. В нем Василий Андреевич высказывает сокровенную мысль:

Надежда сердцем жить в веках,
Надежда сладкая — она не заблужденье;
Пускай покроет лиру прах —
В сем прахе не умолкнет пенье
Душой бессмертной полных струн!
Наш гений будет, вечно юн,
Неутомимыми крылами
Парить над дряхлыми племен и царств гробами;
И будет пламень, в нас горевший, согревать
Жар славы, благости и смелых помышлений
В сердцах грядущих поколений;
Сих уз ни Крон, ни смерть не властны разорвать!

В этом послании Жуковский сформулировал свой взгляд на назначение поэта. Не наитие и одержимость поэта, а высокое чувство гражданского долга — вот что главное, по мнению Жуковского, для каждого пишущего человека. Поэт — учитель жизни, поэзия — воспитание народа, отсюда великая ответственность поэтов перед современниками и грядущими поколениями.

7

Стихи давались Жуковскому легко, он часто писал стихами письма и записки друзьям и знакомым.

Я сам, мой друг, не понимаю,
Как можно редко так писать
К друзьям, которых обожаю,
Которым все бы рад отдать!..
Подруга детских лет, с тобою
Бываю сердцем завсегда
И говорить люблю мечтою...
Но говорить пером — беда!
День почтовой есть день мученья!
Для моего воображенья
. . . .
Неволи мысль моя страшится:
Я автор — но писать ленив!
Зато всегда, всегда болтлив
. . . .

(«Письмо к+++»)

В зависимости от адресата менялся стиль посланий Жуковского. С Денисом Давыдовым он говорит как гусар с гусаром, самый ритм его стиха полон энергии и силы. Та же гусарская удаль звучит в записках дерптскому приятелю Жуковского полковнику Тимофею фон Боку.

Но когда он обращается к герою Двенадцатого года генералу Ермолову, то с первой строчки ясно, что речь идет о национальной гордости России. 10 декабря 1837 года Жуковский подарил Ермолову том своих стихотворений. На титульном листе он написал:

Ермолову

Жизнь чудная его в потомство перейдет:
Делами славными она бессмертно дышит.
Захочет — о себе, как Тацит, он напишет
И лихо летопись свою переплетет.

Автограф В. А. Жуковского.

Жуковский знал, что владелец превосходной библиотеки Алексей Петрович Ермолов любит переплетать книги. Том стихов Жуковского Ермолов бережно хранил и в конце жизни передал библиотеке Московского университета, где он хранится и поныне.

* * *

Прозе Жуковского тоже присуща поэзия. Достаточно раскрыть дневник писателя, чтобы убедиться, как поэтичны его путевые заметки:

«На западе, на янтарном небе резкая дымка черных деревьев и гор. С востока Альпы, торчащие тускло в тумане, от которого все небо покрыто темным заревом. Удивительная тишина и таинственность. Огни в равнине. Коровы в тени. Песни швейцарские. Чувство великого и прекрасного оттого так мучительно, что желал бы с ним слиться: жажда при виде Рейна, стремление при виде Альпов — Музыка, поэзия. (5(17) сентября 1832)».

«Вид с моста, тихий Аар, расстилающиеся облака, горы в пару, розовый блеск воды, птица в пустыне неба, звезды, розовая Юнгфрау, тишина окрестности, порханье летучей мыши, теплый воздух, скрип колес. (12(24) сентября 1832)».

8

Более половины произведений Жуковского — переводы, но эти переводы равноценны подлинникам. Более того, порой переводы Жуковского сильнее подлинников. «У меня почти все или чужое, или по поводу чужого — и все, однако, мое»,— признался Василий Андреевич. Суть подобных явлений в творчестве определил Пушкин: «Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения...»

Жуковский черпал из западной литературы все, что было ему близко, и не ошибался в выборе. Александр Иванович Тургенев в главном труде своей жизни «Хронике русского» — предельно четко сформулировал историческое значение произведенной Жуковским работы: «Поэзия влиянием своим на современников... Шиллера и Гете созидала историю, приготовляла будущее Германии и сообщала новые элементы для всей европейской литературы, для Байрона и Вордсворта, для исторического ума Гизо, ... для души, которая все поняла и все угадала, и все угаданное и постигнутое в Германии передала Франции и Европе, ...наконец для нашего Жуковского, которого, кажется, Шиллер и Гете, Грей и Вордсворт, Гердер и Виланд ожидали, дабы воскрикнуть в пророческом и братском сочувствии:

Мы все в одну сольемся душу. И слились в душу Жуковского.— Этому неземному и этому *лучшему своего времени* «dem Besten seiner Zeit», этой душе вверили, отдали они свое лучшее и будущее миллионов! Гений России, храни для ней благодать сию. Да принесет она плод свой во время свое».

Хотя Тургенев выражает свои мысли в несколько высокопарном стиле и доходит до торжественного, как клятва, эпилога, читатель чувствует, что это продиктовано искренней любовью к отечественной литературе.

Надо добавить, что все великие современники Жуковского чрезвычайно высоко оценивали его переводческую деятельность. Многие его переводы отличаются поразительной точностью, но очень часто Жуковский-переводчик заимствует у автора только тему произведения, а все остальное дописывает сам.

«... сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. ...Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему может быть на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами». Так говорил о Жуковском Николай Васильевич Гоголь.

Жуковскому принадлежит изумительно точный вывод: переводчик в прозе — раб, переводчик в стихах — соперник. Используя данную формулу, можно сказать, что он был достойным соперником лучших поэтов мира.

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник:
Обняв, его держит и греет старик.
— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
— Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул.
Он в темной короне, с густой бородой.
— О нет, то белеет туман над водой.
. . . .

(«Лесной царь»)

Это известное каждому с детства произведение есть перевод баллады Гете «Erlkönig», «король эльфов».

Жуковский перевел еще одну балладу Гете, также очень известную — «Рыбак»:

Бежит волна, шумит волна!
Задумчив, над рекой
Сидит рыбак; душа полна
Прохладной тишиной.
Сидит он час, сидит другой;
Вдруг шум в волнах притих...
И влажною всплыла главой
Красавица из них.

Стих Жуковского мелодичен и легок, исполнен драматического напряжения. Перевод ни в чем не уступает оригиналу, он отличается даже бóльшей художественной отделкой фраз и более точным подбором слов. По иронии судьбы это «несоответствие» и послужило поводом для язвительной критики баллады Жуковского в журнале «Невский зритель» Орестом Сомовым. Сомов критиковал отступления от буквы оригинала, то есть именно то, что наиболее удалось Жуковскому. Например, в подлиннике: рыбак «смотрел за удочкой спокойно, с холодным до глубины сердцем». В переводе: «Задумчив, над рекой // Сидит рыбак; душа полна // Прохладной тишиной». В подлиннике: «мокрая женщина», в переводе: красавица «с влажною главой». В подлиннике: «намочила ему голую ногу», в переводе: «На берег вал плеснул».

Бежит волна, шумит волна...
  На берег вал плеснул!
В нем вся душа тоски полна,
  Как будто друг шепнул!
Она поет, она манит —
  Знать, час его настал!
К нему она, он к ней бежит...
  И след навек пропал.

Орест Сомов не понимал, что Жуковский просто обогнал время: сейчас не вызывает сомнения не только точный эпитет поэта «прохладная тишина», но даже пародийные эпитеты рецензента, приведенные в его статье, как пример абсурда — «теплая тишина» и «знойный шум».

* * *

Любовь Жуковского к суровым скандинавским странам выразилась, в частности, и в том, что, переводя прекрасную балладу немецкого поэта Уланда, он перенес действие из средневековой Германии в средневековую Скандинавию:

«Споет ли мне песню веселую скальд?» —
. . . .
«Три песни я знаю: в одной старина!
Тобою, могучий, забыта она;
Ты сам ее в лесе дремучем сложил;
Та песня: *отца моего ты убил.*

Есть песня другая: ужасна она;
И мною под бурей ночной сложена;

Пою ее ранней и поздней порой;
И песня та: *бейся, убийца, со мной!»*
. . . .

Раздайся ж, последняя песня моя;
Ту песню и утром и вечером я
Греметь не устану пред девой любви;
Та песня: *убийца повержен в крови».*

(«Три песни»)

Жуковский был одним из первых русских поэтов, кто, презрев «высокий штиль», писал о пажитях, нивах на простом и благородном языке:

Были и лето и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод; народ умирал.

(«Суд божий над епископом»)

Ритмический рисунок этой баллады, переведенной Жуковским с английского (одноименная баллада Роберта Саути), был использован Некрасовым; это отмечено многими критиками.

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.
. . . .

(«Несжатая полоса»)

9

Многие переводы Жуковский выполнял с просветительскими целями: считал своим долгом познакомить соотечественников с выдающимися произведениями мировой литературы.

В 1817 году Жуковский перевел древнерусский эпос «Слово о полку Игореве» на современную русскую ритмизированную прозу.

Не прилично ли будет нам, братия,
Начать древним складом
Печальную повесть о битвах Игоря,
Игоря Святославича!
Начаться же сей песни
По былинам сего времени,
А не по вымыслам Бояновым —
Вещий Боян,

Если песнь кому сотворить хотел,
Растекался мыслию по древу,
Серым волком по земле,
Сизым орлом под облаками.
. . . .

Жуковский сохранил яркий колорит оригинала, передал дух подлинника XII века. Его перевод до сих пор остается одним из лучших поэтических переводов «Слова о полку Игореве».

* * *

Бессмертная «Илиада» всегда манила Жуковского, но древнегреческого он не знал. Однако так сильно было стремление дать своим соотечественникам хотя бы общее представление о творении Гомера, что он перевел несколько отрывков из «Илиады».

Жуковскому пришлось пользоваться двумя немецкими переводами: Иоганна Генриха Фосса и Фридриха Штольберга. Взяв отрывки из VI, XVII, XVIII, XIX и XX песней, переводчик соединил их вставками и объяснил ход действия. Эти вставки были набраны курсивом, Жуковский пояснил в примечании, что они сочинены им.

Жуковский неоднократно писал, что перевод, выполненный не с оригинала, а с подстрочника и другого перевода, иными словами, перевод, сделанный человеком, не знающим языка подлинника, не может дать полного представления о великом произведении искусства.

И все-таки он никогда не сожалел о проделанной работе, более того, под старость, живя вдали от родины, Василий Андреевич снова вернется к Гомеру и выполнит титанический труд — перевод «Одиссеи».

В 1816 году Жуковский перевел несколько произведений современного ему немецкого писателя Иоганна-Петера Гебеля, который писал нравоучительные произведения о крестьянах в стихах и прозе: «Овсяный кисель», «Деревенский сторож в полночь», «Тленность», «Красный карбункул». Первые три произведения Жуковский опубликовал в 1818 году в сборниках, которые он издавал под названием «Für Wenige. Для немногих». «Красный карбункул» был напечатан в «Трудах общества любителей российской словесности при Московском университете». В предисловии к этому изданию Василий Андреевич писал: «Переводчик сказки... желал испытать: 1-ое, может ли сия привлекательная простота, столь драгоценная для поэзии,

быть свойственна поэзии русской? 2-ое, прилично ли будет в простом рассказе употребить гекзаметр, который доселе был посвящен единственно важному и высокому? Не считая опыта своего удачным, он думает, что и то и другое возможно. Что же касается до предлагаемой сказки, то она переведена почти слово в слово».

Переводчик слишком скромно оценил свои заслуги. Сказовый гекзаметр был непривычен для читателей, но это не помешало популярности стихотворения Жуковского «Овсяный кисель» или его сказки «Красный карбункул».

Пушкину вначале не понравились нерифмованные стихи, он написал пародию на перевод Жуковского (начальные две с половиной строчки в точности совпадают со стихотворением Гебеля «Тленность»):

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что, если это проза,
Да и дурная?..

Пушкин считал, что нельзя было это стихотворение переводить белым ямбом, однако через несколько лет белыми стихами написал одно из своих лучших произведений — драму «Борис Годунов». К слову сказать, Александр Сергеевич Пушкин хотел посвятить «Бориса Годунова» Жуковскому, и только смерть Карамзина заставила его изменить первоначальный замысел: трагедия, как известно, посвящена памяти Николая Михайловича Карамзина.

Через пятнадцать лет после перевода четырех произведений Гебеля Жуковский начал переводить повесть «Ундина» де Ламот-Фуке. Об этой своей работе Василий Андреевич писал Дмитриеву:

«Наперед знаю, что вы будете меня бранить за мои гекзаметры. Но что же мне делать? Я их люблю, я уверен, что никакой метр не имеет столько разнообразия, не может быть столько удобен как для высокого, так и для самого простого слога. И не должно думать, чтобы этим метром, избавленным от рифм, было писать легко. Я знаю по опыту, как трудно. Это вы знаете лучше меня, что именно то, что кажется простым, выпрыгнувшим прямо из головы на бумагу, стоит наибольшего труда. ...Но в этом-то и заключается тайная прелесть творения. Что было бы с наслаждением поэта, когда бы он мог производить без труда? — все бы очарование его пропало».

Это чрезвычайно важное признание. Наиболее волнующие, наиболее понравившиеся ему произведения Жуковский перево-

дил специально разработанным размером: героическим (гомеровским) или разговорно-сказовым гекзаметром.

10

Случалось, Жуковский переводил белыми стихами прозаические произведения. Жуковский понимал, что эти стихи, навеянные старинными былинами, таят в себе огромные возможности для русского стихосложения.

Безрифменный стих Жуковского волнующе прост, могуч, полон силы и страсти. Чем старше становился Жуковский, тем лучше он овладевал белым стихом, доведя его до совершенства.

Задумав перевести новеллу Проспера Мериме «Маттео Фальконе», Жуковский прибегнул к своему излюбленному нерифмованному стиху. «Маттео Фальконе» — это история преступления, совершенного десятилетним мальчиком Фортунато, сыном Маттео. Прельстившись дорогим подарком, ребенок выдал егерям, где скрывается раненый, за которым они гнались. За это отец расстрелял сына.

. . . . Землю он ружьем
Копнул: земля рыхла. «Стань на колени,—
Ребенку он сказал,— читай молитву».
Став на колени, мальчик руки поднял
К отцу и завизжал: «Отец, прости
Меня; не убивай меня, отец!» —
«Читай молитву». Мальчик, задыхаясь,
Пролепетал со страхом «Отче наш»
. . . .
Сын замолчал. «Готов ты?» — «Ах, отец,
Не убивай меня!» — «Готов ты?» — «Ах!
прости меня, отец».— «Тебя простит
Всевышний бог». И выстрел загремел.
От мертвого отворотив глаза,
Пошел назад Маттео. На ногах он
Был тверд: но жизни не было в его
Лице; с подпорой старости своей
И сердце он свое убил. Он шел
За заступом, чтобы могилу вырыть
И тело схоронить. Ему навстречу,
Услышав выстрел, кинулась жена;
«Мое дитя! наш сын! что сделал ты,
Маттео?» — «Долг свой. Там он, на поляне,
Лежит. По нем поминки будут: он,
Как христианин, умер с покаяньем;
Господь его младенческую душу
Помилует и успокоит. . . . .

Так велико было у Жуковского преклонение перед людьми, для которых чувство долга важнее всего на свете, что он оправдывает эту суровую кару: есть некоторая разница между сдержанным описанием событий у Мериме и напряженно-взволнованным — у Жуковского. В работе над переводом Жуковский пользовался вольным переложением повести Проспера Мериме, сделанным Альбертом Шамисо.

11

Петру Андреевичу Вяземскому посвятил Жуковский один из своих лучших переводов — «Шильонского узника» Байрона. Василий Андреевич посетил замок Шильон с поэмой Байрона в руках, он убедился, что поэт с документальной точностью описал подземную темницу Франсуа Бонивара. Жуковский видел кольцо, к которому была прикреплена цепь узника, и вытоптанную им в скале дорожку.

На следующий день после посещения печального замка на Женевском озере Василий Андреевич начал переводить поэму Байрона, и через год она уже вышла в свет. По сравнению с подлинником произведение Жуковского мягче, лиричнее.

Когда Жуковский переводил поэму Байрона, Пушкин писал «Братья-разбойники». Вышедшая отдельным изданием книга «Шильонский узник, поэма лорда Байрона. Перевел с английского В. Ж.» и обрадовала Александра Сергеевича и огорчила его. О переводе он отозвался с восторгом, но в то же время ему было неприятно случайное совпадение, о котором он писал: «Некоторые стихи напоминают перевод Шильонского узника. Это несчастие для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 1821 года».

Перевод Жуковского был высоко оценен Белинским: на одной странице критик сумел сказать все:

«Но — странное дело! — наш русский певец тихой скорби и унылого страдания, обрел в душе своей крепкое и могучее слово для выражения страшных подземных мук отчаяния, начертанных молниеносною кистью титанического поэта Англии! «Шильонский узник» Байрона передан Жуковским на русский язык стихами, отзывающимися в сердце как удар топора, отделяющий от туловища невинно осужденную голову. Здесь в первый раз крепость и мощь русского языка явилась в колоссальном виде и до Лермонтова более не являлась. Каждый стих в переводе «Шильонского узника» дышит страшною энер-

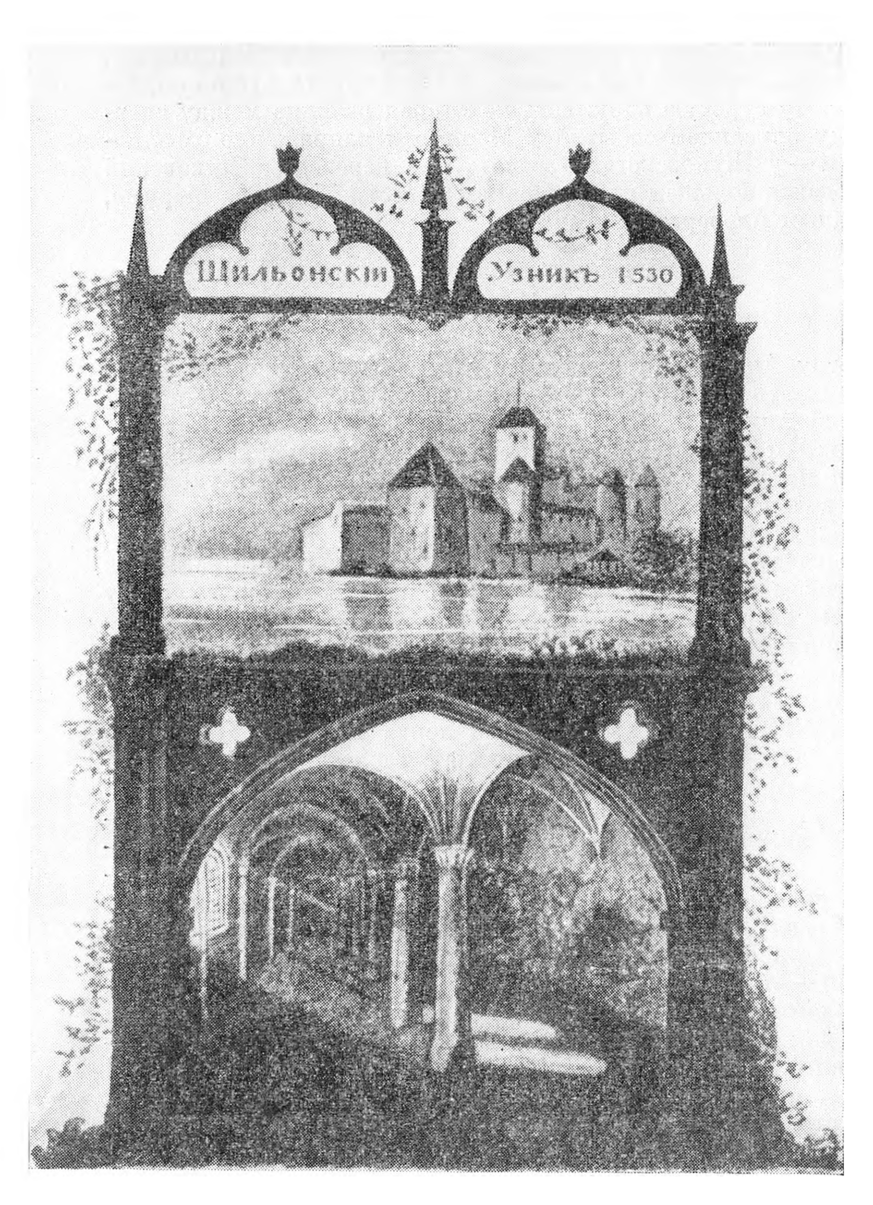


Иллюстрация к «Шильонскому узнику» В. А. Жуковского.

гиею, и надо совершенно потеряться, чтоб выписать лучшее из этого перевода, где каждая страница есть ровно лучшая. Но мы напомним здесь нашим читателям только ужасную картину душевного ада, в сравнении с которым ад самого Данте кажется каким-то раем:

Но что́ потом сбылось со мной,
Не помню... свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в смутную слилося тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой».

12

Летом 1822 года Жуковский перевел балладу Вальтера Скотта «Замок Смальгольм». Цензура балладу запретила. Василий Андреевич пожаловался на произвол цензурного комитета обер-прокурору синода и министру народного просвещения князю А. Н. Голицыну. Возникло дело архива Министерства духовных дел и народного просвещения № 72 «По жалобе господина Жуковского о непропуске цензурой баллады его «Иванов вечер (Замок Смальгольм)». Только после двухлетней борьбы с цензурой Василий Андреевич сумел напечатать балладу в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения».

В кружке Жуковского было много разговоров о ханжестве цензурного комитета. Пушкин заметил по этому поводу:

— В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня, цензор нашел, что в такой великий

праздник грешить неприлично, и никак не желал пропускать баллады Вальтер Скотта.

В художественном отношении перевод Жуковского безупречен: стих мелодичен, строг и крепок, ничего лишнего.

«О, сомненье прочь! безмятежная ночь
Пред великим Ивановым днем
И тиха и темна, и свиданьям она
Благосклонна в молчанье своем.

Я собак привяжу, часовых уложу,
Я крыльцо пересыплю травой,
И в приюте моем, пред Ивановым днем,
Безопасен ты будешь со мной».

«Пусть собака молчит, часовой не трубит,
И трава не слышна под ногой,—
Но священник есть там; он не спит по ночам;
Он приход мой узнает ночной».

«Он уйдет к той поре: в монастырь на горе
Панихиду он позван служить:
Кто-то был умерщвлен; по душе его он
Будет три дни поминки творить».

Внутренняя рифма придает стиху гармонию, торжественность, величавую простоту. Предательское убийство, совершенное ночью в ущелье Смальгольмским бароном, не остается безнаказанным. Оттого так напряжен стих, так изумительно точен подбор слов: все подчинено строгой сюжетной линии — неотвратимости возмездия.

13

Поэма австрийского поэта Фридриха Гальма «Камоэнс» привлекла внимание Жуковского патриотическими мотивами и трагической судьбой героя. Великий португальский поэт Луис Камоэнс претерпел много горя и страданий. Несчастья преследовали Камоэнса всю жизнь: он умер в бедности на больничной койке.

— Я умираю не только в отечестве, но и вместе с ним, — сказал Луис Камоэнс перед смертью.

Несмотря на гибель героя, поэма глубоко оптимистична. На смену умирающему старому поэту приходит полный сил, веры в победу и в судьбу своей родины молодой поэт Васко Кведо. «Не умрет живая песнь твоя; //Во всех веках и поколеньях будут// Ей отвечать возвышенные души.// Ты жил и будешь жить для всех времен!// Прямой поэт, твое бессмертно

слово!» — говорит Васко Камоэнсу. Он клянется, что будет следовать по его стопам:

. . . . Пусть людская злоба,
Презрение, насмешка, нищета
Достоинству в награду достаются —
Прекрасней лавра, мученик, твой терн!
И умереть в темнице лазарета
Верх славы... О судьба! дай в жизни мне
Быть Камоэнсом! дай, как он, быть светом
Отечества и века моего
Величием! — и все земные блага
Тебе я отдаю на жертву!

Ответ Камоэнса заключает идейный смысл поэмы: «Жизнь // Зовет на битву!»

Жуковский, как известно, находил в судьбе португальского поэта черты, сходные с его собственной жизнью. Это в первую очередь — любовь к отчизне, вера в ее будущее. «Бессмертны// мои мечты; их семена живые// Не пропадут на жатве поколений», — говорит Камоэнс. Та же вера в будущее родины присуща Жуковскому. Сильное государство обновляется в каждом поколении, это новое, могучее племя берет от старших все ценное. «Что здесь прекрасного, великого, святого// Я вдохновенною угадывал мечтой» — эти слова, принадлежащие Луису Камоэнсу, с полным основанием мог бы сказать о себе Жуковский.

В поэме «Камоэнс» есть строчки, в которых говорится о долге поэта-гражданина. Переводчик усилил их патриотическое звучание:

Нет, нет! Не счастия, не славы здесь
Ищу я: быть хочу крылом могучим,
Подъемлющим родные мне сердца
На высоту, зарей, победу дня
Предвозвещающей, великих дум
Воспламенителем, глаголом правды,
Лекарством душ, безверием крушимых,
. . . .
Вот долг поэта, вот мое призванье!

В этом признании поэта есть лирические вставки переводчика. «Поэзия — верховная правда жизни», — провозгласил Жуковский со свойственной ему точностью выражений.

14

Зрелость поэта была ознаменована большими произведениями эпического жанра. Каждое из них требовало многих лет труда.

Из всемирно известных эпосов, переведенных Жуковским, надо в первую очередь назвать «Слово о полку Игореве», древнеиндийскую поэму «Наль и Дамаянти», таджикско-персидскую поэму «Рустем и Зораб» и «Одиссею» Гомера.

Гением перевода назвал Жуковского Пушкин: переводя древний эпос, Жуковский создавал равновеликое произведение.

«Наль и Дамаянти» есть эпизод огромной индейской поэмы Магабараты. Этот отрывок, сам по себе составляющий единое целое, два раза переведен на немецкий язык... Не зная подлинника, я не мог иметь намерения познакомить с ним русских читателей; я просто хотел рассказать им по-русски ту повесть, которая пленила меня, ...хотел сам насладиться трудом поэтическим, стараясь найти в языке моем выражения для той девственной, первообразной красоты, которою полна Индейская повесть о Нале и Дамаянти», — писал Жуковский в предисловии к поэме.

Жил-был в Индии царь, по имени Наль. Виразены
Сильного сын, обладатель царства Нишадского, этот
Наль был славен делами, во младости мудр и прекрасен
Так, что в целом свете царя, подобного Налю,
Не было, нет и не будет; между другими царями
Он сиял, как сияет солнце между звездами.
. . . . но и слабость
Также имел он великую: в кости играть был безмерно
Страстен. . . . .

Для неторопливого восточного повествования Жуковский выбрал гекзаметр. В его индийской повести тридцать песен, десять глав. «Наль и Дамаянти» вышла в свет отдельным изданием, когда Жуковский уже жил в Германии. Книга была встречена с восторгом, оценена по достоинству.

Из древнего таджикско-персидского эпоса Фирдоуси «Шахнаме» («Книга царей») Василий Андреевич Жуковский взял для перевода отрывок «Рустем и Зораб». Ему, так же как и в предыдущей работе, пришлось обратиться к труду немецкого ученого-востоковеда Рюккерта. Как Фирдоуси, так и Рюккерт, писали поэму «Рустем и Зораб» двустишиями со свободным чередованием мужских и женских рифм. Жуковский отказался от двустиший. Он перевел поэму нерифмованными ямбами, и достиг совершенства.

Василий Андреевич Жуковский не стал переводить поэму Фирдоуси сказовым гекзаметром, которому уделял столько внимания в начале 30-х годов (этим размером написана «Ундина»). Жуковский понял непригодность данного размера для

стремительно развивающегося действия поэмы Фирдоуси. Чутье к языку не изменило Жуковскому и в последние годы жизни («Рустем и Зораб» закончен 12 апреля 1847 года).

Рустем вскочил, нежданным изумленный
Видением. «Кто ты? — он спросил.—
Зачем ко мне пришла ночной порою?» —
«Я дочь царя, меня зовут Темина,—
Пришелица ночная отвечала.—
. . . .
...догнала меня тоска, мучитель сердца;
Она меня во тьме глубокой ночи
Перед тебя, мой витязь, привела.
Как чудное преданье старины,
Всегда, везде, от всех я слышу повесть
О храбрости твоей великой;
О том, как не страшишься ты
Ни льва, ни тигра, ни слона,
Ни крокодила, как всего
Ирана ты надежная твердыня,
Как весь Туран дрожит перед тобою,
. . . .
Такую повесть о тебе
Всечасно слыша, я давно
Томилася тоской тебя увидеть;
Теперь увидела и быть твоей женой
Готова, если сам, мой храбрый витязь,
Того потребуешь. Доселе
Ни тайный месяца, ни яркий солнца луч
До моего не прикасались тела;
Здесь в целомудрии, в девичьей простоте
Я расцветала; и только в этот миг
Сказала первую любви глубокой тайну.
Возьми, возьми меня, Рустем;
В приданое твердынный этот замок
Тебе я принесу. . . . .

Эпическая поэма Фирдоуси и перевод Жуковского проникнуты идеей борьбы доброго и злого начал, ибо так представляло мир доисламское религиозное учение зороастризм, религия древних народов Средней Азии, Азербайджана и Персии.

15

Последнее произведение Жуковского осталось незавершенным. Это поэма «Агасвер».

10 (22) апреля 1852 года, за два дня до смерти, Василий Андреевич сказал находившемуся возле него священнику Баварову, что в поэме «Агасвер» он описал последние годы своей жизни.

Сколько надо было пережить человеку, чтобы он обратился к одному из самых мрачных мифов древности!

Он нес свой крест тяжелый на Голгофу;
Он, всемогущий, вседержатель, был,
Как человек, измучен; пот и кровь
По бледному лицу его бежали;
Под бременем своим он часто падал,
Вставал с усилием, переводил
Дыхание, потом, шагов немного
Переступив, под ношей снова падал,
И наконец, с померкшими от мук
Очами, он хотел остановиться
У Агасверовых дверей, дабы,
К ним прислонившись, перевесть на миг
Дыхание. Агасвер стоял тогда
В дверях. Его он оттолкнул от них
Безжалостно. С глубоким состраданьем
К несчастному, столь чуждому любви,
И сетуя о том, что́ должен был
Над ним изречь, как бог, свой приговор,
Он поднял скорбный взгляд на Агасвера
И тихо произнес: «ты будешь жить,
Пока я не приду», и удалился.

Жуковский знал, что пишет свое последнее, или, во всяком случае, одно из последних произведений.

В этом последнем обращении к людям он говорил о страданиях. Поэма Жуковского — апофеоз страданий. Они описаны с потрясающей силой, это нечеловеческие муки, им нет конца.

Однако, вопреки первоначальному замыслу, в поэму врывается жизнеутверждающая тема, ибо вечная жизнь, данная Агасверу на вечные страдания, есть победа над смертью. Жизнь, как бы тяжела она ни была, есть жизнь.

Самые сильные страницы — муки Агасвера. Гибнут города, рушатся древние храмы, исчезают с лица земли народы. В день, когда был разрушен Иерусалим, Агасвер был погребен под развалинами города, но сбылось древнее пророчество — он воскрес. Это было неописуемо мучительное воскрешение:

. . . . жар болезни,
И нестерпимая работа жизни,
Развалины разрушенного тела
Восстановляющей, при страшной муке
И голода и жажды . . . .
. . . . вся душа
Была задавлена и трепетала
Тем трепетом отчаянным, какой
Насквозь пронзает заживо зарытых
В могилу. Но меня моя могила

Не удержала; я из-под обломков,
Меня погребших, вышел снова жив
И невредим; разбив меня на смерть,
Меня, ожившего, они извергли,
Как скверну, из своей громады.

* * *

Поэзия Жуковского охватывает самые разнообразные жанры. Элегии, послания и песни, баллады, гражданская лирика, наконец, повести в стихах и эпические поэмы. Жуковскому подвластны любые размеры — он писал и ямбом и хореем, любил трехсложные размеры — амфибрахий, анапест и дактиль, разработал два типа гекзаметра — героический (гомеровский) и разговорно-сказовый.

Жуковский обладал тонким музыкальным слухом, отсюда — выдержанность мелодической системы и необыкновенная легкость стиха.

Василий Андреевич Жуковский раскрыл богатейшие возможности русского стихосложения, его поэтическое наследие сослужило великую службу для блестящей плеяды отечественных поэтов. Он сыграл определенную роль в формировании творчества Пушкина, оказал влияние на Лермонтова, Боратынского, Веневитинова, Козлова, Языкова, Тютчева, Некрасова. Даже Алексей Константинович Толстой, Фет и Блок испытали его влияние.

Прошло сто лет. «Сердца холодные и разочарованные, души жестокие и прозаические» (Белинский), мы уже почти не читаем баллад и стихов Жуковского. Но стоит раскрыть его книгу — и погружаешься в дивную, сказочную старину. Здесь все родное, все до боли знакомое! И еще больше любишь освященную веками историю своей родины и ее прекрасный, могучий, полногласный язык, красоту которого обычно не замечаешь, потому что это твой родной язык и ты говоришь на нем каждый день.

«МИНУВШИХ ДНЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ»

О друг, я все земное совершила
Я на земле любила и жила.

В. А. Жуковский.
Голос с того света.

1

Всей душой желая счастья Сашеньке Протасовой, Жуковский посвятил ей стихи о ее будущей счастливой судьбе:

Хочешь видеть жребий свой
    В зеркале, Светлана?
Ты спросись с своей душой!
    Скажет без обмана,
. . . .

(«Светлана»)

Однако с таким мужем, как Воейков, невозможно было быть счастливой. Жуковский позже всех разгадал, что собой представлял этот человек, и то не до конца.

С тех пор как Воейковы переехали в Дерпт и к ним переехали Екатерина Афанасьевна и Маша, родные края опустели для Жуковского. Теперь он жил или в Петербурге, или в Дерпте. В отдельные годы в Дерпте он жил больше, чем в Петербурге, хотя литературные дела требовали его присутствия в столице. Но едва он приезжал в Петербург, как его тянуло в Дерпт. Только там, рядом с Машей, он и чувствовал себя спокойно. По милости Екатерины Афанасьевны Жуковский вел странную, изматывающую жизнь. Его письма Маше полны жалоб на Екатерину Афанасьевну: «...она мне сказала, чтоб я до июля оставался в Петербурге, потом она увидит...» Еще она сказала: «Дай мне время опять сблизиться с Машей, ты нас совсем разлучил!»

Он был лишен возможности что-либо предпринять: это могло оскорбить обидчивую «маменьку». Иногда он, словно внезапно прозрев, видел все в истинном свете: «Теперь что мне осталось? Начинать новую жизнь, без цели, без бодрости, и за каким счастьем гнаться? Так и быть! Все в жизни к прекрасному средство. Но сердце рвется, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили».

Но когда он совсем отчаивался, «маменька» становилась немного ласковее, и Жуковский снова начинал надеяться. Ему хотелось установить с Протасовой простые, искренние отношения, он не понимал, что она была неспособна на это. Великий миротворец, Жуковский хотел дружбы, он готов был все простить.

В дневнике его есть такая запись: «Всему прошедшему — полное забвение. Думать, что мы только еще пускаемся в дорогу за счастьем».

К прежним причинам, заставлявшим Екатерину Афанасьевну не прогонять Жуковского, добавилась еще одна. Однажды Алексей Александрович Плещеев рассказал Василию Андреевичу о типичной для этой семьи сцене, свидетелем которой он был.

Вечером в гостиную с площадной бранью вваливается пьяный Воейков и начинает требовать у тещи денег. Плещеев не выдержал:

— Бедный Воейков, как ты болен! Ты, верно, сходишь с ума. Я расскажу эту сцену Тургеневу, он пожалеет о тебе.

Воейков осекся на полуслове. Какую-то долю секунды он оценивал ситуацию. Рот его передернула гримаса, и омерзительно-униженным тоном он сказал:

— Плещеев, будь другом, плюнь мне в рожу! Плюнь, брат, сделай одолжение. Мне легче будет. Маменька, простите меня! Я подлец, негодяй, но я искренне раскаиваюсь! Хотите, я перед вами на колени встану? Ведь вы были первой красавицей в губернии, одно слово — и я у ваших ног!

Обе женщины с такой грустью прощались с Плещеевым, что ему было ясно: они с ужасом ждут расправы, Воейков выместит на них свои унижения.

Плещеев счел своим долгом рассказать Жуковскому о том, что Воейков мучит своих домашних, передал, какие безобразные сцены он устраивает по вечерам и с каким страхом смотрела на него Маша, когда он уходил: она боится Воейкова, и Екатерина Афанасьевна тоже его боится.

Через день Василий Андреевич был уже в Дерпте. Жуковский появился очень кстати. Он вошел как свой, без доклада, и услышал конец фразы Воейкова:

— ...грех ляжет на вашу душу. Убью Жуковского, зарежу Мойера, а потом покончу с собой!

— Помилуй, не слишком ли много трупов? — бросил на ходу Жуковский и направился к Екатерине Афанасьевне и Маше, которые испуганно забились в угол. Они старались защитить друг друга от Воейкова и всячески оберегали Сашеньку, которая лежала больная.

Протасова, как всегда, вначале обрадовалась, все-таки как-никак, а это было избавление: одно присутствие Жуковского делало Воейкова неузнаваемым. Но не такой это был человек, чтобы искренне отдаваться какому-нибудь чувству: не прошло и часу, как Екатерину Афанасьевну вдруг словно подменили. Она стала угрюма и неразговорчива, ей пришло на ум, что Василий Андреевич, наверно, в душе радуется их несчастью. Горе и позор их семейства — это Воейков, которому она отдала младшую дочь, в то время как вся родня уговаривала ее отдать старшую за доброго, благородного Жуковского. И вот теперь, вдобавок ко всем ее страданиям, — а Екатерина Афанасьевна принадлежала к числу женщин, которые во всем, даже в несчастном браке дочери, склонны прежде всего видеть собственные страдания, — она еще принуждена принимать услуги человека, который, быть может, над нею смеется. Эти мысли не оставляли ее, тут она вся — со своими мелочными обидами и постоянной подозрительностью. От этой женщины зависело счастье очень доброго человека и ее красавицы дочери, и она сделала все возможное, чтобы помешать этому счастью.

В этот свой приезд Жуковский не отходил от Маши. Она осунулась и побледнела, но он считал, что Маша похорошела необыкновенно. Им не так уж часто удавалось побыть наедине.

Как-то, возвращаясь от заутрени, Маша свернула к почтмейстеру спросить, нет ли писем. Тут ее уже ждал Жуковский. Утро было тихое и солнечное, домой идти не хотелось, они пошли к развалинам старинного замка на Домской горе. Вошли на пригорок, с которого открывался чудесный вид. Маша прижалась к плечу Жуковского, он обнял ее.

— Милая, — тихо шептал Василий Андреевич. — Ты не представляешь, как мне без тебя плохо.

И он умолк, вспомнив о предстоящей разлуке.

2

Праздник — приезд Жуковского — прошел, и для Маши снова потянулись дни, заполненные скандалами, ссорами и угрозами зятя. То он заставлял свою свояченицу подписать какой-то сочиненный им контракт, по которому она обязывалась никогда не выходить замуж, то приводил в дом жениха-генерала, то запрещал Маше писать письма Жуковскому.

Когда на горизонте появился Мойер, Воейков пустил в ход все средства борьбы с ним, даже любовь Жуковского. Воейков помчался в столицу и сообщил Василию Андреевичу, что Екатерина Афанасьевна хочет насильно выдать Машу за профессора хирургии, чтобы досадить Жуковскому, а самой бесплатно лечиться у этого весьма искусного лекаря. Воейков заявил, что он против такого брака, ибо заботится прежде всего об интересах Жуковского. Василий Андреевич, который и не представлял всю меру хитрости этого человека, был искренне тронут. Воейков же действовал исключительно из своих корыстных расчетов и из желания везде, где только можно, причинить кому-либо зло: сознание, что кто-то страдает, всегда приносило ему облегчение и даже успокаивало на некоторое время.

Маша отправила умоляющее письмо Авдотье Петровне, чтоб та непременно приехала и помогла им во всем разобраться. Самоотверженная Дуняша поехала, но в пятидесяти верстах от дома ее карета провалилась под лед, она простудилась и долго болела. Она написала Екатерине Афанасьевне письмо, просила дать согласие на брак Маши и Жуковского, и добавила что если тут есть грех, то она берет его на себя и уйдет в монастырь отмаливать его. Екатерина Афанасьевна не на шутку испугалась: «Дуняша, милый друг, ты меня ужасаешь: что это за предложение ты мне делаешь? Ты все забыла: бога, детей, Машу, твои должности, о себе я уже не говорю; ты ни о чем не думаешь, кроме страсти Василия Андреевича, и для удовлетворения ее ты все бросаешь». Протасова, разумеется, отвергла предложение Дуняши, но Мария Андреевна не раз говорила, что если бы ее подруга доехала до них благополучно, ее судьба сложилась бы иначе.

Маша искала выход, но безуспешно. Жуковский просит ее только об одном — не спешить. Его мучат опасения: «Что несчастнее супружества против воли, с тайным чувством к другому, с необходимостью скрываться?» Жуковский умоляет Машу во всем разобраться, ей так часто твердили, что ее привязанность к нему греховна, что это могло, пишет он, «переме-

нить не только твой образ мыслей, но и самое твое чувство. ...Может быть, ты боялась показать мне твою собственную перемену? Ты щадила меня и хотела избавить от нового несчастья! Милая, ты ошиблась!.. Если моя привязанность к тебе казалась заблуждением, если для тебя же самой этого заблуждения не было, для чего не говорила ты мне ясно и решительно?.. Никто так убедительно, как ты, не мог мне доказать моей обязанности и так совершенно переменить моего сердца. Такое открытие не прибавило бы к моему несчастию, но только указало бы мне мою должность». Он хотел видеть ее счастливой, но в глубине души еще надеялся на возможность собственного счастья. И порой в его письмах прорывается боль и тоска: «Маша, откликнись!.. Открой мне глаза. Мне кажется, я все потерял!»

Жуковский едет в Дерпт, чтобы все увидеть своими глазами и во всем самому разобраться. Он полон мыслей о самопожертвовании, готов принести в жертву свое счастье, но сердце его разрывается от горя. Надо было поговорить с Мойером, и вот они встретились. Это была удивительная встреча. Два человека, которые, судя по всему, могли испытывать друг к другу только сильнейшую неприязнь, сразу стали друзьями. Маша писала своему лучшему другу Дуняше: «Они говорили обо всем вместе, искренно и с чистосердечным желанием найти мое счастье. Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастья, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его...»

Жуковский снова увидел в Дерпте несчастных, запуганных женщин. Он не мог оставить все в прежнем состоянии. Воейков скандалил, по вечерам являлся пьяный, едва держался на ногах, утром у него болела голова, и он становился еще злее, чем во хмелю.

«Я не теряю ничего, если только она найдет свое счастье, — писал Василий Андреевич о сватовстве Мойера к Маше. — Что за жизнь, которую она ведет! Нет свободы ни чувствовать, ни мыслить, ни действовать! Даже нет своего угла».

Жуковский уехал в столицу, но в апреле 1816 года он уже снова в Дерпте. Как ни старался Жуковский себя уверить, что роль брата Маши или ее отца доставляет ему истинную радость, известие о предстоящей свадьбе его потрясло. «Машина свадьба! Боже мой, что такое человек? Машина свадьба! Боже мой! Я говорю об этом так спокойно...» — пишет он в своем дневнике.

Все было кончено. «Старое все миновалось, а новое никуда не годится, душа как будто деревянная. Что из меня будет, не

знаю. А часто, часто хотелось бы и совсем не быть. Поэзия молчит. Для нее нет у меня души, — пишет Василий Андреевич Александру Тургеневу через два месяца после этой свадьбы. — Душа смягчилась. К счастью, на ней не осталось пятна: зато бела она, как бумага, на которой ничто не написано. Это-то ничто — моя теперешняя болезнь, столь же опасная, как первая, и почти похожа на смерть... Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником».

И все-таки, Петр Андреевич Вяземский был прав, когда в мае 1819 года писал о Жуковском: «Сохрани боже ему быть счастливым: с счастьем лоппет прекраснейшая струна его лиры». Надо сказать, что Вяземский любил Василия Андреевича всей душой и понимал его, как никто.

Как ни велики были страдания Жуковского, в сердце его не было ревности. Об этом говорит и его послание «К Мойеру»:

Счастливец! ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою!
Возьми ж их от меня и страстию своей
Достоин будь судьбы своей прекрасной!
Мне ж сердце, и душа, и жизнь, и все напрасно,
Когда нельзя всего отдать на жертву ей.

Мойер любил жену до самой смерти. Он скончался скоропостижно в глубокой старости, протянув вперед руки и воскликнув: «Маша!» Это случилось через тридцать пять лет после ее смерти, 1 апреля 1858 года.

3

Свадьба была 14 января 1817 года, а 20-го Маша написала Авдотье Петровне письмо:

«Дуняша моя, вот я и замужем; пишу к тебе из *своего* дома, под музыку моего доброго мужа, который достоин твоей любви... Ты меня, *нас* не видела в течение двух лет, ты не имела понятия об ужасном моем положении и видишь одну только *перемену,* а вообразить не можешь об *необходимости*... Бог дал мне счастье, послав Мойера, но я не ждала счастья, а видела одну возможность перестать страдать... Прошедшее мое счастье

слишком живо у меня в глазах оно украшает мое настоящее, потому что Жуковский есть ангел... но я должна быть его достойна, и потому спокойное исполнение долга без примеси того, что прежде было блаженством, должно наполнить жизнь и сделать раем все мысли и воспоминания. Если бы мне надо было переначинать жизнь, то я выпросила бы себе то же, потому что все хорошее, что я имею в себе и перед собой, есть только следствие прошедшего, а будущее мое верно будет лучше и меня сделает лучшей, нежели я была до сих пор.

Я не могу еще ничего сказать тебе о своей жизни, мое настоящее еще очень дурно; я надеюсь, что через неделю начну *жить* и пользоваться жизнью. У меня много хороших планов в голове, и я непременно их выполню. Я ожидаю много хорошего от своих намерений, — цель их хороша».

У Жуковского это один из самых тяжелых периодов его жизни. В июне 1817 года умерла жена Плещеева красавица Анна Ивановна. Жуковский посвятил ее памяти одно из своих лучших стихотворений:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?
Шепнул душе привет бывалой;
Душе блеснул знакомый взор;
И зримо ей минуту стало
Незримое с давнишних пор.

О милый гость, святое Прежде,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать: живи, надежде?
Скажу ль тому, что было: будь?
Могу ль узреть во блеске новом
Мечты увядшей красоту?
Могу ль опять одеть покровом
Знакомой жизни наготу?

Зачем душа в тот край стремится,
Где были дни, каких уж нет?
Пустынный край не населится;
Не узрит он минувших лет;
Там есть один жилец безгласный,
Свидетель милой старины;
Там вместе с ним все дни прекрасны
В единый гроб положены.

Горестное событие — смерть Плещеевой — послужило для Жуковского предлогом раскрыть свое сердце. Скорбь поэта,

выраженная с такой искренностью, не может не тронуть читателя.

В 1817 году Василий Андреевич утратил надежду на счастье. После того как Маша вышла замуж, ему не на что было больше надеяться. «Минувших дней очарованье» принадлежит к числу тех произведений, которые, как отметил Белинский, являются лучшей биографией поэта.

То же можно сказать о небольшом переводном стихотворении (из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»):

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонный, не рыдал,
Тот вас не знает, вышни силы!

В этом году Жуковский переводил стихотворения, одно другого печальнее: «Утешение в слезах», «Жалоба пастуха», «Мина», «К. месяцу» — все они принадлежат перу Иоганна Гете.

Лейся, мой ручей, стремись!
Жизнь уж отцвела;
Так надежды пронеслись;
Так любовь ушла.

(К месяцу»)

4

Еще одно печальное событие этих лет отразилось в стихах Жуковского. 28 декабря 1818 года в Штутгарте умерла дочь вдовствующей императрицы, Екатерина, королева Виртембергская. У императрицы Марии Федоровны было четыре сына и шесть дочерей, Екатерине было всего двадцать два года, кончина ее была совершенно неожиданна. Жуковский видел убитую горем мать и искренне сочувствовал ее несчастью. Он написал грустную элегию о печальной судьбе женщины и о материнской скорби:

О! матери печаль непостижима,
Смиряются все мысли пред тобой!
Как милое сокровище, таима,
Как бытие, слиянное с душой,
Она с одним лишь небом разделима...
Что ей сказать дерзнет язык земной?
Что мир с своим презренным утешеньем
Перед ее великим вдохновеньем?

Стихотворение Жуковского «На кончину королевы Виртембергской» вызвало восторженные отзывы современников. «...кто не знает его превосходной элегии на «Кончину королевы Виртембергской» — этого высоко католического реквиема, этого скорбного *гимна житейского страдания и таинства утрат»?* — писал Белинский.

Традиция надгробных од существовала в русской литературе давно, но Жуковский нарушил принятый для произведений этого рода выспренний высокий стиль. В своей элегии он остался верен идее равенства всех людей.

5

Больше всего на свете Жуковский боялся предаться отчаянию. В этом ему помогла программа нравственного самоусовершенствования, которую он для себя выработал. «Не беспокойтесь обо мне; не представляйте себе моего состояния низким упынием», — писал Василий Андреевич Дуняше в Долбино. Программное стихотворение этого периода «Мечты», как это часто бывало у Жуковского, дополняет и поясняет его дневниковые записи и письма. В житейских бедах ему помогает лишь Дружба и Труд:

...Дружба, сердца исцелитель,
Мой добрый гений с юных лет.
И ты, товарищ мой любимый,
Души хранитель, как она,
Друг верный, Труд неутомимый,
Кому святая власть дана:
Всегда творить не разрушая,
Мирить печального с судьбой
И силу в сердце водворяя,
Беречь в нем ясность и покой.

Ему не удалось полностью заглушить горе, но он и не стал жертвой житейских несчастий. Что же касается его скромного, даже сурового образа жизни, над которым порой подшучивали легкомысленно настроенные приятели, то эта работа от зари до зари и спасала Василия Андреевича от тоски и приносила ему огромное, ни с чем не сравнимое удовлетворение. Он творил, и в этом заключалось счастье и смысл его жизни.

— Сладость поэтического создания сама собою награда, — любил повторять Жуковский.

Живя в Дерпте, Жуковский постоянно общался с профессорами местного университета, посещал многие лекции. Осо-

бенно его интересовала история средних веков. В это время он еще не оставил замысла написать поэму на сюжет из русской истории. Жуковский писал знакомым, чтобы присылали ему старинные поверья, предания и легенды. Отдельные упоминания о задуманной поэме в письмах этих лет дали основание одному из биографов поэта, П. Загарину, сделать вывод, что поэма эта напоминала бы «Думы» Рылеева.

В 1816 году Жуковский был удостоен звания доктора философии Дерптского университета. Это было его первое ученое звание, оно обрадовало его и смутило. Он всегда считал, что знания, им полученные, отрывочны и недостаточны.

Два года спустя Василий Андреевич Жуковский стал членом Российской академии. В 1841 году — академиком, ибо Николай Первый соединил обе русские академии в одну («Императорская российская академия присоединяется к Императорской академии наук в виде особого отделения русского языка и словесности», — говорилось в царском указе).

В Дерпте Жуковский много занимался рисованием, брал уроки у профессора Зенфа. Здесь развилась его страсть к музыке. В Дерпте было много хороших музыкантов, часто устраивались концерты, на которые Жуковский ходил всегда.

Вскоре он стал известной фигурой в старинном университетском городе, полюбил Дерпт всей душой. Не в столицах, а именно в Дерпте мечтал он поселиться. Но важные дела требовали его присутствия в столице. Жуковский решил поселиться вместе с Плещеевым.

После смерти жены Плещеев не мог оставаться в деревне. Он переехал в Петербург и занял вместе с Жуковским большую квартиру близ Кашина моста. Здесь впервые и начал собираться кружок Жуковского, точнее — литературный кружок, можно даже сказать — литературное общество.

Василий Андреевич не думал поступать на службу, он хотел посвятить себя исключительно литературному труду, тем более после того, как влиятельные друзья выхлопотали для него пожизненный пенсион. Это была редчайшая удача! Пенсион получали и другие «чтецы» императрицы Марии Федоровны: Иван Андреевич Крылов, Николай Михайлович Карамзин и Николай Иванович Гнедич.

Живя в столице, Жуковский то и дело наведывался в Дерпт. После замужества Маши он стал приезжать несколько реже, но все равно, как только у него выдавалась свободная неделя, он отправлялся к своим родным.

В Дерпте мало что изменилось. Воейкову неудобно было куролесить при Мойере, но и оставить в покое тех, над кем он привык безнаказанно измываться, он не мог. Маша писала Елагиной довольно подробно обо всем, что происходило в их семье, и по этим письмам можно представить ту обстановку, в которой они жили. Все свои неудачи Воейков вымещал на близких. В сущности, он мучил их, даже когда находился в отъезде. Шантаж, анонимные письма, угрозы — он все пускал в ход. Это продолжалось изо дня в день, из месяца в месяц, но привыкнуть к его выходкам было невозможно, как никогда нельзя было предугадать, какую новую подлость он придумает. На мелкие неприятности Маша уже не обращала внимания, — к сожалению, ими дело не ограничивалось. Она в отчаянии садилась к столу и делилась с Дуняшей; написав письмо, всегда чувствовала облегчение:

«1817 года 18 декабря, 2 часа ночи. Друг! Наконец меня принудили иметь тайну от Мойера, — не для того, чтоб я не смела открыть ему сердце и боялась титула любовницы, но для того только, чтоб избавить его от того несносного горя, которое ненависть близкого человека мне делает... чем могла навлечь я такую ненависть? Он умел меня заставить посреди счастья желать смерти... решившись идти замуж, я желала одного покоя, и обещала ему отказать Мойеру, если в течение месяца он допустит меня спать спокойно и дышать на воле. Но Воейков дал мне десять расписок (из которых половина цела), а сам и одного часа не пробыл без сцен и историй. Пускай он вспомнит, как он обещал мне выкинуть меня за ноги на улицу, если он узнает, что я в тайной переписке с Жуковским. Мойер знает, что я не думала найти счастье, но бог и Жуковский дали мне его вопреки Воейкову... Я пошлю копию с письма его Жуковскому, он поблагодарит его за ту дружбу, на которую мы оба столько полагались... Бедный мой Мойер спит спокойно, не воображая того, что происходит. Я бы желала дать знать Воейкову о его спокойствии; это единственвенное мщение, которое я себе позволяю... Когда Воейков уехал в Петербург, и мы остались спокойно целые три недели одни, то я скоро забыла все прошедшее и колебалась опять выходить замуж; она (Саша.— *М. Б.*) знала все, что у меня было на сердце, и уговаривала не идти; я имела слабость слушать ее с удовольствием и отвечала ей, подумав немного: но ведь Воейков воротится! и она начала опять меня уговаривать идти за Мойера. Теперь я благословляю все прошедшее, потому что оно меня принудило на счастье, и я счастлива совершенно...

мужа я почитаю и люблю лучше всего на свете... Когда Воейков возвратился, то пришел тотчас к маменьке; я была в зале со свекровью, он заглянул мне в глаза, не поклонился, не снял шляпы и спросив, дома ли маменька, пошел далее. Я... едва стояла на ногах, к тому же мне хотелось скрыть все от матушки и от золовок, которые прибежали, увидя из другой горницы эту фигуру в шляпе. Едва успел он поцеловать у маменьки руку, как закричал так, чтоб я могла слышать: «А я отдал Марьи Андреевны мужика в тюрьму!»... я всегда беспокойна, когда Мойер уезжает со двора, а это бывает беспрестанно...»

Прошел год. Маша начала понимать, что ничего в сущности не изменилось. Воспитанная в строгих правилах, она и мысли не допускает, что замужней женщине можно что-то изменить в своем положении. Дни ее заняты: «с раннего утра до поздней ночи так работаю, что некогда хандре бушевать сердце», пишет Маша. Но это кажущееся спокойствие. Она уже отдавала себе отчет, что для нее значит любовь к Жуковскому. Непостижимым кошмаром представляется ей мысль потерять его: если он умрет или разлюбит ее. Рядом — добрый, но очень неразговорчивый и замкнутый муж, она без конца уговаривает себя, что любит его и уважает, но любила она только Жуковского.

Машу очень сближало с Мойером его неиссякаемое стремление делать добро.

Профессор работал с утра до позднего вечера: спозаранок — лекции в университете, затем — практические занятия со студентами, а после обеда гостиную Мойера заполняли больные. С бедных он денег никогда не брал, он не только бесплатно их лечил, но даже расширил маленькую университетскую клинику. Удалось это Мойеру благодаря тому, что в Дерпте он слыл замечательным музыкантом, и, когда были объявлены его сольные концерты, все билеты были распроданы. На вырученные деньги Мойер купил дом и все необходимое для устройства больницы. Однако в больнице для бедных надо было организовать питание пациентов.

Вот тут-то понадобилась помощь Маши. Разбили огороды, сами посадили овощи и осенью устроили настоящие семейные праздники: «картофельфест, шлахтфест и кольфест»: три дня копали картошку, потом все занялись приготовлением копченых колбас и, наконец, Мойер, Зейдлиц и Франц нашинковали триста кочанов капусты. Таким образом, больные были обеспечены и помещением и едой, ну, а о лечении и говорить не приходится. А у Маши стремление оказать любому человеку ка-

кую-нибудь услугу было воспитано ее учителем Жуковским, неустанно повторявшим:

— Каждую минуту жизни — доброму делу, мысли или чувству.

Со стороны могло показаться, что Маша счастлива, но на самом деле это было не так. Она по-настоящему оживала лишь в своих письмах. После каждой встречи, не успевал Жуковский доехать домой, ему вдогонку уже шло письмо:

«Прощай, Жук, думай о моем плане! Вообрази, как бы мы стали поживать; я бы хозяйничала за тебя. Напиши одно слово — и я уберу комнаты, как игрушку — право, оживу опять. Милый, милый друг, не променяй настоящего счастья на тень его».

Так убедительно может писать только тот, кто уже на собственном опыте узнал, что значит вместо страстно желаемого счастья обрести тень его. Ревнивые нотки в Машином письме вызваны дошедшими до нее слухами о предстоящей свадьбе Жуковского, — кстати, слухи эти не были необоснованны: Жуковский увлекся красавицей Самойловой. Она была намного моложе его, он боялся показаться ей смешным и поспешил ее уверить, что испытывает к ней не любовь, а дружбу. Вряд ли Самойлова любила Жуковского, но она плакала, услышав его заверения,— значит, он был ей небезразличен. Так закончился еще один несостоявшийся роман Жуковского...

6

В Дерптском университете разыгрался скандал. В 1820 году был назначен попечителем университета князь Карл Андреевич Ливен. Как принято, профессора приходили представиться. Когда явился Воейков, Ливен вытолкал его в шею, крича:

— Вон отсюда! Господа, этот негодяй писал на нас доносы!

Далее следовала нецензурная брань.

Воейков, однако, заявил Жуковскому, что он стал жертвой интриг:

— Подлецы немцы, ненавидящие всех русских и особенно патриотов и честных людей, обнесли меня у Ливена. Как благородный человек я не мог снести гласного оскорбления и принужден выйти в отставку. А писал я ему не доносы, а благонамеренные советы с указанием тайного образа мыслей всех



А. Ф. Воейков.

профессоров и кто из них замечен в каких бы то ни было неблаговидных поступках.

Надо было бежать из города, но кредиторы установили дежурство у дома Воейкова: выехать тайно он не мог. Снова выручила жена, Сашенька. Он снарядил ее в Москву, к брату Ивану, чтобы поплакалась о бедственном положении и попросила денег. Едва установилась теплая погода, он отправил плачущую жену за деньгами.

Сашенька вернулась с деньгами, Воейков расплатился с кредиторами и со всем семейством уехал из Дерпта.

В Петербурге Воейков с женой и детьми поселился в квартире Жуковского. Василия Андреевича обрадовала возможность общаться с Сашенькой, ради этого он готов был терпеть общество ее мужа.

В конце сентября 1820 года Александр Иванович Тургенев сообщил Вяземскому о приезде в столицу Александры Андреевны Воейковой, о том, что она умна, образованна и у нее прекрасная душа. Александра Андреевна стала хозяйкой салона первого поэта России и вскоре приобрела множество поклонников и почитателей.

В этом же году Воейков благодаря ходатайству друзей Жуковского стал вместе с Гречем редактировать «Сын отечества», журнал, который был основан в 1812 году и в свое время был одним из лучших отечественных периодических изданий. Через год Воейков стал издавать «Русский инвалид», что приносило ему солидные суммы, хотя он, как всегда, вел рассеянный образ жизни, и денег вечно не хватало.

Деятельнось Воейкова связана с салоном его жены. Судьба красавицы, связанной с чудовищем, волновала друзей Жуковского. В Петербурге о Воейкове тоже ходили весьма неприятные слухи, однако ему все прощали ради его жены.



А. А. Воейкова — «Светлана».

Друзья Жуковского боготворили Сашеньку. Антонина Дмитриевна Блудова, дочь однокашника Жуковского, по университетскому пансиону, оставила словесный портрет Воейковой: «Молодая, прекрасная, с нежно-глубоким взглядом ласковых глаз, с легкими кудрями темно-русых волос и черными бровями, с болезненным, но светлым видом всей ее фигуры, она осталась для меня таким неземным видением из времени мо-

его детства, что долго я своего ангела-хранителя воображала с ее чертами».

Воейков держался в обществе только благодаря жене и Жуковскому, которые знали о нем далеко не все. Интересен распорядок дня Воейкова. С утра он объезжал приемные сильных мира сего, чтобы клеветать на знакомых, переносить сплетни и слухи: так велика была у него потребность делать подлости, ради этого он не останавливался ни перед чем, даже соображения собственной выгоды отступали на задний план. О Воейкове ходила эпиграмма:

Лишь только занялась заря
И солнце стало над горой,
Воейков едет на разбой:
Сарынь на кичку кинь.

Закончив утренние дела, он возвращался в свой дом, вернее, в дом Жуковского. Здесь ждала его Сашенька, несравненная Светлана, кротость которой была безгранична, ибо как ни издевался над нею муж, она все забывала, все ему прощала и встречала его неизменной ласковой улыбкой. Доведя без особых трудов это безответное создание до истерики, Воейков ждал, когда жена вся в слезах удалится в свой кабинет. Тогда он запирал ее на ключ и усаживался в гостиной. «Самое время делать визиты, кто-нибудь да явится»,— думает муж. Приходит Тургенев. Дергает дверь — заперто.

— Что случилось? — спрашивает он у Воейкова.

— Она заперлась. Плачет,— спокойно отвечает тот.

— Плачет? Почему?

— Как же ей не плакать? В доме ни копейки, детям завтра нечего есть. Заплачешь с горя.

— Пусти меня к ней.

— Дашь пятьсот рублей, тогда пущу.

Гость соглашается, и Воейков отпирает дверь. Глаза у Сашеньки действительно заплаканные, но она и не подозревает о случившемся.

Таков был муж Сашеньки. В оценке Воейкова современники проявляли поразительное единодушие: безобразный, с искаженным лицом, хромой, гугнявый, плохо воспитанный, он имел доступ в лучшее общество из уважения к необыкновенной женщине, которая была его женою.

Младшая сестра, так же как и старшая, была в полной мере воспитанницей Жуковского. У сестер много общего, это



И. И. Козлов.

замечали все, кто их видел хотя бы мельком. Сашеньку, так же как и Машу, любили все, кто ее знал. У нее было доброе сердце, она неустанно помогала всем, кто нуждался в ее помощи. Особенно трогательна была дружба Сашеньки с больным, навсегда прикованным к постели Иваном Ивановичем Козловым. Этот человек стал поэтом уже после того, как тяжелый недуг сделал его неподвижным и лишил зрения, он особенно нуждался в участии. Козлов был покорен добротой Сашеньки, посвящал ей прекрасные стихи.

У Козлова был тонкий музыкальный слух, многие его произведения отличались напевностью, а стихотворение «Вечерний звон» стало одной из самых любимых русских песен.

Николай Михайлович Языков полюбил Сашеньку, еще когда учился в Дерптском университете; его стихи Воейковой полны страсти: она была его мечтой, его первой любовью. Это была любовь поэта, осужденного любить безо всякой надежды.

Боратынский относился к Светлане более сдержанно, но он лучше всех сумел выразить ее характер.

Очарованье красоты
  В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
  К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
  Манишь на край земной,
И при тебе душа полна
  Священной тишиной.

(«А. А. Воейковой»)

Общение с друзьями Жуковского хотя и доставляло радость этой измученной женщине, но не могло избавить ее от несчастья. Постоянные скандалы мужа сделали ее нервной, истеричной; редкий день проходил без слез. Сашенька излива-

ла душу в письмах к Маше, у нее была потребность поделиться с родной душой, без этого ее жизнь была бы совершенно невыносима.

Маша тоже теряла жизненные силы. Она уже не верила в возможность собственного счастья и не стремилась к нему. Внешне она была спокойна и, так же как и младшая сестра, производила самое благоприятное впечатление на всех, кто попадал в их дом.

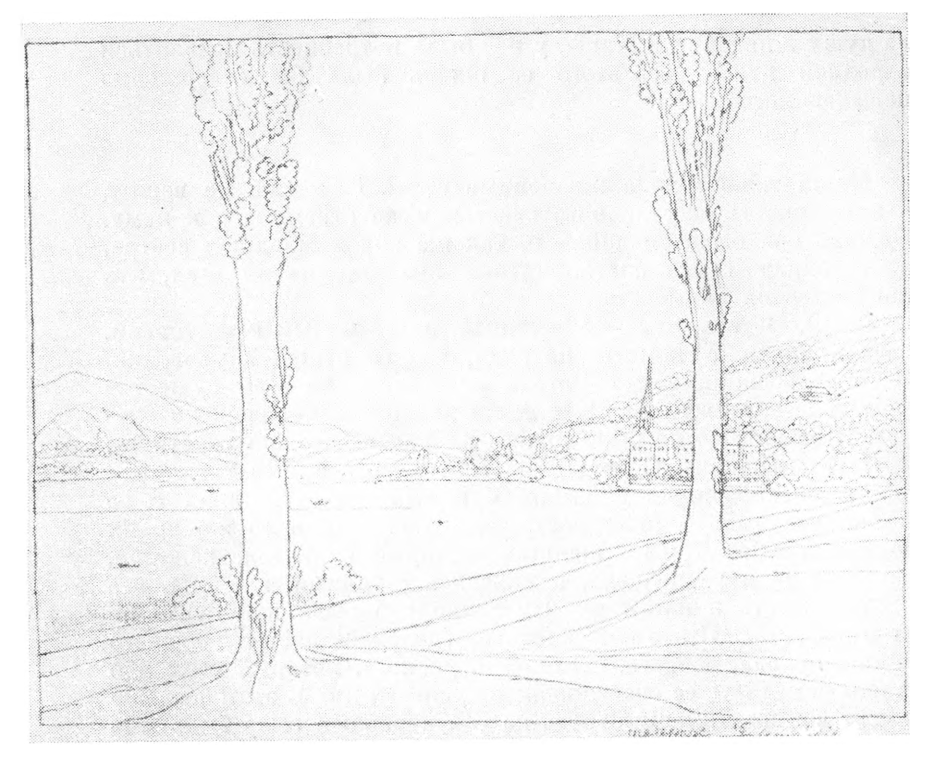
Ф. Ф. Вигель, человек желчный, не склонный к восторгам, познакомился с Машей, не зная, что ее любил Жуковский. В своих воспоминаниях Вигель записал: «...во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с ее имени все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, взял бы да и расцеловал, а находясь с такими, как она, все хочется пасть к ногам их. Ну точно она была как будто не от мира сего... И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастливой; но успевал ли? В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неравный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту элегию, никак не умел я приладить к холодной диссертации».

Таково было первое впечатление постороннего человека. Он не ошибся, Маша не была счастлива.

7

В 1820 году Василий Андреевич Жуковский отправился в свое первое заграничное путешествие. Он был рад возможности побывать в стране, язык и литературу которой знал превосходно. И все-таки настроение у него было подавленное: ему предстояло быть в Дерпте проездом, он не мог побыть с Машей хотя бы несколько дней.

Жуковский выехал из Дерпта 3 октября 1820 года. Его записи в путевом блокноте отрывочны и немногословны, это заметки для памяти: «Прекрасный вид. Большой лес сосновый на высоте равнины. Длиною в $1^1/_4$ мили... Темнота и дождь. В Руцау комиссар, бывший в прусской службе. 11 детей...



Тегернзе.
Рис. В. А. Жуковского. (1838 г.)

Мельницы в действии. Опрятные домики. Печи. Почтальон. Физиономии немецкие».

Зато в письмах Жуковский подробно рассказывал о путешествии.

«Самым приятным зрелищем было для меня то, что все, которые обыкновенно ездят по здешней дороге, называют скучным и несносным, это так называемый *штранд*, или дорога ужасными песками от Мемеля до Кенигсберга. Чтоб легче было лошадям, ездят обыкновенно по самому краю песчаного берега, так что одно колесо всегда в море. В жаркое время, когда песок раскален и море спокойно, эта дорога должна быть несносна и утомительна; мы, напротив, ехали после бури... Песок был взмочен, и мы ехали скоро; и, благодаря буре, дорога штрандом,

самая худшая во всякое время, была для нас лучшею, ибо за Кенигсбергом была грязь или песок, и мы тащились, как черепахи», — писал Василий Андреевич Протасовой из Берлина 1 ноября.

Во время этого путешествия Жуковский имел возможность познакомиться с европейским театром.

«26 ноября 1820 года. В театре: Joanna von Orlean играла в первый раз m-elle Franz. Нельзя сказать решительно, чтобы она имела, что называется, великий талант; этого не видно из ее игры, особливо из ее чтенья, но она играла хорошо, особливо же действовало ее прелестное лицо, которым она действует лучше, нежели языком и руками. В большом монологе пролога она не сохранила надлежащей постепенности.— «Исполнилось и шлем сей послан им» — этот стих и прочие последние были мало отделаны; в четвертом акте в начале ей не должно выходить, а уже быть на сцене; во время марша она не должна так театрально шататься, а идти в глубокой задумчивости и шагом отличным от других. Роль Раймонда я дал бы Вольфу. Mit was denn[6] сказано было не так, как должно; это слово она должна произносить не с удивлением и неудовольствием, а с чувством дружеского сожаления к товарищу, которого вопрос есть величайшее доказательство любви и пожертвования. Она рано встает в последней сцене; надобно непременно, чтоб зритель чувствовал, что она держит многих не собственно, а сверхъестественною силою. Действие этой трагедии имеет что-то магическое, отличное от всякого другого действия. Мне жаль сцены с Монтгомери; в прологе многое напрасно выпущено; особенно сердит облако или светлая тряпка, которая опускается так некстати и разрушает действие последнего монолога».

Мысль о переводе романтической трагедии Фридриха Шиллера «Орлеанская дева» возникла у Жуковского давно, но всю пьесу он перевел только после того, как увидел ее на сцене Берлинского театра. Жуковского привлекало патриотическое значение пьесы.

Франции не одолеть;
Нет, нет тому не быть! скорей она
Для ваших войск обширным гробом будет.
Храбрейшие из вас погибли; вспомни
О родине; подумай о возврате;
Уже давно пропала ваша слава;
И вашего могущества уж нет.

Министр внутренних дел Кочубей запретил постановку «Орлеанской девы». Театральная цензура не только не раз-

решила пьесу Шиллера в переводе Жуковского, но после того, как ознакомилась с нею, дала указание о запрещении принимать к постановке на сцене императорских русских театров все пьесы, написанные белыми стихами (Жуковский перевел трагедию белым пятистопным ямбом).

Пробыв более полугода в Берлине, Жуковский отправился путешествовать по Германии и Швейцарии.

Жуковский стремился посетить все первоклассные картинные галереи, подолгу простаивал возле понравившейся ему картины.

В Дрезденской галерее Жуковский увидел Сикстинскую мадонну. Вот что он писал об этой картине:

«...Такова сила той души, которая дышит и вечно будет дышать в этом божественном создании, что все окружающее пропадает, как скоро посмотришь на нее со вниманием. <...> Какое-то трогательное чувство величия в нее входило... *Гений чистой красоты* был с нею.

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам,
И приносит откровенья
Благодатные сердцам. . . . . . .

...В богоматери, идущей по небесам, неприметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее... находишь в каком-то таинственном соединении все: спокойствие, чистоту, величие... В глазах ее нет блистания... но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное... Какую душу надлежало иметь, чтобы произвести подобное!.. надобно быть или безрассудным, или просто механическим маляром без души, чтобы осмелиться списывать эту Мадонну: один раз душе человеческой было подобное откровение: дважды случиться оно не может».

* * *

Василий Андреевич присутствовал на празднике в Берлине, устроенном прусским королем Фридрихом в честь приезда из

России его дочери и зятя. Дочь короля великая княгиня Александра Федоровна на дворцовом празднике в «живых картинах» исполнила роль индийской принцессы Лалла Рук. Ее муж, великий князь Николай Павлович, играл бухарского царя Алприса, брат короля — Великого Могола, остальные роли также играла высшая знать. Декорации были прекрасные, костюмы — тоже, особенно у принцессы Лалла Рук, которая была с головы до ног увешана золотыми браслетами и жемчужными ожерельями.

Если верить печатным отзывам, великая княгиня играла бесподобно.

Это зрелище вдохновило Жуковского на создание одного из его лучших произведений — стихотворения «Лалла Рук» (январь 1821 года).

Жуковский не был сочинителем мадригалов, но и обращаться к будущей царице, как к понравившейся ему женщине, он тоже не мог. Поэт нашел единственно возможный выход из положения: он создал образ прекрасной индийской принцессы, которой и высказал свои чувства:

И блистая и пленяя —
  Словно ангел неземной —
Непорочность молодая
  Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
  Оттенял ее черты,
И застенчиво склоняла
  Взор умильный с высоты.
Все — и робкая стыдливость
  Под сиянием венца,
И младенческая живость,
  И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
  С безмятежной тишиной —
Все в ней было без искусства
  Неописанной красой!

. . . .

Ах! не с нами обитает
  Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
  Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
  Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
  Неразлучен с сердцем он!

Критики неоднократно указывали на связь стихотворения «Лалла Рук» Жуковского с пушкинским посланием Анне Пет-

ровне Керн, написанным в 1825 году. Бессмертное послание Пушкина начинается словами:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Героиня обоих произведений — молодая, прекрасная женщина, и оба автора не могли остаться равнодушными к ее красоте. У Жуковского — целомудренная, робкая, затаенная влюбленность, а у Пушкина — гимн торжествующей любви, вечной, как жизнь.

Через несколько лет, в один из самых мрачных периодов своей жизни (вскоре после смерти Маши Протасовой), Жуковский снова обратился к этой теме.

Только теперь *Гений чистой красоты* означал Музу поэзии, вдохновение. «Я Музу юную, бывало, // Встречал в подлунной стороне, // И Вдохновение летало // С небес, незванное, ко мне; // На все земное наводило // Животворящий луч оно — // И для меня в то время было // Жизнь и Поэзия одно. // Но дарователь песнопений // Меня давно не посещал; // Бывалых нет в душе видений, // И голос арфы замолчал. // Его желанного возврата // Дождаться ль мне когда опять // Или навек моя утрата // И вечно арфе не звучать? // Но все, что от времен прекрасных, // Когда он мне доступен был, // Все, что от милых темных, ясных // Минувших дней я сохранил — //Цветы мечты уединенной // И жизни лучшие цветы,—

Кладу на твой алтарь священный,
О Гений чистой красоты!

Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда,—
Но ты знаком мне, чистый Гений!
И светит мне твоя звезда!
Пока еще ее сиянье
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье!
Былое сбудется опять.

Это стихотворение Жуковского словно страница дневника. В нем — подтверждение силы воли, силы духа, оптимизма, в биографии Жуковского оно занимает видное место.

8

«Я смотрел на окрестности; они были очаровательны. Дрезден, за которым садилось солнце, темно отделился от дождливого горизонта, и за ним, как за тонкою дымкою, светилось невидимое солнце: отдаление покрыто было светом и тенью, и в этой картине что-то было знакомое, и в самом деле знакомое! Это было точно белевский вид с пригорка, против моего бывшего дома (разумеется, с бо̀льшим разнообразием). Эльба, которая здесь немного шире нашей Оки, так же точно извивалась под горою: в правой стороне город; вдали, на горе Рекниц, похожий на Темрянь; за рекою обширный луг с дорогами. Одна из них, Пильницкая, по берегу Эльбы, как Московская по берегу Оки, другая на Рекниц, как Тульская; даже влево под горою дом, точно напоминающий Дураковскую церковь: самое отдаление, несмотря на то что синелись на нем живописные горы Саксонской Швейцарии, имело что-то похожее на рощи, окружающие Жебынскую пустынь; одним словом, с помощью воображения можно было довольно живо видеть вместо Дрездена милую свою родину...» — писал Василий Андреевич в июне 1821 года.

В Дрездене Жуковский встретил соотечественников, особенно он обрадовался Олсуфьеву. Олсуфьев увлекался ботаникой, неплохо знал окрестности города и вызвался быть проводником Жуковского. Вдвоем они отправились в горы. «Как жаль, что надобно употреблять слова, бумагу, перо и чернила, чтоб описывать прекрасное! Природа, чтоб пленять и удивлять своими картинами, употребляет утесы, зелень деревьев и лугов, шум водопадов и ключей, сияние неба, бурю и тишину, а бедный человек, чтоб выразить впечатление, производимое ею, должен заменить ее разнообразные предметы, однообразными чернильными каракульками, между которыми часто бывает гораздо труднее добраться до смысла, нежели между утесами и пропастями до прекрасного вида. ...Как изобразить чувство нечаянности, великолепие, неизмеримость дали, множество гор, которые вдруг открылись глазам как голубые окаменевшие волны моря, свет солнца и небо с бесчисленными облаками, которые наводили огромные подвижные тени на горы, поля, во̀ды, деревни и замки, пестревшие перед глазами с удивительной прелестью? Каждый из этих предметов можно назвать *особенным словом;* но то впечатление, которое они *вместе* на душе производят,— для него нет выражения; тут молчит язык человека, и ясно чувствуешь, что прелесть природы — в ее

невыразимости. Надобно, однако, посвятить несколько чернильных каракулек описанию Bastey. Это утес во сто саженей перпендикулярной вышины, выдавшийся из ряду других утесов над самою Эльбою, которая у подошвы его извилась дугою; вправо и влево такие же крутые, но не столь высокие утесы; перед глазами все горы Саксонской Швейцарии или, лучше сказать, огромные камни, со всех сторон обтесанные и неприступные... вправо Пирна, вдали Дрезден; деревни по берегам Эльбы кажутся карточными домиками, а лодки, плывущие на парусах по реке, светлыми, тихоползущими мошками».

В Дрездене Василий Андреевич познакомился с прославленным романтиком Людвигом Тиком. Тик отнесся к русскому поэту с доброжелательностью, долго говорил с Жуковским, доказывал, что «Гамлет» — это вершина человеческого гения. Жуковский скромно отвечал, что Шекспир, сочиняя свою трагедию, и не подозревал в ней того, что открыл в ней Тик.

9

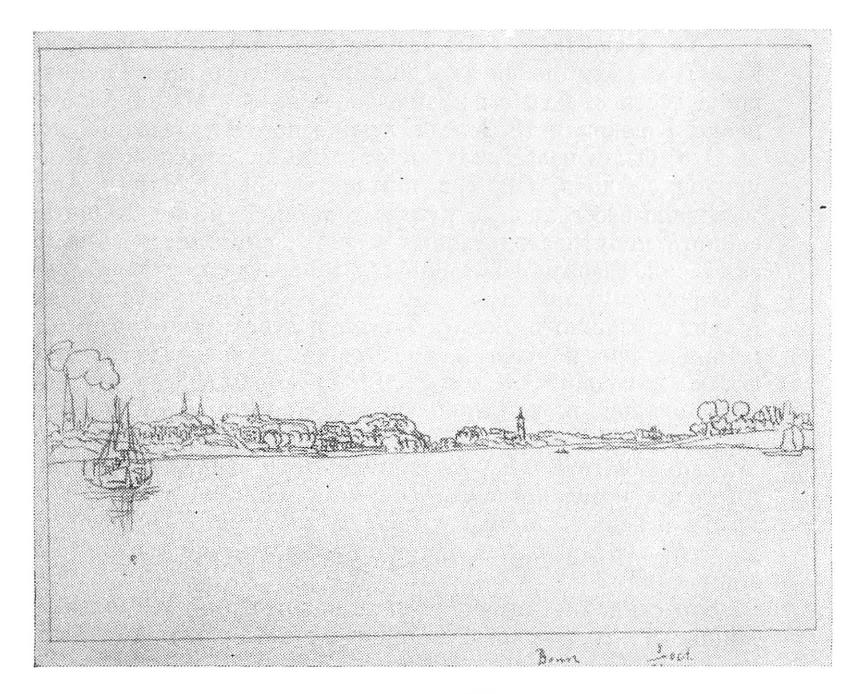
Двадцать девятого октября 1821 года Жуковский навестил в Йене семидесятилетнего Иоганна Гете.

Отношение Жуковского к Гете выражено в стихотворении, которое он написал за два года до посещения поэта:

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился.
И в мире все постигнул он —
И ничему не покорился.

«Здесь в четырех строках не только дан очерк Гете — это выше Гете. Здесь заключен общечеловеческий лозунг — служи свободе, все познай, ничему не покоряйся! Таких строк немного в литературе мира»,— сказал об этом произведении Жуковского Алексей Максимович Горький.

Гете принял Жуковского ласково и сердечно. Но серьезного разговора о творчестве не получилось. С Жуковским была его ученица великая княгиня Александра Федоровна. 16 ноября 1821 года Гете писал Жуковскому: «Вы, вероятно, почувствовали при отъезде из Йены, как мне было больно, что вы не продлили вашего пребывания. Когда нежданно явившийся,



Бонн.
Рис. В. А. Жуковского (1840 г.).

быстро овладевший вашей дружбой человек столь же быстро удаляется, вы начинаете раздумывать, что бы вы могли ему сказать, о чем спросить, что ему сообщить. Не стану говорить, что все это я ощутил вдвое и втрое, когда вы и ваш милый спутник покинули меня ночью в моей келье; пока примите мое письмо, как повторение моего «добро пожаловать» и «прости». Я желал бы, чтобы вы сохранили память обо мне... Не пишу более, дабы настоящее письмо мое быстрее дошло до вас...»

В январе 1822 года Жуковский вернулся на родину.

Только подъезжая к Дерпту, он понял, как соскучился о Маше. Все, что он видел в чужих краях, отошло на второй план, теперь все мысли были о ней. Как она себя чувствует, здорова ли, не забыла ли его совсем, погруженная в заботы о своей маленькой дочери? Счастлива ли она? Если судить по письмам, то чувства ее к нему не изменились.

«Ах, я люблю его без памяти и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой, которую ни за какие сокровища света отдать бы не могла»,— пишет Маша Авдотье Петровне 1 февраля 1822 года, вскоре после приезда Жуковского.

Это было необыкновенное свидание. Жуковский впервые увидел ее дочь. Он приехал после обеда, Мария Андреевна услыхала его голос, метнулась в детскую и, подхватив на руки сонного полуторагодовалого ребенка, спустилась вниз. Жуковский сидел возле Екатерины Афанасьевны, отворилась дверь, и его глазам предстала картина: молодая красавица с огромными, тревожно вглядывающимися в его лицо глазами, и крошечная, еще не совсем проснувшаяся девочка, до невозможности похожая на мать. Он бросился ей навстречу, она остановилась и, внезапно засияв, протянула ему ребенка. Он расцеловал Катьку, а Маша не в силах была отвести от него смеющихся глаз. Она протянула руки к ребенку, и он обнял их обеих и нежно поцеловал мать. Они не отходили друг от друга, и бедный Мойер улыбался, глядя на Жуковского, Машу и Катю, которая так же, как ее мать, тянулась к Василию Андреевичу.

Это свидание последовало за одной из самых долгих разлук Маши и Жуковского, и приезд его на этот раз был очень недолгим. Счастливые дни прошли быстро. 8 февраля 1822 года Маша писала Жуковскому: «Ангел мой Жуковский! Вот ты уже и проехал! кончилось все счастье, которым сердце полтора года жило,— теперь нечего ждать... Ах, милый Жуковский, поверь мне — мне мало надобно, чтоб быть счастливой, я не требую от людей ничего больше, как позволения жить с тобой. У меня есть два светлые сокровища: мой младенец и мое прошедшее! с этими двумя спутниками можно прожить добродетельно и не такую жизнь, как моя!»

Близкие начали замечать, что Мария Андреевна все чаще и чаще стремится остаться одна в своей комнате. Это были лучшие часы ее жизни: она писала дневник или письма Жуковскому, или читала его стихи, лучшие из которых были посвящены ей. Иногда она ловила себя на том, что разговаривает с ним. В один из таких уединенных часов она написала Жуковскому прощальное письмо. Василий Андреевич Жуковский не расставался с этим письмом до конца жизни. Вот оно, от первого до последнего, недописанного слова:

«Друг мой! Это письмо получишь ты тогда, когда меня подле вас не будет, но когда я еще буду к вам душою.— Тебе обязана я самым живейшим счастьем, которое только ощу-

щала!.. Не огорчайтесь, что меня потеряли. Я с вами! Жизнь моя была наисчастливейшая — включая два, три дурные воспоминания, я не имею причины жаловаться на нее, и все, что ни было хорошего,— все было твоя работа. Ангел мой! Одна мысль, которая меня беспокоит, есть та, что я не довольно была полезна на сем свете, не исполнила цели, для которой создана была; но это чрезмерное желание, которое во всю жизнь меня не покидало — делать что-нибудь полезное,— неужели оно ни во что не причтется? Последний год жизни был наилучший — надежда иметь ребенка осчастливила все; и все чувства были — благодарность! Чрезмерное это счастье заставляло меня ожидать и желать смерти.

Теперь, прощай. Я отдаю назад все, что мне было драгоценнее. Перечитывая эти тетрадки, в которых заключается цель моей жизни, ты утешишься мыслию, что, имея твою душу в руках, моя жизнь была завидна! Будь счастлив! — думай обо мне с совершенным спокойствием, потому что последнее мое чувство будет — благодарность. Будь отец второй моей малютки и сын моей матери. Друзья, не жалейте обо мне, я уверена в милосерд...».

На этом письмо обрывается.

10

Сестры очень любили друг друга и тяжело переносили разлуку. Обе они были несчастливы в замужестве,— может быть, поэтому у них сохранилась какая-то болезненная тоска о прошлом, с которым у них были связаны воспоминания о невозвратных девичьих годах. Обе были красивы, умны, образованны. И одна и другая могла, как говорили в те времена, составить счастье всей жизни достойного супруга и быть спокойной и счастливой. Но стоило им встретиться, они рыдали, как плачут только те, кто больше не ждет никакой радости в жизни.

Маша, например, всеми силами пыталась уверить себя, что все у нее хорошо, а потом в нескольких строчках вдруг проговаривалась: «Почтовые дни — самые страшные в нашей жизни — напрасное ожидание и неизвестность нестерпимы». Есть что-то невыразимо трогательное в ее борьбе с несчастьями. Какого труда ей это стоило, она никому не рассказывала.

Маша была отличная хозяйка, к тому же не было такой работы, которую она считала для себя унизительной. Она

не ленилась вставать на заре и готовить завтрак для пациентов своего мужа.

Приготовит, да еще сама и отнесет. Однажды Мойера вызвали к роженице, находившейся под арестом в пересыльной тюрьме. Он был на операции, и Мария Андреевна пошла вместо мужа. Она справилась с ролью акушерки. Но когда она, обмыв и запеленав новорожденного, хотела выйти, это оказалось невозможным: настала ночь, а ночью сторожа дозваться было нелегко. К счастью, кто-то из знакомых видел, как Марья Андреевна входила в тюрьму, и, когда перепуганный Мойер обегал чуть ли не весь город, ему сказали, где жена...

Между нынешним положением Маши и прошлым разница была лишь в том, что тогда она надеялась на будущее счастье, а теперь у нее остались только воспоминания. Ради них она настояла на поездке в родные места. В начале лета 1822 года Маша с мужем приехала в Муратово. В свое время Мойер упрашивал жену отказаться от их части имения, но Екатерина Афанасьевна воспрепятствовала этому. Теперь Мойер с головой ушел в новую для него деятельность. Ему нравилось жить в деревне, заниматься сельским хозяйством. Он любил сажать деревья, в Бунине до сих пор стоит парк, насаженный его руками.

Маша увидела ивы, которые в юности посадила возле дома Жуковского, навестила дорогие для ее сердца места: домик Жуковского и старое кладбище, заброшенную могилу Анны Ивановны Плещеевой.

После этого лета Маша уже не могла оправиться. Всю осень хворала, к зиме состояние ее ухудшилось настолько, что она почти не выходила.

Жуковскому Маша казалась по-прежнему прекрасной, он не замечал ни ее бледности, ни теней под глазами. «Видел Машу, говорил с нею и доволен — это поэзия»,— написал он Елагиной.

11

Как большое несчастье воспринял Жуковский любовь Александра Ивановича Тургенева к Сашеньке.

Тургенев полюбил ее, она отвечала ему взаимностью. Летом 1822 года у Александры Андреевны родился сын. «Уведомь меня о здоровье А. А. и малютки.— Я провел ужасную ночь...



А. И. Тургенев.

страдаю ужасно. Любовь к ней не умаляет угрызений совести,— писал Тургенев Жуковскому.— Кроме любви к ней ничего не было; но к ней присоединилось чувство отчаяния... ей ли меня наказывать! Кто более меня страдал за малютку? Я и теперь страдаю, и никакое будущее его — совесть мою не успокоит. Скажи ей это.

Когда она едет?.. я еще не отжил для несчастья. Наказание будет. Жить с мыслью, что не мог жить для нее. Вот мое будущее. Что любил ее и едва не убил ее и того, который был у ее сердца. Малютка будет напоминать мне меня в 22-м году. Прошу со слезами у ног ее прощения».

Жуковский был слишком прямым человеком, чтобы скрывать свое неодобрительное отношение ко всему происходящему, и сделал это в весьма резких выражениях. Тургенев обиделся, он даже собирался порвать с Жуковским, но тут случилось такое горе, которое едва не унесло Жуковского в могилу.

Маша ждала второго ребенка. Роды должны были быть в середине марта. В конце февраля Жуковский сопровождал Александру Андреевну Воейкову и ее детей из Петербурга в Дерпт. Прожил в Дерпте до 10 марта. Уезжал вечером. Маша, Мойер и Жуковский сидели в гостиной, ждали карету. Лошадей долго не подавали, Жуковский стал просить, чтобы Маша шла к себе. Она согласилась, но с условием, что перед отъездом он зайдет к ней попрощаться. Через некоторое время за ним пришли: карета у ворот. Он колебался, будить ли Машу. И вдруг увидел, что она стоит в дверях.

Он подошел к ней и сказал, что уже очень поздно и ей пора спать.

Она послушно вернулась в спальню, он ее перекрестил, и она, взглянув на него, уткнулась лицом в подушку.

Ровно через неделю, в субботу 17 марта 1823 года у Маши начались роды. Мойер от нее не отходил.

Роды были тяжелые. Мария Андреевна родила мертвого мальчика и потеряла сознание. Потом пришла в себя и позвала Жуковского. Сдерживая рыдания, Мойер сказал, что его нет. Маша закрыла глаза. На этот раз — навсегда.

Жуковский приехал на следующий день после похорон. Порой ему казалось, что он сходит с ума: ничего не изменилось, а ее нет, и навсегда нет!

Ночью Жуковский написал стихотворение:

Ты предо мною
Стояла тихо.
Твой взор унылый
Был полон чувства.
Он мне напомнил
О милом прошлом...
Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.

Звезды небес,
Тихая ночь!..

(«19 марта 1823»)

Время отметает вымышленные преграды и условности. Остается только все чистое и настоящее.

В этом смысле любовь Маши Протасовой и Жуковского вечна.

12

Жуковский чувствовал себя плохо, работалось плохо, настроение было подавленное. Его друг Карл Карлович Зейдлиц утверждал, что Жуковский продолжал любить Марию Андреевну и после ее смерти.

Он мужественно переносил свое горе. Старался быть деятельным. Не замыкался в себе. Всегда готов был прийти на помощь, когда к нему обращались за советом.

Жуковский — Кюхельбекеру

(Конец 1823, Петербург)

«Любезный Кюхельбекер! ...Ваше письмо очень грустно и мрачно, и расположение ваше заставляет невольно о вас беспокоиться. Те мысли, которыми вы наполнены, весьма свойственны человеку с чувством и воображением; но вы любите питать их — я этого не оправдываю! Такого рода расположение не достойно человека. По какому праву браните вы жизнь и почитаете себе позволенным с нею расстаться! Этому нет никакого другого имени, кроме унизительного: *сумасшествия!* Вы можете быть деятельны с пользою, а вы бросаетесь в область теней и с какою-то гордостью смотрите оттуда на существенное, могущее для вас быть прекрасным. — Составьте себе характер, составьте себе твердые правила, понятия ясные; если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте — вот в чем достоинство человека! Сделать из себя кусок мертвечины... весьма легко... оригинальности же нет в этом никакой... Виноват, что пишу к вам так резко; но, признаюсь, досадно читать ваше письмо. Я желал бы, чтобы *Дельвиг* поскорее к вам возвратился и порядочно пожурил вас. ...Как ваш духовный отец, требую, чтоб вы покаялись и перестали находить высокое в унизительном. Вы созданы быть добрым, следовательно, должны любить и уважать жизнь, как бы она в иные минуты ни терзала. Жду от вас письма более утешительного и обнимаю вас.

Ваш *Жуковский*.

Перечитываю письмо мое — и меня берет страх: вы можете огорчиться моими выражениями. Но, право, это не будет справедливо. Вы должны полагаться на мою к вам дружбу; должны верить, что я в сердце желаю видеть вас таким, каковы вы должны и можете быть. Вы богаты прекрасным дарованием, имеете прекрасное сердце. Это — материалы если не для счастия, то для хорошей жизни. Я хочу, чтоб вы этими материалами воспользовались, и говорю с вами как ваш духовный отец. Не сердитесь, а любите меня и принимайте каждое мое слово под штемпелем дружбы».

Кюхельбекер действительно поборол в себе мрачное расположение духа, все силы отдавал журналистике — альманаху «Мнемозина», который он начал издавать вместе с Владимиром Федоровичем Одоевским.

Приблизительно в это же время к Жуковскому обратился с письмом Евгений Боратынский. Шестнадцати лет от роду Боратынский был исключен из Пажеского корпуса за просту-



Е. А. Борагынский.

пок, который был сочтен столь неблаговидным, что дело дошло до царя Александра Первого. В письме-исповеди, написанном Жуковскому из финской ссылки, Боратынский рассказывает: «я задумал составить общество мстителей, имеющее целью сколько возможно мучить наших начальников».

Наказание Боратынскому было неимоверно тяжелое — исключение без права поступления на государственную службу, — «разве что только в армию, да и то в качестве рядовых», — как гласил царский указ.

Долго бились влиятельные родственники исключенного, но ничего нельзя было сделать. Тогда восемнадцатилетний бывший «мститель» поступил рядовым в армию.

И вот, спустя пять лет, преисполненный раскаяния, он обратился к Жуковскому. Жуковский написал министру духовных дел и народного просвещения князю Голицыну, прося его показать приложенную при письме исповедь молодого человека царю:

«Я недавно получил письмо, тронувшее меня до глубины сердца: молодой человек с пылким и благородным сердцем, одаренный талантами, но готовый при начале деятельной жизни погибнуть нравственно от следствий проступка первой молодости, изъясняет в этом письме, просто и искренно, те обстоятельства, которые довели его до этого проступка. Несчастие его не унизило, и еще не убило, но это последнее неминуемо, если вовремя спасительная помощь к нему не подоспеет. <...>

Письмо Баратынского есть только история его проступка; но он не говорит в нем ни о том, что он *есть теперь,* ни о том, чем бы *мог быть после.* Это *моя* обязанность. Я знаю его лично... Если *заслуженное* несчастие не унизило его души, то это неоспоримо доказывает, что душа его не рождена быть низкою... чем более живости в душе — то есть именно, чем более в ней такого, что могло бы при обстоятельствах благо-

приятных способствовать к ее усовершенствованию, тем более для нее опасности... Таково мне кажется *прошедшее* Боратынского: он *споткнулся...* но он *не упал!* Убедительным тому доказательством служит еще и то, что... в нем пробудилось дарование поэзии. Он — поэт! и его талант не есть одно богатство беспокойного воображения, но вместе и чистый огонь души благородной: прекрасными, гармоническими стихами выражает он чувства прекрасные, и простота его слога доказывает, что чувства сии *неподдельные,* а искренно выходящие из сердца. Одним слово, я смело думаю, что в этом несчастном, <...> скрывается человек, уже совершенно понимающий достоинство жизни и способный занять не последнее место в свете. ...Возвратись он в свет, он возвратится в него *очищенный*; ...и наказание *исправляющее* не будет наказанием *губящим».*

Благодаря ходатайству Жуковского удалось добиться для ссыльного поэта офицерского чина. Вскоре Боратынский вышел в отставку и получил возможность уехать из Финляндии, где стоял его полк, в Москву.

* * *

Не установлено, кому Жуковский посвятил стихотворение «Воспоминание» (впервые оно было опубликовано под заглавием «К N. N.»):

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет:*
Но с благодарностию: *были.*

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни!

П. А. Вяземский. Из письма

1

Жуковский никогда не принадлежал к тайным обществам; более того, он считал членов тайных обществ безумцами. После Четырнадцатого декабря ему стало ясно: это было святое безумство во имя счастья ближнего; он понял, что декабристы руководствовались чистыми, высокими, бескорыстными помыслами.

И Жуковский в последующие годы всем, чем мог, помогал им.

Никто так много не сделал для облегчения участи декабристов, как Василий Андреевич Жуковский.

Это было тяжелое время. Шло следствие над участниками бунта на Сенатской площади и членами тайных обществ. По делу были привлечены пятьсот семьдесят девять человек.

Пока работала следственная комиссия, участь декабристов была неизвестна. Куда бы Василий Андреевич ни пошел, с кем бы ни встретился, разговор непременно переходил на участников восстания или на их близких.

Это отразилось и в письмах. Петр Андреевич Вяземский писал Жуковскому:

Ограниченное число *заговорщиков* ничего не доказывает, *единомышленников много*... Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы

в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры...»

2

Писал Жуковский в это время мало. О его настроениях свидетельствует стихотворение «Был у меня товарищ»:

Был у меня товарищ,
Уж прямо брат родной.
Ударили тревогу,
С ним дружным шагом, в ногу
Пошли мы в жаркий бой.

Вдруг свистнула картеча...
Кого из нас двоих?
Меня промчалось мимо;
А он... лежит, родимый,
В крови у ног моих.

Пожать мне хочет руку...
Нельзя, кладу заряд.
В той жизни, друг, сочтемся,
И там, когда сойдемся,
Ты будь мне верный брат.

В прижизненных изданиях сочинений Жуковского и в журналах это стихотворение не публиковалось. Видимо, считали, что оно навеяно кровавыми событиями 1826 года: казнью декабристов 13 (25) июля.

3

В этот мрачный год царь предложил Жуковскому руководить учебной частью воспитания своего восьмилетнего сына великого князя Александра Николаевича.

Василий Андреевич долго не мог решиться, что делать. Он опасался, что, будучи наставником, не сможет писать, как раньше. Но Жуковский думал, что сумеет воспитать для России идеального монарха. Это решило исход дела — он согласился.

Нет оснований не верить Жуковскому, что он колебался, не зная, принимать ли ему это предложение. Его правдивость не подлежит сомнению: за всю свою жизнь он ни разу не опускался до лжи и лицемерия.

Назначение Жуковского вызвало при дворе недовольство представителей именитых древних родов. Вспоминали о мудрости Екатерины Великой, назначившей воспитателем своих внуков Николая Ивановича Салтыкова, который хотя и был подлец из подлецов, но знатного роду.

Весьма возможно, что своим назначением Василий Андреевич обязан царице. Николай Первый испытывал к Жуковскому глубокую антипатию, а бывшая ученица была расположена к своему учителю. Во всяком случае, до тех пор, пока Василий Андреевич не написал ей известного письма о грубости наследника, она относилась к Жуковскому неплохо. Воспитатель наследника должен был составить план обучения царевича. Для этого ему было предложено ознакомиться с заграничными методами воспитания на родине царицы. Жуковского обрадовала возможность уехать в Германию, никогда еще он так не рвался из столицы, как весной 1826 года.

Одиннадцатого мая 1826 года Василий Андреевич простился с Карамзиным.

На следующий день Жуковский поднялся по трапу корабля, который следовал в Копенгаген.

4

В субботу, 22 мая, в дневнике Жуковского появилась восторженная запись:

«Прекрасная, веселая сторона, богатое растение. Веселые деревья. Замок и парк. Буковая прекрасная роща. Маленькие озера, торф. Предместья Копенгагена, окруженные прелестными аллеями. Деревья на улицах. Смешные солдаты... Hôtel d'Angleterre».

В датской столице Жуковский прожил неделю, затем отправился в Германию.

В Эмсе он занялся подборкой книг для библиотеки наследника. Это было хлопотливое дело: Василий Андреевич просматривал множество изданий, отбирая нужные книги, составлял каталоги, оплачивал счета, следил за упаковкой и пересылкой. Кроме того, работал над планом обучения царевича.

Жуковский составил много схем, диаграмм и таблиц. К этой работе он отнесся творчески. В его учебных пособиях встречаются определения, представляющие интерес и поныне. В «Таблице истории образованности, просвещения и литературы» в графе — начало XIX столетия он записал: «Слог приобретает два великие качества: точность и краски».

Составление учебных программ занимало много времени. Когда Петр Андреевич Вяземский, сотрудничавший в лучшем русском журнале того времени «Московском телеграфе», попросил Василия Андреевича прислать путевые очерки, Жуковский ответил: «Ты думаешь, что я теперь на свободе, что из чужих краев могу присылать тебе материалов для «Телеграфа». Я и здесь так же занят, как и в Петербурге, занят уроками детскими, таблицами, выписками, приготовлением к трудам петербургским. В это занятие не могу пустить никого постороннего, хотя бы и хотел. Не в моей натуре заниматься вместе двумя предметами. Я теперь пропал для литературы. Мне жаль моих веселых, вдохновенных, *беззаботных* поэтических работ. ... План, мною сделанный, обнимает слишком много и требует слишком многих приготовлений, чтобы оставить мне досуг для другой работы. Но я досугом пользоваться не способен. Не могу быть поэтом на досуге. Могу им быть только вполне, то есть посвятив себя исключительно музам».

В Эмсе Василий Андреевич узнал из газет о смерти Николая Михайловича Карамзина. В некрологе говорилось об огромных заслугах Карамзина — писателя, переводчика, преобразователя русского языка, историка. Жуковский искренне любил своего учителя, горе его было велико. Жуковский писал:

Лежит венец на мраморе могилы;
Ей молится России верный сын;
И будит в нем для дел прекрасных силы
Святое имя — Карамзин.

Он не мог присутствовать на похоронах. Настроение у Василия Андреевича было подавленное.

«Кончив курс (лечения. — *М. Б.*) в Эмсе, объехал Рейн. Время было благоприятное: но я ездил полубольной и весьма не столько мог воспользоваться своим путешествием, как бы хотел. Надобно было, подобно Вральману; любоваться утесами и разрушенными замками с козел. А бродить по высотам и даже по ровным местам мешала слабость»,— сообщал Жуковский Ивану Ивановичу Козлову.

Зиму Жуковский провел в Германии.

В Баден-Бадене Василий Андреевич посетил монастырь, присутствовал на вечерней молитве монахинь.

Запись в дневнике от 4 (16) мая 1826 года: «Монастырская жизнь может быть сносна только при страсти; воспоминания

и борьба вместо жизни. Для спокойной, чувствительной души она нестерпима».

В мае Жуковский приехал в Париж. Сюда Александр Иванович Тургенев привез своего больного младшего брата Сергея, чтобы показать его французским врачам.

Сергей Иванович Тургенев, дипломат и литератор, после событий 14 декабря заболел. У него было психическое расстройство. Болезнь протекала исключительно тяжело, не поддавалась лечению, и 1 июня 1827 года Сергей Иванович Тургенев умер на руках брата Александра и Василия Андреевича. Ему было тридцать пять лет. Друзья боялись писать Николаю Ивановичу Тургеневу о смерти брата. К счастью, нашлась добрая знакомая, Генриетта Разумовская, которая взялась съездить в Лондон, где в это время находился декабрист Тургенев, и подготовить его к печальному известию. Николай Иванович Тургенев не мог вернуться на родину: в России он был объявлен государственным преступником.

Следствием было установлено, что Тургенев являлся одним из руководителей движения декабристов, он обосновал научные предпосылки их требований: связал необходимость переустройства общества с экономической наукой.

Еще за семь лет до восстания Николай Тургенев выпустил книгу, в которой писал об освобождении крестьян. Эта книга («Опыт теории налогов») имела очень большое значение; в начале прошлого века другого такого труда в России не существовало.

Тургенев был выразителем передовых экономических взглядов декабристов, и наказание ему было положено — смертная казнь. Однако в момент восстания он был за границей, поэтому приговорен был заочно. Казнили, как известно, только пятерых; остальным, приговоренным к смертной казни, ее заменили вечной каторгой; и целых тридцать лет, пока был жив Николай Первый, Николаю Ивановичу Тургеневу нельзя было вернуться в Россию. Он тосковал о родине, и Александр, страстно любивший брата, постоянно ездил к нему. Александр Иванович познакомился с лучшими писателями Европы, знал многих историков, и время, прожитое за границей, отмечено его работой в архивах Парижа, Лондона и Рима. Он собирал материалы по истории России.

Как ни кратковременно было пребывание Жуковского в Париже, он сумел многое увидеть в столице Франции и даже успел подружиться с историком Франсуа Гизо и естествоиспытателем Жоржем Кювье.

Чаще всего Василий Андреевич встречался с писателем Франсуа Рене Шатобрианом. Его интересовала современная французская литература.

Здесь, в писательских кругах Парижа, до Жуковского дошли запоздалые вести о том, что Байрон незадолго до своей смерти восторженно назвал его, Жуковского, Северным соловьем.

После смерти младшего брата Александр Иванович Тургенев впал в отчаяние. Жуковский боялся за друга, все доказывал, что необходимо,— ради Николая, которому он так нужен! — взять себя в руки, необходимо жить, а если предаваться отчаянию, то сердце не выдержит... Жуковский еще месяц пробыл с Александром Ивановичем Тургеневым в Париже, а потом снова уехал в Эмс, на воды.

Третьего сентября 1827 года вместе со своим другом художником Герхардом Рейтерном Жуковский приехал в Веймар к Гете. Здесь они оставались три дня, ежедневно навещая Гете и подолгу с ним беседуя.

Гете был любезен и общителен, много говорил об искусстве и был очень рад, что русские гости решили задержаться в Веймаре на три дня.

— Я так распорядился своим временем, что для друзей его у меня хватает,— сказал Гете Жуковскому.

Гете осуждал крайнюю субъективность в стихах современных ему поэтов.

— Не следует так трагически изображать прошедшее вместо того, чтобы признать настоящее и наслаждаться им.

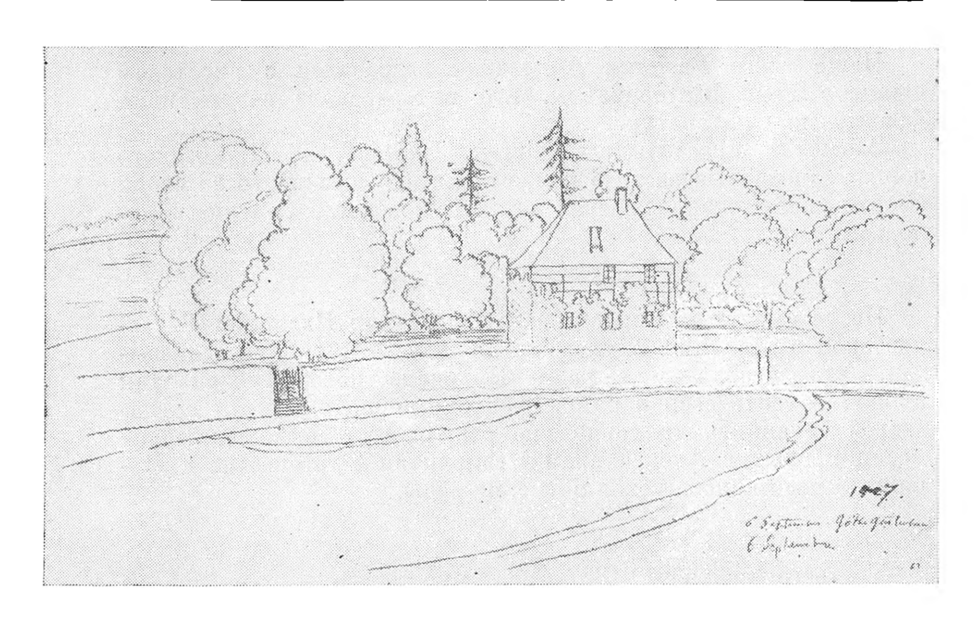
— Как же изображать прошедшее? — спросил Жуковский.

— Так, как оно изображается в римских элегиях. Люди не умеют оживить, оценить настоящего, поэтому они вожделеют будущего и кокетничают с прошлым.

На рассвете в день отъезда из Веймара Жуковский написал стихотворение, которое попросил передать Гете.

К ГЕТЕ

Творец великих вдохновений!
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей!



Дом Гете.
Рис. В. А. Жуковского (1827 г.).

Твое вечернее сиянье
Не о закате говорит!
Ты юноша среди созданья!
Твой гений, как творил, творит.

Почто судьба мне запретила
Тебя узреть в моей весне?
Тогда душа бы воспалила
Свой пламень на твоем огне.

Тогда б вокруг меня создался
Иной, чудесно-пышный свет;
Тогда б и обо мне остался
В потомстве слух: он был поэт!

Жуковский зарисовал на память двухэтажный, увитый плющом, дом и сад Гете.

Зиму Жуковский прожил в Германии, много работал в библиотеках, составлял учебные программы. Посещал концерты и театры, часто бывал в картинных галереях. Василий Андреевич вел обширную переписку. Письмами Жуковского

интересовалось Третье отделение, это приводило Василия Андреевича в негодование, и он разразился посланием, рассчитанным на тех, кто изучал его переписку. Кстати, он метил не в мелкого чиновника, который снимал с конвертов печати, а куда выше: это прямое обращение к правительству, причем весьма смелое, особенно если взглянуть на дату: 4 (17) декабря 1827 года: «Удивительное дело! Ты только 12 ноября получил первое письмо мое. Итак, ты не получил многих. Не понимаю, что делается с письмами. Их читают, это само по себе разумеется. Но те, которые их читают, должны бы по крайней мере исполнять с некоторою честностию плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что если уже позволено им заглядывать в чужие тайны, то никак не позволено над ними ругаться и что письма, хотя читанные, доставлять должно. Вот следствие этого проклятого шпионства, которое ни к чему вести не может. Доверенность публичная нарушена; то, за что в Англии казнят, в остальной Европе делается правительствами. А те, которые исполняют подобные законные беззакония, на них не останавливаются, пренебрегают прочитанными письмами и часто оттого, что печать худо распечаталась, уничтожают важное письмо, от которого часто зависит судьба частного человека. И хотя была бы какая-нибудь выгода от такой непраственности, обращенной в правило! Что могут узнать теперь из писем? Кто вверит себя почте? Что ж выиграли, разрушив святыню — веру и уважение правительству? — Это бесит! Как же хотеть уважения к законам в частных людях, когда правительства все беззаконное себе позволяют? Я уверен, что самый верный хранитель общественного порядка есть не полиция, не шпионство, а нравственность правительства. В той семье не будет беспорядка, где поведение родителей образец нравственности; то же можно сказать и о правительствах и народах». Далее по-французски: «Искренний и великодушный образ действия — признак и в то же время гарантия могущества. Меры, предпринимаемые для сохранения спокойствия, чаще всего бывают подлинной причиной народных волнений; вместо того чтобы умиротворять, они возбуждают беспокойство».

В сентябре 1827 года Жуковский вернулся на родину. Путешествие пошло ему на пользу. В Петербурге все живо напомнило о декабристах, их женах и родных. И пройдет еще много времени, прежде чем к Жуковскому вернется его прежняя работоспособность или, как он говорил, его муза.

5

Внезапно кончилась многолетняя ссылка Пушкина: он был вызван в Москву.

Осенью 1827 года Пушкин приехал в столицу. Велика была радость встречи с Жуковским: они не виделись семь лет. Добрые черные глаза Василия Андреевича наполнились слезами, и он долго на выпускал из объятий своего друга.

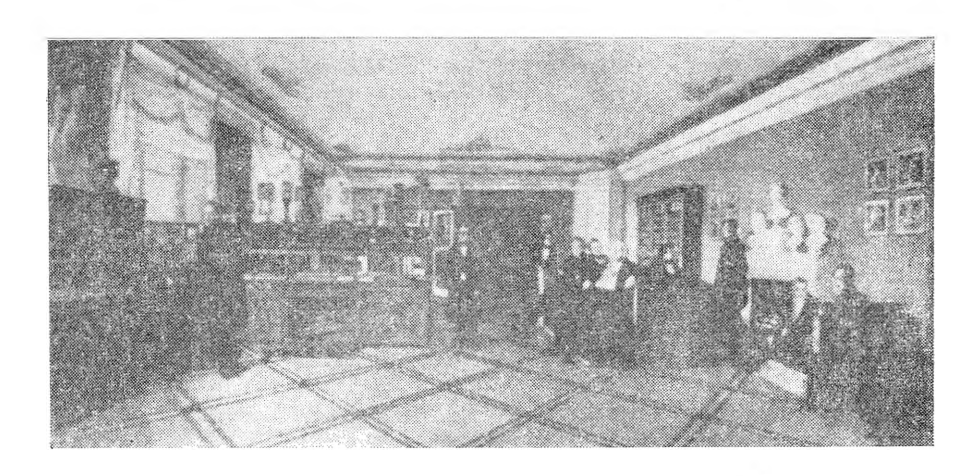
«Я тебе ничего не сказал о Пушкине,— сообщал Жуковский в письме Александру Ивановичу Тургеневу 27 ноября 1827 года из Петербурга.— Он давно здесь. Написал много. Третья часть «Онегина» вышла. Доставлю ее тебе... у Пушкина готовы и 4, 5 и 6 книги «Онегина». «Годунов» превосходное творение; много глубокости и знания человеческого сердца. Где оп все это берет? Но боюсь, чтобы легкость писать не обратилась в небрежность».

6

Жуковскому предоставили комнаты в Зимнем дворце, в так называемом Шепелевском доме. Квартира была весьма неудобная: находилась под самой крышей. В дневнике Жуковского есть такая запись: «Нынче просил, чтобы переменили мне комнату. Я в лихорадке, комната сыра, и есть близ меня порожняя, которую готовят для какого-то прусского генерала на одну ночь. Ответ получил истинно русский: нельзя, эта комната фельдмаршальская...»

Кабинет Жуковского был огромен, но низок, и вначале Василий Андреевич не знал, как его можно обставить. В конце концов он нашел решение. Длинное помещение перегородила изящная конторка красного дерева; несколько книжных шкафов вместили большую библиотеку; посреди стены, находящейся напротив окон, на каминной доске были поставлены беломраморные бюсты. Мрамор словно излучал свет. По обе стороны камина стояли удобные кожаные диваны, а над ними в два ряда были повешаны картины: по четыре с каждой стороны. Произведения искусства в собрании Жуковского и сами по себе представляли большую ценность, а размещение их свидетельствовало о вкусе хозяина.

После сорока лет Жуковский несколько располпел, и ему все труднее было подниматься в свои комнаты. Уж больно кру-



Кабинет Жуковского. Группа художников: Г. К. Михайлов, А. Н. Мокрицкий и другие ученики А. Г. Веницианова (1836 г.).

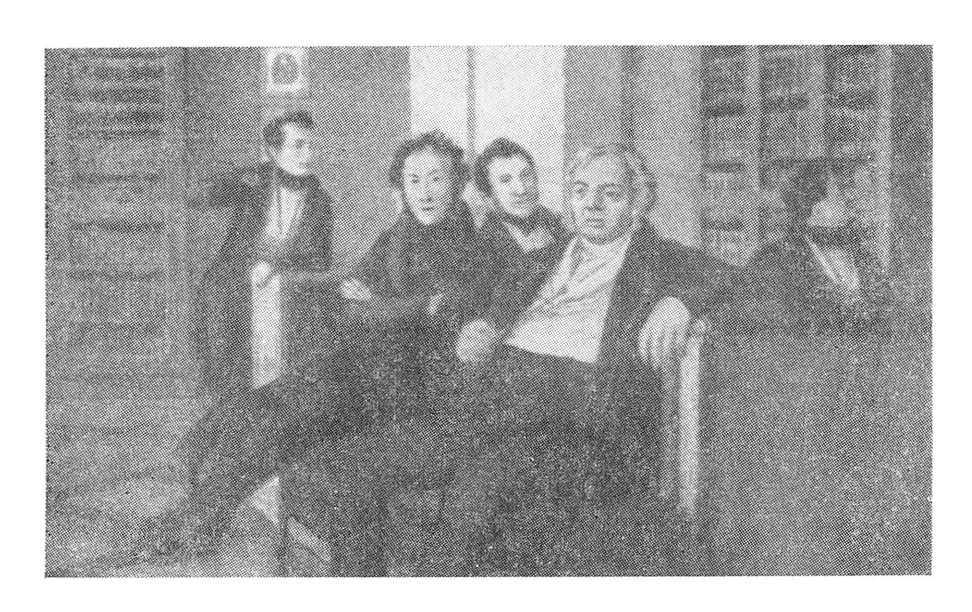
тая лестница, да и высоко — семьдесят ступенек! Для человека, страдающего одышкой,— преодолеть их нелегко. Из-за этой лестницы Василий Андреевич часто лишал себя столь необходимых ему прогулок: как вспомнит, что потом подниматься, так и остается дома. Все это плохо сказывалось на его здоровье, он понимал, как это вредно, а сделать ничего не мог...

— Жаль, что мы живем так высоко,— вздыхал Жуковский.— Мы чердашничаем.

Зимние поздние рассветы Жуковский встречал за своим столом. Вставал затемно, при свечах, и до завтрака успевал поработать. За окном — непроглядная тьма. Нигде ни огонька. Город спит. Только светится окно поэта на верхнем этаже.

Уже давно прошли те времена, когда он заставлял себя вставать. Привычка писать с шести часов утра была у него так сильна, что он никогда не просыпал, и только болезнь могла изменить раз навсегда заведенный распорядок.

— Вдохновение — вещь хорошая,— говорил друзьям Жуковский,— да только часто приходится начинать работать, не дожидаясь, когда оно появится. А как начнешь, глядишь, оно тут как тут.



Кабинет Жуковского. Деталь.

7

Зимой Василий Андреевич приступил к служебным занятиям: началось обучение царевича. Расписание было составлено строгое: царское семейство не желало, чтобы их сын получил худшее образование, чем дети дворян, учившиеся в казенных учебных заведениях. Главное, считал Жуковский, нельзя давать ребенку никаких поблажек: если в лучших училищах учеников будили не позже шести часов утра, то и царскому сыну — хотел он этого или не хотел — придется подчиняться дисциплине.

6 часов утра — подъем;

7—9; 10—12; 1—3; 4—5 — занятия с учителями;

5—6 — чтение;

6—8 вечера — собственные занятия;

8—9 вечера — гимнастика;

9 часов вечера — отход ко сну.

Царевича заставляли вести дневник, по его записям можно проследить, как Жуковский с ним занимался.

1 генваря 1828 г.

Начал Новый год беседой с г. Павским.

Г. Жуковский подарил мне картину, представляющую отрочество Александра Невского. Желал бы следовать его примеру, тогда исполнилось бы сказанное мне г. Павским.

9 генваря, понедельник.

Поутру писал под диктовку у г. Жилля, он был мной доволен. Г. Жуковский дал мне первый урок, мы в нем прошли вкратце, что мы учили. Он меня спрашивал для чего нас бог сотворил, в какой возраст я теперь взошел, для чего я должен учиться и т. д.

У Василия Андреевича не было претензий к Александру, наоборот, Жуковский был добр, и царевич понимал, что другие учителя в сравнение не идут с Жуковским.

11 генваря 1829 г.,
пятница

Поутру занимался географией и польским языком, потом проходил русскую грамматику. Я был невнимателен, и мне написали хорошо, а я заплакал, ибо не мог иметь отлично за всю неделю, но Василий Андреевич доставил мне случай загладить мою ошибку, и вечером я повторил то, что я поутру не знал, и загладил мою ошибку.

Но уже с первых месяцев преподавания Василия Андреевича мучило одно обстоятельство: редко проходил вечер, чтобы Николай Первый не играл с сыном в солдатики, причем это была не простая игра, а игра, сопровождаемая наставлениями.

Василий Андреевич старался казаться совершенно спокойным, он был уверен, что это ему удается, но лицо у него было такое огорченное, что Николай довольно быстро догадался, в чем дело. А догадавшись, находил особое удовольствие в том, чтобы немного его помучить: царь предлагал наставнику полюбоваться успехами ученика в «военных науках».

В Петербург приехал немецкий естествоиспытатель и путешественник Александр Гумбольдт. Поскольку это был ученый, известный всему миру, ему послали приглашение во дворец. Гумбольдт явился. Царицу Александру Федоровну он знал, еще когда она была принцессой Шарлоттой, поэтому намеревался

с ней поговорить. Однако после нескольких фраз царица умолкла: говорить с ней было не о чем...

Царское семейство село играть в карты. Гумбольдт в карты не играл, понаблюдав немного за играющими, он вышел побеседовать с немцами-камердинерами. Кто-то из фрейлин догадался сказать государыне, что ученый умирает со скуки.

— Вели послать за Жуковским, — ответила царица.

Василий Андреевич пришел, и положение было спасено. В уютном, великолепно освещенном зале, среди несмолкаемого шума голосов, немецкий ученый рассказывал русскому поэту о сравнительном методе исследования в географии. Выслушав ученого, Жуковский сказал:

— Вам бы следовало стать на место поэта и живописца и воссоздать картину, о которой вы говорили.

8

В ноябре 1829 года старинный приятель Жуковского Денис Васильевич Давыдов послал ему несколько своих стихотворений со следующей просьбой: «Взгляни на сии стихи, исправь их и пришли ко мне исправленные, как ты делывал в старину с моими поэтическими и прозаическими вздорами». На это последовал ответ:

Жуковский — Давыдову

1829, 10 декабря (Петербург)

Давыдов, пламенный боец, благодарю тебя за твои поэтические и прозаические строки. Очень было мне весело получить от тебя теперь весточку и видеть, что ты, несмотря на возню около тебя четырех крикунов, все-таки по-старому беседуешь со своею милою музою. Милою — это ее имя. В своей поэтической небрежности — она привлекательное создание. Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил стихи твои. Все равно, когда бы ты сказал мне: поправь (по правилам малярного искусства) улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и пр. и пр. Нет, голубчик, не проведешь. Я и не поправлю и не возвращу тебе стихов твоих. Не отдать ли их в «Северные цветы», то есть три первых; эпитафии не пропустят. Уведомь, а я обнимаю тебя душевно. Писать же много не о чем, да я и не охотник, а люблю тебя охотно. У нас скоро будет Вяземский.

Твой *Жуковский.*

Дениса Давыдова Жуковский знал с юношеских лет и был к нему искренне привязан. Они поддерживали дружбу и, несмотря на вечную занятость, постоянно переписывались. Посылая Давыдову журнал «Für Wenige. Для немногих», который Жуковский издавал в столице, Василий Андреевич писал:

Мой друг, усастый воин,
Вот рукопись твоя;
Промедлил, правда, я,
Но, право, я достоин,
Чтоб ты меня простил!
. . . .

9

Жуковский сдержал слово, данное Александру Ивановичу Тургеневу: он не упускал случая просить царя о помиловании Николая Ивановича Тургенева. Поняв, что помилования не будет, Жуковский стал просить о дозволении Николаю Тургеневу жить на континенте, ибо сырой климат Англии, приютившей изгнанника, действовал на него губительно. Это разрешение означало бы уже полупрощение, и Василию Андреевичу очень хотелось получить его. Жуковский написал Николаю Первому. На следующий день получил ответ через царицу.

— Император не может ничего сделать для Тургенева, — сказала Александра Федоровна Жуковскому. — Но если он невинен, то пусть приедет и положится на великодушие императора, он сумеет оказать ему справедливость.

Затем она прибавила фразу, от которой у Жуковского перехватило дыхание:

— Но ему не следует рисковать ехать теперь, он мог бы быть арестован! Пусть он приедет весною морем, тогда он будет иметь возможность явиться прямо к императору.

Сообщив содержание этого разговора Александру Тургеневу, Василий Андреевич подчеркивает, что он не дает никакого совета своим друзьям, но пишет фразу, которая проясняет истинный смысл царского предложения: государь дает Николаю Тургеневу надежду быть судимым и ставит его в то положение, в котором он был до приговора.

Василий Андреевич отнес свое письмо в кабинет царя 24 января 1830 года, предложение прибыть морем в Петербург, выраженное со столь типичной для царя хитростью, Василий Андреевич услышал на следующий день, но задолго до разговора с царицей ходили слухи, что Николай Тургенев схвачен в Ан-

глии и морским путем доставлен на родину. Есть основание полагать, что царь действительно имел такой план, а его «предостережение» — ловушка.

О том, что слухи эти распространились еще до ходатайства Жуковского, свидетельствует Пушкин. Он получил стихотворение Вяземского «Море», в котором автор, убитый горестным известием о казни декабристов, клянет землю, на которой совершилась постыдная казнь, и противопоставляет ей море:

. . . . вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной!

Четырнадцатого августа 1826 года Пушкин ответил Вяземскому:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

«Правда ли, что Николая Тургенева привезли на корабле в Петербург?» — спрашивает Пушкин Вяземского.

Хлопоты Жуковского привели к тому, что его самого обвинили в неблагонадежности: говорили, что он стоит во главе враждебной правительству партии. Разумеется, это утверждение сразу довели до сведения государя. Надо было доказать Николаю Первому, что это клевета, и Василий Андреевич снова обратился к нему с письмом.

— Что это ты написал ко мне? — спросил Николай во время аудиенции. — Слушай! Знаешь пословицу: скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты. Ее можно применить к тебе. Несмотря на то, что я тебе говорил, что против Тургенева существуют доказательства, ты беспрестанно за него вступался и не только мне, но и всем говорил, что считаешь его невиновным.

— Да. Я ведь знал его прежде, я знаю о нем то, чего правительство не знает.

— Слушай! Ты навлек на себя нарекания. Тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством.

— Да кто называет? Я никого не знаю и знать не хочу, живу у себя, делаю свое дело и ни о чем постороннем не забочусь.

— Нет, ты должен об этом заботиться. Ты при моем сыне. Как же тебе слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступление.

Царь встал. Аудиенция была закончена.

Этот разговор послужил препятствием для одного из самых замечательных дел, задуманных Жуковским: он наметил проект амнистии для заключенных, каторжан и ссыльных — всех, кто был осужден за участие в бунте на Сенатской площади и за участие в тайных обществах. Мотивировки Жуковского продуманны и обоснованны: «Перемените их участь теперь, пока они еще в силах жизни, пока еще могут быть людьми для блага будущих времен...».

Однако, хотя Жуковский и не подал царю этого письма, он его сохранил. Через несколько лет он еще вернется к этому вопросу, отправит письмо царю и, что самое невероятное, добьется некоторого улучшения условий жизни декабристов.

10

Давнишняя знакомая Жуковского Надежда Николаевна Шереметева обратилась к Василию Андреевичу с просьбой помочь ее восемнадцатилетней дочери, которая была замужем за «государственным преступником» Якушкиным, уехать к мужу в Сибирь. Анастасия Васильевна Якушкина имела двух детей — двухлетнего сына и пятимесячного грудного ребенка, она не могла вынести разлуки с мужем и была в отчаянии.

Василий Андреевич 22 января 1828 года обратился с письменной просьбой к князю Голицыну: «Имею честь представить Вашему сиятельству письмо, недавно мною полученное... Оно писано тещей несчастного Якушкина, которая желает знать, может ли дочь ее вместе с детьми поехать к мужу, изгнаннику». И уже 3 февраля Жуковский получил уведомление, что государь разрешил Якушкиной ехать к мужу. Из-за болезни детей эта поездка была отложена, а потом полицейские власти отказали Анастасии Васильевне: «...но как сим дозволением вы в свое время не воспользовались, то и не можите ныне оного

получить», — сообщил Якушкиной Бенкендорф. В это время Жуковский был за границей, помочь не мог; что же касается генерала Бенкендорфа, то этот человек, как истинный чиновник, был убежден, что во всяком деле лучше отказать, нежели разрешить. Это было одно из непреложных правил его деятельности, неписаный закон полицейской службы.

«СУББОТЫ»

> Общество без литературы так же существовать не может, как человек без языка... а у нас существует какое-то предубеждение вообще против всякой литературной деятельности...
>
> *В. А. Жуковский. Из письма*

1

По субботам в Шепелевском доме собирались друзья Жуковского. На этих «субботах», как в каждом литературном клубе,— а его собрания в известном смысле были клубом, — бывали лучшие столичные и московские писатели, когда им случалось приезжать в Петербург. Кружок Жуковского был в авангарде литературной жизни России, члены этого кружка считали для себя делом чести помогать молодым литераторам. Вот как вспоминает Николай Васильевич Гоголь свой первый визит к Жуковскому.

«Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства. Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что, прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало *главным и первым* в моей жизни, а все прочее *вторым.* Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба» (10 января 1848).

Кружок Жуковского вел борьбу с реакционно настроенными писателями.

— Булгарин мнит себя гигантом мысли, а между тем мышление его примитивно и не поднимается выше уровня платного агента Третьего отделения,— сказал однажды Крылов.

— Он всех поучает на страницах своей газеты и преподает нам и теорию стихосложения и историю искусств, — подхватил Плетнев.

— У нас в Твери на рынке был дурачок, — с улыбкой сказал Крылов,— и надо вам сказать, отменный плут. Так вот, стоило ему стянуть у булочника калач или у торговки пятак, как он сразу начинал всех уверять, что он не вор, а честный человек.

И, серьезно взглянув на слушателей, Крылов продолжал:

— Никак не возьму в толк, с чего бы это Булгарину понадобилось уверять нас, что он честный человек?

Это было сказано с таким искренним недоумением, что все расхохотались.

Крылов направился к письменному столу хозяина и начал рыться в бумагах.

— Что вам надобно, Иван Андреевич? — смеясь, спросил у Крылова Жуковский.

— Да вот, хотел было закурить, — Крылов показал свою трубку. — У себя дома я рву для этого первый попавшийся мне под руку лист, а здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если его разорвешь, отвечай потом перед потомством.

«Крылов сознавал в Жуковском талант независимый и энергический. Он постоянно сохранял к нему в душе чувство братства и дружбы. Шутя и любезничая с ним, Крылов был особенно приятен», — записал очевидец этой сцены.

Крылов был на четырнадцать лет старше Жуковского, но у них было много общего. Ивана Андреевича не так-то легко было вытащить из дома, а к Жуковскому он любил ходить.

Однажды в кабинете Жуковского появился высокий, красный от смущения юноша. От волнения он не мог выговорить ни слова. Василий Андреевич оторвал взгляд от бумаг и понял все. Он подошел к молодому человеку, взял у него из рук красивую вышитую подушку, которую тот неловко держал перед собой, и принялся расспрашивать гостя, кто он и от кого принес подарок.

Это был Иван Сергеевич Тургенев, мать которого, Варвара Петровна, в девичестве была знакома с Василием Андреевичем. Быть может, Жуковский помнит, что он однажды исполнил



*Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич в Летнем саду.
С картины Г. Чернецова (1832 г.).*

роль волшебника в любительском спектакле в доме Лутовиновых в Мценском уезде? Лутовинова — девичья фамилия матери Ивана Сергеевича. Чтобы напомнить о себе поэту, она прислала ему вышитую ею подушку.

Юноша рассказывал сбивчиво, нервничал, он не мог преодолеть смущения. Но, придя домой, он «с особенным чувством припоминал его (Жуковского.— *М. Б.*) улыбку, ласковый звук его голоса, его медленные и приятные движения». Молодой Тургенев оставил словесный портрет Жуковского, едва ли не лучший из всех существующих описаний наружности поэта: «Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя, ...тихая благость светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета. Полувосточное происхождение его ...сказывалось во всем его облике».

* * *

Жуковский и Пушкин ввели Гоголя в свой кружок. Жуковский следил за тем, что читал двадцатидвухлетний Гоголь.

— Что вы думаете о Фаусте? О Вильгельме Мейстере? — спросил он однажды, когда Гоголь принес ему книги, которые брал читать.

— Я совершенно поражен гением Гете, — ответил Гоголь,— Шиллер, с которым я довольно хорошо знаком, кажется мне теперь совсем другим. Я сделал извлечения из этих книг.

— Можете оставить их себе. Не благодарите, у меня их несколько изданий. Да, Шиллер великий поэт, но Гете и великий мыслитель.

2

Жуковский любил музыку. Композиторов и музыкантов встречал не менее радушно, чем писателей.

Михаил Иванович Глинка рассказывал, что в молодости, когда он писал музыку к стихотворениям Жуковского «Певец» и «Утешение», он был растроган до слез.

Самые известные русские композиторы: Алябьев, Верстовский, Рубинштейн, Даргомыжский, Аренский, Кюи, Варламов, Чайковский, Рахманинов постоянно обращались к творчеству Жуковского.

Случалось, одно стихотворение перекладывали на музыку несколько раз, например, «Цветок»:

Минутная краса полей,
Цветок увядший, одинокий,
Лишен ты прелести своей
Рукою осени жестокой.

Увы, нам тот же дан удел,
. . . .

Есть три романса на эти стихи Жуковского: Алябьева, Варламова и Рубинштейна.

Крупные произведения Жуковского легли в основу опер. В Большом театре состоялись премьеры оперы Кавоса «Светлана» и оперы Аренского «Наль и Дамаянти»; в Москве были впервые поставлены две оперы Верстовского: «Вадим» и «Громобой»; в Петербурге шли оперы Чайковского «Орлеанская дева» и его же «Ундина».

Известный дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы» Чайковского «Уж вечер, облаков померкнули края» написан на стихи Жуковского.

Когда Егор Федорович Розен писал либретто «Ивана Сусанина» (первоначально опера Глинки носила название «Жизнь за царя»), Василий Андреевич принимал деятельное участие в разработке сюжета. Им написана последняя сцена оперы, а также ария Вани («Ах, не мне, бедному сиротинушке»).

Сохранилась записка Жуковского Пушкину о творческих замыслах Глинки. Записка относится к тому времени, когда Глинка задумал свою первую оперу:

«У меня будут нынче ввечеру, часов в десять, Глинка, Одоевский и Розен для некоторого совещания. Ты тут необходим. Приходи, прошу тебя. Приходи непременно. А завтра (в субботу) жду тебя также непременно к себе часу во втором поутру. У меня будет живописец, и ты должен с полчаса посидеть под пыткою его животворной кисти. На оба запроса прошу ответить: ДА.

Жуковский».

3

Друзья встречались у Вяземских, Карамзиных, Мещерских, Строгановых, Одоевских, Россет. Фрейлина царицы Александра Осиповна Россет была в приятельских отношениях с лучши-

ми писателями своего времени. Она была умна, смела, правдива, хороша собой, умела подмечать смешные черточки и была великолепная рассказчица. Жуковский называл ее — небесный дьяволенок, Пушкин — придворных витязей гроза, Гоголь превозносил ее до небес, долгие годы состоял с ней в переписке и высоко ценил ее наблюдательность.

Петр Андреевич Вяземский посвятил ей стихотворение «Черные очи», которое дает представление о пленительном облике северной девы:

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На небе хладном бледной полночи?

Юга созвездье! Сердце звенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.

Тайным восторгом сердце объято,
В вашем сгорая огне;
Звуков Петрарки, песней Торквато
Ищешь в немой глубине.

Тщетны порывы! Глухи напевы!
В сердце нет песней, увы!
Южные очи северной девы,
Нежных и страстных, как вы.

Александре Осиповне писали стихи многие поэты: от Жуковского до Лермонтова (первый — в шутливом тоне своими любимыми, неудобочитаемыми гекзаметрами, а второй, — он был на пять лет моложе ее, — с блеском и изяществом, с иронией по отношению к самому себе, с великолепной концовкой, которая вошла в поговорку: «Все это было бы смешно, // Когда бы не было так грустно»).

Пушкин однажды бросил ей в альбом десять строк, которые обессмертили ее имя и довершили портрет:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.



А. О. Смирнова-Россет.
С портрета П. И. Соколова.

Пламенное признание вырвалось у безнадежно влюбленного в Александру Россет Хомякова: «О дева-роза! для чего// Мне грудь волнуешь ты// Порывной бурею страстей,// Желанья и мечты?// Спусти на свой блестящий взор// Ресницы длинной тень: // Твои глаза огнем горят, // Томят, как летний день,// Нет, взор открой! Отрадней мне// От зноя изны-

вать,// Чем знать, что в небе солнце есть,// И солнца не видать!» А Туманский посвятил ее глазам строчки, которые стали народной песней:

Любил я очи голубые,
Теперь влюбился в черные,—
Те были нежные такие,
А эти непокорные.
. . . .
На тех порой сверкали слезы,
Любви немые жалобы,—
А тут не слезы, а угрозы,
А то и слез не стало бы.
Те укрощали жизни волны,
Светили мирным счастьем,—
А эти бурных молний полны
И дышат самовластием.
Но увлекательно, как младость,
Их юное могущество.
О, я б за них дал славу, радость
И все души имущество!

Эту женщину Василий Андреевич полюбил глубоко и нежно. Жуковский долго пребывал в нерешительности, скрывая свои чувства под личиной дружбы, и, разумеется, ничего хорошего из этого не вышло.

— Правда ли, что Жуковский сделал вам предложение, и вы ему отказали? — спросил Пушкин Александру Осиповну.

— Что ж, это совершенная правда, у меня была такая сильная, братская дружба к Жуковскому, что мне было бы невозможно выйти за него замуж.

— Причина отличная и крайне важная, — грустно улыбнулся Пушкин.— Дружбу зовут любовью без крыльев. Отсюда не следует, что всякая любовь должна улететь, но она реет над землей. Любовь еще может превратиться в дружбу, но дружба не превращается в любовь, по крайней мере таково мое мнение. Любовь — симпатия особого рода и часто без видимой причины. Дружба вызвана причиной, которую можно анализировать. Жуковский говорил мне, что со времени вашего отказа вы стали еще бóльшими друзьями, это делает честь вам обоим.

Александра Осиповна Россет встречалась с Жуковским и его друзьями много лет. Ее всегда поражало, с какой нежностью смотрел Василий Андреевич на своего любимца Пушкина, как гордился им и любовался. Однажды, когда Пушкин прочел свое

новое стихотворение, Жуковский в восторге поцеловал его и воскликнул:

— Ты, ты — мое неоцененное сокровище!

Россет обладала талантом дружбы. Особенно это ей удавалось с теми, кто был в нее влюблен. Как к старому другу обращалась она за помощью к Жуковскому. Александра Осиповна хранила записку Жуковского:

И я веселой жизнью жил,
Мечтал и о мечтах стихами
Довольно складно говорил!..
Зачем же не в то время с вами
Мне рок знакомым быть сулил!
В свои магические сети
Меня схватила бы Россети!
И муза б ожила моя!
О, как бы разбренчался я
На лире, счастливый невольник!
Но молодость, увы! прошла,
И я теперь в любви раскольник!
Россети страшно как мила...
А я не потерял свободы!
И вместо пламенные оды
На блеск живых ее очей,
Без всяких нежных комплиментов,
Даю, как добрый, без процентов
Взаймы ей тысячу рублей.

Многие поэты были влюблены в красавицу фрейлину, а она вышла замуж за богатого помещика Николая Михайловича Смирнова.

Пушкин, Жуковский, Гоголь и Вяземский оставались ее близкими друзьями, и салон Россет-Смирновой был одним из лучших литературных салонов столицы. Муж Александры Осиповны неплохо разбирался в людях. Его характеристики отличаются удивительной точностью. О Василии Андреевиче он писал: «Жуковский, можно сказать, имеет девственную душу. Он всегда спокоен и на вид кажется угрюм, когда же развеселится, смеется du vive d'un bvave homme[7]. Кто его один раз увидит, уверится по одному его лицу в спокойной, доброй и чувствительной душе. Я никогда не видел его в гневе или в пылу какой-нибудь страсти, никогда не слыхал его даже говорящим скоро или отрывисто, в самых даже спорах. Тронутый иногда обращением холодным двора, он никогда не жалуется...»

Жуковского и в самом деле при дворе не жаловали. Он так и остался здесь чужим: его назойливая честность раздражала придворных.

В политических салонах Кочубея и Нессельроде, тех соперничающих между собой великосветских салонах, которые посещало царское семейство, Василия Андреевича Жуковского с некоторым пренебрежением называли «сочинителем».

Как истинный поэт, Жуковский беспечно относился к деньгам. Он их раздавал, как только они у него появлялись.

Крупные суммы — родственникам и пишущей братии, а мелкие — всякому бедному люду, что с утра толпился у него на лестнице.

4

Николай Первый был осведомлен о настроениях, царивших в кружке ближайших друзей Жуковского, и часто повторял, что за ними нужен глаз да глаз. Василий Андреевич иногда поражался: царь знал решительно все.

Первого марта 1830 года из Москвы в Петербург приехал Вяземский. Дней через десять Пушкин уехал из Петербурга в Москву. Встретив Жуковского у императрицы, царь спросил:

— Пушкин уехал в Москву. Зачем это?

Жуковский растерялся.

— Не знаю, ваше высочество, — ответил он, не зная, что вызвало недовольство Николая.

Царь внимательно посмотрел на Жуковского, убедился, что тот действительно ничего не знает, и пожал плечами.

— Один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал, — проговорил Николай с нескрываемым раздражением.

При первой же встрече с Вяземским Жуковский передал ему разговор с царем. Не преминул рассказать, как недоволен был государь и с каким недоумением смотрел на него. Вяземский хохотал весь вечер. Только немного успокоится, потом вспомнит и уставится на Жуковского вытаращенными глазами — точь-в-точь Николай Павлович.

Царь Вяземского терпеть не мог, и не без причины.

Со дня, когда Вяземский подал на высочайшее имя прошение о сложении с него звания камер-юнкера, вплоть до весны 1828 года, то есть целых восемь лет, князь жил вдали от двора. Он был под тайным надзором полиции, его литературные занятия вызывали недовольство. Порой в письмах к друзьям Петр Андреевич изливал свою душу. Эти письма, резкие и смелые, отточенные как памфлеты, читались на встречах арзамасской братии.

Петру Вяземскому было девятнадцать лет, когда он женился на княжне Вере Гагариной. Брак этот оказался на редкость счастливым. Но после женитьбы Петр Андреевич Вяземский испытывал большие денежные затруднения. Они и вынудили князя Вяземского вернуться на государственную службу. Для этого ему пришлось обратиться к царю с пространной запиской, в которой князь объяснял мотивы, заставившие его в свое время подать в отставку.

Это интересный документ. Вяземский во всем обвинял Александра Первого, который вначале увлек его, Вяземского, своими либеральными настроениями, а затем, после Троппауского конгресса в октябре 1820 года, отрекся от своих прежних мыслей и резко изменил политику. С ним вместе изменили свои убеждения его приближенные, а Вяземский, не пожелавший этого делать, стал приверженцем опального мнения. В этом, писал Вяземский, и заключалась вина. Но это еще не все. В своей записке князь дерзнул открыто заявить Николаю, что в частных письмах он часто прибегал к животрепещущим выражениям, чтобы правительство, которому никто не говорит то, что думает, могло познакомиться с независимым мнением из перехваченных писем. Он так и написал: перехваченных!

Николай Первый ничего не ответил Вяземскому, тем самым дав ему понять, что подобного объяснения он не приемлет. Князю пришлось написать еще одно письмо царю. В этом письме он очень сожалел, что своим предыдущим письмом навлек на себя гнев государя.

Однако царь не допустил его в министерство просвещения, где он хотел служить, а назначил чиновником особых поручений при министре финансов Канкрине, что уязвило Вяземского до глубины души. Единственным утешением для него были встречи с петербургскими друзьями, по которым он соскучился, живя в Москве и в Остафьево.

5

В 1831 году в России вспыхнула эпидемия холеры. На этот раз она дошла до столицы. В Петербурге холера так и косила жителей, начинались бунты.

Двор переехал в Царское Село.

Александр Сергеевич Пушкин, женившись, приехал на царскосельскую дачу со своей женой.

Это было благодатное для Жуковского лето: под влиянием Пушкина он много писал.

Живя по соседству, Жуковский и Пушкин часто встречались, затевали «состязания» по сочинению сказок. Николай Васильевич Гоголь, который в это лето жил в Петербурге, иногда наведываясь в Павловск и в Царское Село, с восхищением следил за столь необычным соревнованием. Александр Сергеевич Пушкин писал свою знаменитую «Сказку о царе Салтане», а Василий Андреевич Жуковский «Сказку о царе Берендее», «Войну мышей и лягушек» и «Спящую царевну».

Пушкинская сказка выше всех похвал, она знакома всем с детства.

Но сказки Жуковского тоже хороши.

Вот, например,

Сказка о царе Берендее,
о сыне его Иване-царевиче,
о хитростях Кощея бессмертного
и о премудрости Марьи-царевны,
Кощеевой дочери.

Василий Андреевич использовал данную ему Пушкиным запись, которую Александр Сергеевич сделал со слов своей няни, Арины Родионовны. Однако автор расширил пушкинский вариант. Он писал сказовым гекзаметром, будучи уверенным, что этот размер как нельзя более подходит для литературной обработки фольклора.

Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет...
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспрохнула на травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна...

Гораздо сложнее сюжет «Войны мышей и лягушек», следующей из трех сказок Жуковского, написанных в то лето, когда ему и Пушкину так легко писалось и так весело было читать друг другу свои сказки.

Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек.
Сказка ложь, а песня быль, говорят нам: но в этой
Сказке моей найдется и правда. Милости ж просим
Тех, кто охотник в досужный часок пошутить, посмеяться,
Сказки послушать; а тех, кто любит смотреть исподлобья,

Всякую шутку считая за грех, мы просим покорно
К нам не ходить и дома сидать да высиживать скуку.

Было прекрасное майское утро. Квакун двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный блестящей
Свитой придворных . . . .
Царь хохотал; от смеха придворная квакала свита
Вслед за его величеством; солнце взошло уж на полдень.
Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой шубке,
С тоненьким хвостиком, острым, как стрелка, на тоненьких ножках
Выскочил; следом за ним четыре таких же, но в шубах
Дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту.
. . . .
. . . . Но главное бедствие наше
Ныне в том, что губитель двуногий крепко сдружился
Нам ко вреду, с сибирским котом, Федотом Мурлыкой.
Кошачий род давно враждует с мышиным. Но этот
Хитрый котище Федот Мурлыка для нас наказанье
Божие . . . .

Как уже неоднократно отмечали исследователи творчества Жуковского, это исчадье ада в черновой рукописи автора носило имя Фаддея Мурлыки, время создания сказки — сентябрь 1831 года, то есть самый разгар борьбы писателей пушкинского круга с Фаддеем Булгариным. У современников Жуковского не могло возникнуть сомнения, что страшный котище Фаддей мог быть не Булгариным, а кем-то другим, однако Жуковский, отдавая сказку в журнал Киреевского «Европеец», заменил Фаддея Федотом, лишив ее тем самым сатирической окраски.

Через два дня после того, как была начата навеянная немецким средневековым писателем Ролленхагеном сказка «Война мышей и лягушек», Жуковский принялся за новое произведение — сказку «Спящая царевна». В основе ее лежат фольклорные мотивы, причем Жуковский пользовался как французским, так и немецким вариантами:

Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили — но назад
Не пришел никто. С тех пор
В неприступный страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.

Время ж все текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилося? В один
День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Все старик тут рассказал,
Что от дедов он слыхал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
. . . .

«Спящая царевна» Жуковского, так же как и большинство сказок Пушкина, написана четырехстопным ямбом, что приближает их к русскому народному творчеству: песенному стиху. Как ни хорош сказовый гекзаметр, изобретенный Жуковским, размер, избранный Пушкиным, оказался ближе русскому читателю.

«Жуковский написал пропасть хорошего и до сих пор все еще продолжает», — сообщил Пушкин Вяземскому в середине сентября 1831 года из Царского Села.

«Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут», — писал Гоголь своему приятелю Данилевскому 2 ноября 1831 года. А 1 января 1832 года восторженный Гоголь сообщил тому же адресату: «Читал ли ты новые «Баллады» Жуковского? Что за прелесть! Они вышли в двух частях вместе со старыми и стоят очень недорого: десять рублей».

«Баллады и повести В. А. Жуковского», изданные в Петербурге в 1831 году, содержат «Жалобу Цереры», «Поли-


БАЛАДЫ И ПОВѢСТИ

В. Ж.

Часть вторая.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1831.

Титульный лист «Баллад» Жуковского.

кратов перстень», «Кубок», впервые опубликованные в этом сборнике.

Снова гений жизни веет;
Возвратилася весна;
Холм на солнце зеленеет;
Лед разрушила волна;
Распустившийся дымится
Благовониями лес,
И безоблачен глядится
В воды зеркальны Зевес;
Все цветет — лишь мой единый
Не взойдет прекрасный цвет:
Прозерпины, Прозерпины
На земле моей уж нет.

Так грустно причитает бессмертная богиня плодородия Церера, дочь которой Прозерпина стала женой бога подземного царства Плутона и навеки разлучена с матерью.

Народная легенда XII века, которая легла в основу баллады Шиллера «Водолаз», ожила под пером Жуковского. Свое произведение он назвал «Кубок».

Жестокий властелин, бросающий в море золотой кубок; отважный красавец-паж, доставший его из морской бездны, снова — летящий в море кубок, и царевна, которая едва не лишилась чувств от страха за молодого пажа:

Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь и погибель он кинулся в волны...
Утихнула бездна.. и снова шумит...
И пеною снова полна...
И с трепетом в бездну царевна глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно:
А юноши нет и не будет уж вечно.

6

Природа наделила Василия Андреевича легким характером. Он любил проводить вечера в кругу друзей: охотно принимал приглашения и с радостью звал к себе.

Вот как описывает знаменитые «субботы» Жуковского поэт Владимир Бенедиктов:

...Помню я собрания
Под его гостеприимным кровом,—

Вечера субботние; рекою
Наплывали гости; и являлся
Он,— чернокудрявый, огнеокий,
Пламенный Онегина создатель,
И его веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе,
Быстродвижные черты его лица
Изменялись непрерывно; губы
И в молчанье, жизненным движеньем
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой злостью
Острие играющего слова
Оправлял он; но и этой злости
Было прямодушие основой,—
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожимой, язвимой...

(«Воспоминание»)

В середине тридцатых годов, когда Василию Андреевичу было уже больше пятидесяти, его «субботы» стали нерегулярны, постоянно кто-нибудь из ближайших друзей отсутствовал или же сам хозяин хворал; случалось, он надолго уезжал из столицы.

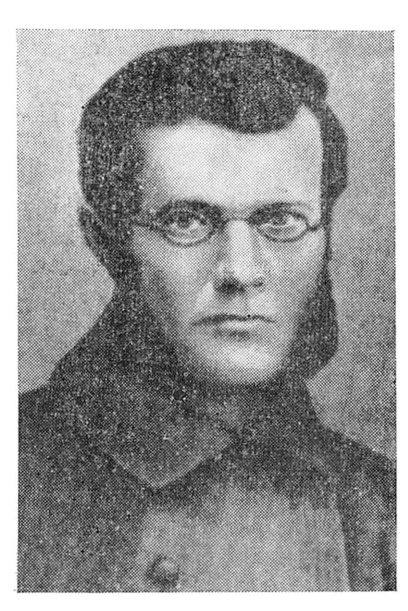
7

До Жуковского дошли слухи о скандале, разыгравшемся в Москве, в Университетском пансионе. Рассказывали, что его величество приехал в пансион один, без свиты, никого не предупредив заранее. Только что кончился урок, воспитанники носились по коридорам, Николай нигде не видел ничего подобного. Он вошел в актовый зал, его едва не сбили с ног. В довершение всего взгляд царя скользнул по беломраморной доске, на которой были выбиты имена лучших воспитанников Университетского пансиона. Бесстрастно пробежав глазами по длинному ряду строчек, царь остановился на фамилии государственного преступника. Да, начальство Университеского пансиона не потрудилось убрать это имя, и оно красовалось на самом видном месте:

ТУРГЕНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Николай Первый помрачнел. Он направился в один из ближайших классов. Воспитанники не обратили на него внимания, и только один из учащихся узнал царя. Он вскочил и громко произнес:

— Здравия желаю вашему величеству!


И. В. Киреевский.

Вместо того чтобы в мгновение ока застыть по стойке «смирно» возле парт, воспитанники подняли на смех своего товарища — они приняли его приветствие за шутку.

Николай в бешенстве выскочил из класса и тут налетел на какого-то надзирателя. Он приказал ему немедленно выстроить воспитанников пансиона в актовом зале.

Прошло несколько минут.

Прибежали чуть живые от страха директор и инспектор.

Царь осыпал их угрозами и уехал. А через некоторое время Университетский пансион был преобразован в «Дворянский институт» и низведен до уровня гимназии.

В великосветских салонах эту историю рассказывали, как анекдот: кроме воспитанника Булгакова, никто не узнал государя императора! А Жуковский от души пожалел об участи пансиона, он любил свою alma mater. Узнав неприятную новость, он долго не мог успокоиться.

* * *

Цензура свирепствовала, и самый ретивый цензор был царь. В 1832 году Иван Киреевский выпустил первый номер журнала «Европеец». Как Пушкин и его друзья обрадовались «Европейцу»! К сожалению, двадцатишестилетний издатель успел выпустить только два номера «Европейца». С этим журналом связаны имена Жуковского, Языкова и Боратынского, к нему сочувственно относились Пушкин и Чаадаев, журнал сразу приобрел известность...

Как-то в феврале 1832 года у Петра Александровича Плетнева собрались друзья, пришел Пушкин. Только что стало известно, что Николай Первый запретил «Европейца». Александр Васильевич Никитенко, не в силах сдержать досаду, воскликнул:

— Да что же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить да буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно!

Одиннадцатого июля 1832 года Александр Пушкин сообщил Киреевскому: «Запрещение вашего журнала сделало здесь большое впечатление; все были на вашей стороне, то есть на стороне совершенной безвинности. Донос, сколько я мог узнать, ударил не из булгаринской навозной кучи, но из тучи. Жуковский заступился за вас с своим горячим прямодушием».

Кружок Пушкина восхищался Жуковским. Трудно назвать хотя бы еще одного человека, который бы рискнул направить царю по поводу запрещения журнала такое письмо, как то, что написал Василий Андреевич Жуковский.



И. В. Киреевский.

8

В своем письме Николаю Первому Жуковский открыто, честно и прямо изложил свои мысли. Это интересный документ, бесспорно достойный того, чтобы его привести без сокращений.

«Николаю I

(февраль 1832, Пе ербург).

Я перечитал с величайшим вниманием в журнале «Европеец» те статьи, о коих ваше императорское величество благоволили говорить со мной, и, положив руку на сердце, осмеливаюсь сказать, что не умею изъяснить себе, что могло быть найдено в них злонамеренного. Думаю, что я не остановился бы пропустить их, когда бы должен был их рассматривать как цензор.

В первой статье, «Девятнадцатый век», автор судит о ходе европейского общества, взяв его от конца XVIII (века) до нашего времени, в отношении литературном, нравственном, философическом и религиозном; он не касается до политики (о чем именно говорит в начале статьи), и его собственные мнения решительно антиреволюционные; об остальном же говорит он просто исторически. В некоторых местах он темен, но это без намерения, а единственно оттого, что не умел выразиться яснее,

что не только весьма трудно, но и почти неизбежно на русском языке, в котором так мало терминов философических. Это просто неумение писателя. Но и в этих темных местах (если не предполагать сначала дурного намерения в авторе, на что нет никакого повода), добравшись с трудом до смысла, не найдешь ничего предосудительного; ибо везде говорится исключительно об одной литературе и философии, и нет нигде ничего политического. Сии места, вырванные из связи целого, могли быть изъяснены неблагоприятным образом, особливо если представить их в смысле политическом; но, прочтенные в связи с прочим, они совершенно невинны. Какие это именно места, я не знаю; ибо я прочитал статью в связи, и ничего в ней не показалось мне предосудительным. В замечаниях на комедию «Горе от ума» автор не только не нападает на иностранцев, но еще хочет, в смысле правительства, оправдать благоразумное подражание иностранному, утверждая, что оно не только не вредит национальности, но должно еще послужить к ее утверждению. Он смеется над нашею исключительною привязанностью к иностранцам, которая действительно смешна, и под именем тех иностранцев, на коих нападает, не разумеет тех достойных уважения иностранцев, кои употреблены правительством, а только тех, кои у нас (или родясь в России, или переселясь в нее из отечества), под покровительством нерусского имени, первенствуют в обществе и портят домашнее воспитание, вверенное им без разбора родителями. Одним словом, он хочет отличить благоразумное уважение к иностранному просвещению, нужное России, от безрассудного уважения к иностранцам без разбора, вредного и смешного.

Теперь осмелюсь сказать слово о самом авторе. Его мать выросла на глазах моих; и его самого и его братьев знаю я с колыбели. В этом семействе не было никогда и тени безнравственности. Он все свое воспитание получил дома; имеет самый скромный, тихий, можно сказать девственный характер; застенчив и чист как дитя; не только не имеет в себе ничего буйного, но до крайности робок и осторожен на словах. Он служил несколько времени в архиве иностранных дел в Москве. Несчастная привязанность, которая овладела душою его, заставила его мать отправить его для рассеяния мыслей в чужие края. Проезжая через Петербург, он провел в нем более недели и, это время прожив у меня, отправился прямо в Берлин, где провел несколько месяцев и слушал лекции в университете. Получив от меня рекомендательные письма к людям, которые могли указать ему только хорошую дорогу, он умел заслужить при-

язнь их. Из Берлина поехал он в Мюнхен к брату, учившемуся в тамошнем университете. Открывшаяся в Москве холера заставила обоих братьев все бросить и спешить в Москву делить опасность чумы с семейством. С тех пор оба брата живут мирно в кругу семейственном, занимаясь литературою. И тот и другой почти неизвестны в обществе; круг знакомства их самый тесный; вся цель их состоит в занятиях мирных, и они, по своим свойствам, по добрым привычкам, полученным в семействе, по хорошему образованию, могли бы на избранной ими дороге сделаться людьми дельными и заслужить одобрение отечества полезными трудами, ибо имеют хорошие сведения, соединенные с талантом и, смело говорю, с самою непорочною нравственностию. Об этом говорить я имею право более нежели кто-нибудь на свете, ибо я сам член этого семейства и знаю в нем всех с колыбели.

Что могло дать насчет Киреевского вашему императорскому величеству мнение, столь гибельное для целой будущей его жизни, постигнуть не умею. Он имеет врагов литературных, именно тех, которые и здесь, в Петербурге, и в Москве срамят русскую литературу, дают ей самое низкое направление и почитают врагами своими всякого, кто берется за перо с благороднейшим чувством. Этим людям всякое средство возможно, и тем успешнее их действия, что те, против коих они враждуют, совершенно безоружны в этой неравной войне; ибо никогда не употребят против них тех способов, коими они так решительно действуют. Клевета искусна; издалека наготовит она столько обвинений против беспечного честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде и, со всех сторон запутанный, не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют *тайные намерения*. Такое обвинение легко, а оправдания против него быть не может. Можно отвечать: *«Я не имею злых намерений!»* Кто же поверит на слово? Можно представить в свидетельство непорочную жизнь свою. Но и она уже издалека очернена и подрыта. Что же остается делать честному человеку, и где может найти он убежище? Пример перед глазами вашего величества, Киреевский, молодой человек чистый совершенно, с надеждою приобрести хорошее имя, берется за перо и хочет быть автором в благородном значении этого слова. И в первых строках его находят *злое намерение*. Кто прочитает эти строки без предубеждения против автора, тот, конечно, не найдет в них сего тайного злого намерения. Но уже этот автор представлен вам как человек безнравственный, и он, не известный лично вам, не имеет средства ска-

зать никому ни одного слова в свое оправдание, уже осужден перед верховным судилищем, перед вашим мнением.

На дурные поступки его никто указать не может, их не было и нет; но уже на первом шагу дорога его кончена. Для вас он не только чужой, но вредный. Одной благости вашей должно приписать только то, что его не постигло никакое наказание. Но главное несчастие совершилось. Государь, представитель закона, следовательно сам закон, наименовал его уже виновным. На что же послужили ему двадцать пять лет непорочной жизни? И на что может вообще служить непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветою?»

Разумеется, журнал возродить не удалось. Никакие письма (Жуковский написал о журнале «Европеец» и Бенкендорфу) ничего не изменили. На уверения Василия Андреевича, что он ручается за Киреевского, Николай Первый ответил:

— А за тебя кто поручится?

Жуковский обиделся. Он сказался больным. Тогда царица выступила посредницей между мужем и своим бывшим учителем. Она вызвала к себе Жуковского в то время, когда у нее находился царь. Николай встретил Жуковского словами:

— Ну, пора мириться.

Служба Жуковского принесла пользу русским писателям, значение ее огромно: в мрачную пору правления Николая Первого в лице Жуковского они имели постоянного заступника.

Мы далеки от мысли переоценивать влияние Жуковского. У царя были свои причины идти навстречу некоторым просьбам поэта: он делал это по расчету, желал казаться милосердным. Однако заступничество Жуковского очень часто приносило пользу.

9

Настала пора создания произведений эпического жанра.

Этот труд требовал большого напряжения сил: поработав несколько лет подряд, Жуковский уезжал лечиться. Первый раз Жуковский совершил путешествие за границу в тридцатисемилетнем возрасте, затем ездил лечиться регулярно.

Он работал четыре-пять лет без перерыва, потом год-полтора отдыхал. Перемена обстановки, дорожные впечатления, новые лица — все это действовало на Василия Андреевича благотворно. Он останавливался в красивейших местах, совершал

большие переходы, бывал в опере, слушал симфонические концерты, осматривал картинные галереи, изучал историю живописи.

Третье заграничное путешествие Жуковского началось в июне 1832 года: лето Василий Андреевич провел в Германии, а зиму в Швейцарии.

Василий Андреевич познакомился с Иоганном-Людвигом Уландом, лучшие стихотворения и баллады которого он переводил уже много лет: «Утешение», «Три песни», «Три путника».

В этот свой приезд Василий Андреевич познакомился также с Фридрихом де ла Мотт Фуке, писателем-романтиком, автором прозаической повести «Ундина». Жуковский перевел «Ундину» нерифмованным гекзаметром (переработкой повести де ла Мотт Фуке Жуковский занимался с перерывами около пяти лет). «Ундина» Жуковского — одно из его лучших поэтических созданий.

Фуке использовал в своей повести фольклорные мотивы, это придало ей черты волшебной сказки. Жуковский поднял повесть до уровня высокой поэзии.

У бедного рыбака была дочь-красавица, не родная дочь, а подкидыш, звали ее Ундина. Она прекрасна, как божий ангел, нежна, проказлива и незлобива, но это только с виду Ундина ничем не отличалась от других людей, на самом деле она нимфа, у нее не было души.

Оттого-то ее не трогали людские страдания, родителям с ней очень трудно. Но родителям всегда нелегко с детьми, и старый рыбак резонно замечает жене:

— Полно, старуха, ты бьешься с Ундиной, я с причудливым морем. А все мне любо с ним.

Могущественный морской царь, отец Ундины, пожелал дать ей душу, но это осуществится лишь в том случае, если она будет любима верным и преданным мужем. Душа придет к ней с любовью. Но счастье Ундины непрочно, как всякое земное счастье: если муж ее разлюбит, душа оставит ее тело, она погибнет.

Сбылось волшебство морского царя, отца Ундины: она полюбила славного рыцаря, а он полюбил ее.

...мирной сей жизни была душою Ундина.
В этом жилище, куда суеты не входили, каким-то
Райским виденьем сияла она; чистота херувима
Резвость младенца, застенчивость девы, ...
Словом, Ундина была несравненным, мучительно-милым,

Чудным созданьем; и прелесть ее проницала, томила
Душу Гульбранда, как прелесть весны, как волшебство
Звуков, когда мы так полны болезненно-сладкою думой.
Но вертлявый, проказливый нрав и смешные причуды Ундины
Были подчас и докучливой мукой; зато и журили
Крепко ее старики: и тогда шалунья так мило
Дулась на них, так забавно ворчала; потом так сердечно
С ними, раскаясь, мирилась; потом проказила снова, и снова
Ей доставалось; и все то было волшебною, тайной
Сетью, которою мало-помалу опуталось сердце
Рыцаря. С нею он стал неразлучен; с каждою мыслью
С каждым чувством слилась Ундина. Но, им обладая,
Той же силе она и сама покорялась; хотя в ней
Все осталось по-прежнему, резвость, причуды, упрямство,
Вздорные выдумки, детские шалости, взбалмошный хохот,
Но Ундина любила. . . . .

Она обрела живую душу. «Великое бремя// Страшное бремя душа! при одном уж ее ожиданье// Грусть и тоска терзают меня; а доныне мне было так легко, так свободно», — рыдая, призналась Ундина.

Добрая, чистая, бескорыстная, обманутая своей лучшей подругой, не понятая мужем Ундина погибает, ибо лишается его любви. Здесь слышатся отголоски старинных средневековых трагедий: Ундину обвинили в том, что она чародейка, колдунья. Они плыли по Дунаю: Ундина, ее муж и подруга, которую доверчивая Ундина пригласила жить в их замке. Гульбранд и Бертальда любят друг друга, Ундина им мешает, и как только он закричал на жену: «Сгинь, чародейка, от нас и оставь нас в покое!» — Ундина бросилась в реку. Вскоре погиб Гульбранд, нарушивший клятву верности. На его могиле пробился чистый ключ, и поселяне говорили, что

ручей тот Ундина,
Добрая, верная, слитая с милым и в гробе Ундина.

Многолетний труд — перевод «Ундины» Жуковский заканчивал в Элистфере, близ Дерпта. Здесь у него гостила Екатерина Афанасьевна с двумя внучками Катей и Сашей Воейковыми, которые, как некогда их мать, стали переписчицами стихов Жуковского.

Каждое утро, прохаживаясь по залу с книгой в руках, Василий Андреевич диктовал перевод сменявшим друг друга девушкам. Вечерами он правил рукопись, и сестры переписывали ее набело.

После знакомства с автором «Ундины» Василий Андреевич записал в своем дневнике: «В лице ла Мотт Фуке нет ничего,

останавливающего внимание. Есть живость в глазах: он имеет талант, и талант необыкновенный, он способен, разгорячив воображение, написать прекрасное; но это не есть всегдашнее, зависит от расположения, находит вдохновением; автор и человек не одно, и лицо его мало изображает того, что чувствует и мыслит автор в некоторые минуты. Разговор наш состоял из комплиментов и продолжался недолго».

Очень интересна и другая дневниковая запись:

«Нам стыдно перед пруссаками: сколько уже у них памятников народной славе; они и Кутузова и Барклая не забыли, а мы строим храм, который вечно не достроится[8], хотим благодарить бога, которому не нужна благодарность, и не думаем отдать чести тем, которые положили за отечество жизнь свою. Настоящее место для народных памятников не Петербург, а Москва: она была свидетельницею русских подвигов; Петербург ни о чем не напоминает: в нем должен быть один памятник Петру».

* * *

Путешествия были для Жуковского еще и тем хороши, что наталкивали его на новые темы. Одно из лучших поэтических созданий его, «Суд в подземелье» (перевод из романа Вальтера Скотта «Мармион, рассказ о Флодденфильде»), был выполнен в Верне, на берегу Женевского озера. Василий Андреевич перевел последнюю часть романа, собирался впоследствии перевести начало, но не исполнил задуманного.

Однако произведение Жуковского воспринимается не как отрывок, а как законченная поэма. Он не рассказывает о рыцаре Мармионе, который полюбил монахиню и уговорил ее бежать, а только о побеге и о суде, приговорившем ее к смерти: «преступницу» замуровали в подземелье, стон заживо погребенной жертвы достиг земли, но никто не знал, откуда он донесся...

Современная Жуковскому критика не заметила этой поэмы, Белинский был первым, кто отметил ее достоинства. И уже в наше время было доказано, что четырехстопный ямб с мужскими рифмами, которым написана поэма «Суд в подземелье», дан впервые в русской поэзии Жуковским и использован Лермонтовым («Боярин Орша» и «Мцыри»).

Обитель сном глубоким спит;
Над церковью луна стоит

И сыплет на дорогу свет;
И виден на дороге след
В густой пыли копыт и ног;
И слышен ей далекий скок...
Она с волненьем вдаль глядит;
Но там ночной туман лежит;
Все тише, тише слышен скок,
Лишь по дороге ветерок
Полночный ходит да луна
Сияет с неба. Вот она
Минуты две подождала;
Потом с молитвою пошла
Вперед — не встретится ли с ним?
И долго шла путем пустым;
Но все желанной встречи нет.
Вот наконец и дневный свет,
И на небе зажглась заря...
И вдруг от стен монастыря
Послышался набатный звон;
Всю огласил окрестность он.
Что ей начать? Куда уйти?
Среди открытого пути,
Окаменев, она стоит;
И страшно колокол гудит;
И вот за ней погоня вслед
. . . .

(«Суд в подземелье»)

Бежал я долго — где? куда?
Не знаю! Ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.

(«Мцыри»)

В апреле Жуковский решил через Марсель плыть в Геную. 9 (21) апреля 1833 года он записал в своем дневнике после осмотра Марселя: «Здесь солнце светит и не радует». А через три дня, в Генуе, появилась грустная запись. «Время благоприятствовало для въезда в гавань Генуэзскую. Великолепие зданий и галерные невольники по два на цепи. Контраст великолепия и бедствия человеческого. Города представляют одни пункты блестящие; но сколько промежутков мрачных: нечистота улиц, нищие, вонь».

Жуковский побывал в Неаполе, Помпее, Риме и Флоренции.

В Риме осмотрел работы Карла Павловича Брюллова, встречался с художником Александром Андреевичем Ивановым, Зинаидой Волконской, известным французским писателем Анри Бейлем (Стендалем). Большое впечатление произвела на Жуковского встреча с отцом известных декабристов Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом.

Василий Андреевич во все время путешествия находил возможность писать подробные письма друзьям. Впечатлений было много, и письма на родину шли подобно путевым очеркам. Своему близкому другу поэту Ивану Ивановичу Козлову Василий Андреевич описывал все особенно подробно:

«...И не во гнев тебе будь сказано, нет ничего скучнее «Новой Элоизы», я не мог дочитать ее и в молодости, когда воображению нужны более мечты, нежели истина... (Руссо. – *М. Б.*) был в свое время лучезарный метеор, но этот метеор лопнул и исчез. Байрон другое дело: многие страницы его вечны. ...По той дороге, по которой, вероятно, гулял здесь Байрон, хожу я каждый день, или влево от моего дома к Шильону, или вправо через Кларан в Веве. В обоих направлениях по три версты (взад и вперед шесть верст); я вымерял расстояние шагами и каждая верста отмечена моим именем, нацарапанным мною на камне. Иногда в этих прогулках сочиняю и стихи...».

(27 января/8 февраля 1833)».

Шильонский замок, о котором пишет Жуковский, стал местом паломничества туристов благодаря поэме Байрона. После того как поэму «Шильонский узник» перевел Жуковский, замком заинтересовались и русские путешественники. Об этом свидетельствует письмо, которое мы приводим с некоторыми сокращениями.

Гоголь — Жуковскому

12 ноября (н. ст. 1836. Париж).

Я давно не писал к вам. Я ждал, чтобы минуло лето, потому что в это время обыкновенно как-то мало вспоминается об отсутствующих. К тому ж у меня не было ничего достойного писать к вам. Но я знаю, что вы меня любите и что с наступлением осени вы вспомните обо мне, который каждую минуту вас видит перед собою. Я к вам писал, кажется, в самом начале моего путешествия.

Прошатавшись лето на водах, я перебрался на осень в Швейцарию... Женевские холода и ветры выгнали меня в Ве-

ве. Никого не было в Веве; один только Блашне выходил ежедневно в 3 часа к пристани встречать пароход. Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим наследником: завладел местами ваших прогулок, мерял расстояние по назначенным вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шильонского узника»; впрочем, даже не было и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев. В низу последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин...

Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвых душ», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь — вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые домы, мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня, приходившего к вам, и брали меня за руку и были рады моему приходу... и мне сделалось страшно скучно, меня не веселили мои «Мертвые души», я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжить их...

Париж не так дурен, как я воображал... Бог простер здесь надо мной свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел. «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы — словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. Еще один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем;... теперь я погружен весь в «Мертвые души». Огромно велико мое творение, и не

скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. *Терпенье!* Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени. Пришлите мне портрет ваш. Ради всего, что есть для вас дорогого на свете, не откажите мне в этом, но чтобы он был теперь снят с вас. Если у вас нет его, не поскупитесь...

Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет «Мертвых душ». Название можете объявить всем. Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело.

Будьте всегда здоровы и веселы, и да хранит вас бог от почечуев и от встреч с теми физиономиями, на которые нужно плевать, — и да бегут они от вас, как ночь бежит от дня.

Прощайте до следующего письма.

* * *

Четырнадцатого апреля 1833 года Жуковский поехал в Ливорно поклониться праху Сашеньки (Александры Андреевны Воейковой).

Воейкова умерла 16 февраля 1829 года. Она скончалась на руках у Зейдлица в далекой Италии, куда поехала лечиться от чахотки.

Василий Андреевич зарисовал могильный холмик Саши и заказал на могилу Саши точно такое надгробие, как то, которое он поставил в Дерпте Маше: большой чугунный крест с распятием и на бронзовой доске слова: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии и аз успокою вы» (Матв. XI, 28) И еще: «Да не смущается сердце ваше» (Иоан. XIV).

На него теперь легла забота о детях Сашеньки, их было четверо — мал мала меньше. Воейков и при жизни жены мало заботился о своем потомстве, а после ее смерти совсем опустился.

Двух старших девочек по просьбе Жуковского приняли в закрытое учебное заведение для детей дворян, они хорошо учились, и он был спокоен. Младшие пока были с бабушкой, Екатериной Афанасьевной.

* * *

Двадцать пятого августа 1833 года Василий Андреевич посетил дом Иоганна Вольфганга Гете.

Странно было видеть все совершенно неизменным, словно вот-вот появится хозяин дома, в то время как гость отлично сознавал, что это невозможно и что ощущение это происходит оттого, что помещение сохраняют, как святыню: все на прежних местах, точно так же, как при жизни Гете.

Жуковский внимательно осмотрел кабинет. Комната низкая, просторная, с тремя окнами. Шкафы и стол из добротного крепкого дерева без краски и без лакировки придавали кабинету вид простой и солидный. Это была рабочая комната безо всяких украшений. Посреди комнаты стоял круглый стол, а у стены — письменный, за которым Гете писал стоя.

Ящики шкафов наполнены рукописями, бумагами, коллекциями минералов и монет, здесь хранились рисунки, выполненные Гете во время путешествий.

Василий Андреевич Жуковский счел своим долгом просить лиц, лично знавших великого немецкого поэта, записать свои воспоминания о нем.

За границей Жуковский встретил свой день рождения. Он писал товарищу своих детских игр Анне Петровне Зонтаг, старшей сестре Авдотьи Петровны Елагиной: «...нынче мне стукнуло 49, и пошел пятидесятый год — плохо. Я не состарился и, так сказать, не жил, а попал в старики. Жизнь моя была вообще так одинакова, так сама на себя похожа и так однообразна, что я ещё не покидал молодости, а вот уже надобно сказать решительно «прости» этой молодости, и быть стариком, не будучи старым» (20 февраля 1833).

10

Осенью Жуковский вернулся в Россию. Пушкин узнал о его приезде и писал из Болдино жене:

«Что Жуковский? Мне пишут он поздоровел и помолодел» (21 октября 1833). И, через несколько дней, в письме Владимиру Федоровичу Одоевскому: «Вы обрадовали меня известием о Жуковском. Дай бог, чтобы нынешний запас здоровья стал ему лет на пять: а там уж как-нибудь да справится» (30 октября 1833).

Началась его обычная петербургская жизнь: обязанности служебные, литературный труд и встречи с друзьями.

С Пушкиным Жуковского по-прежнему связывала самая тесная дружба. Они постоянно навещали друг друга и встречались у общих знакомых. То Жуковский достает для своего друга «билет эрмитажный» (постоянный пропуск), то приглашает его на именины:

«А завтра я именинник, и будут у меня ввечеру семейство Карамзиных, Мещерских и Вяземских; и будут у меня два изрядных человека, графы Виельгорские, и попрошу Смирнову с собственным ее мужем, да, может быть, привлеку и привлекательную Дубенскую; вследствие сего прошу и тебя с твоею грациозною, стройносозданною, богинеобразною, мадонистою супругою пожаловать ко мне завтра (во вторник), в 8-мь часов, откушать чаю с бриошами и прочими вкусными причудами; да скажи об этом и домашнему твоему Льву. Уведомь, будешь ли, а я твой

богомолец, Василий».

Женитьба внесла много осложнений в жизнь Пушкина. Наталья Николаевна появилась при дворе, она пользовалась успехом, а Пушкин ненавидел придворную суету. Жена поэта была молода, не понимала, как тяжело было Пушкину от «монарших милостей» — личной цензуры царя и его неустанной опеки. Порой он не выдерживал, наступал срыв.

Пушкин -- Бенкендорфу.

25 июня 1834 г.
В Петербурге.

Граф,

Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вынужден оставить службу, и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение.

В качестве последней милости я просил бы, чтобы дозволение посещать архивы, которое соизволил мне даровать его величество, не было взято обратно.

Остаюсь с уважением, граф, вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга

Александр Пушкин[9].

Жуковский был в полном неведении, и, что хуже всего — узнал обо всем от царя.

— Что побудило Пушкина подать в отставку?— спросил Николай у Василия Андреевича 2 июля.

Тон у Николая был недовольный.

— Не знаю, — ответил Жуковский, но тут же спохватился: — Нельзя ли как этого поправить?

— Почему ж нельзя? Я никогда не удерживаю никого и дам отставку ему. Но в таком случае, все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое, — обиженно объяснил царь.

Жуковский поспешил написать обо всем Пушкину. На следующий день он снова написал ему. К письму Василий Андреевич приложил некий официальный вариант своего послания «без галиматьи», на случай, если бы Пушкин захотел показать его Бенкендорфу. Жуковский нервничал. Зная характер царя, он хотел быстрее помирить Пушкина с Николаем. 6 июля Василий Андреевич снова шлет Пушкину сердитое послание, но Александр Сергеевич на него не обижался; он видел, что Василий Андреевич всеми силами хочет ему помочь.

11

Друзья Жуковского часто читали вслух письма, полученные кем-либо из членов кружка. Вяземский писал Тургеневу 29 декабря 1835 года: «Я читал твое письмо в субботу у Жуковского, который сзывает по субботам литературную братию на свой олимпический чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc, etc. Все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!» Все они понимали, как важно дать верное направление развитию русской журналистики, уменьшить влияние Булгарина.

В булгаринской «Северной пчеле» допускались лишь восхваления существовавшего порядка. Даже заметка о дождливой петербургской погоде вызвала недовольство. Дуббельт заявил Булгарину:

— Ты, ты у меня! Вольнодумствовать вздумал? Климат царской резиденции бранишь?! Смотри!

После памятной субботы, когда Вяземский прочел письмо Тургенева, Александр Сергеевич Пушкин обратился к Бенкендорфу с письменным заявлением о разрешении выпускать еже-

квартальные литературные обозрения. В январе 1836 года разрешение было получено. Помощниками Пушкина были — Гоголь, Вяземский, Жуковский, Боратынский, Одоевский и Языков. Первый выпуск вышел в апреле 1836 года. Журнал Пушкина назывался «Современник».

В первом номере «Современника» были опубликованы «Коляска», «Утро делового человека» и обзорная статья Гоголя; «Скупой рыцарь», «Пир Петра Первого», «Путешествие в Арзрум» и несколько критических статей Пушкина. Таких журналов еще не видывала русская читающая публика.

В первый номер вошло стихотворение Жуковского «Ночной смотр» (перевод одноименного стихотворения Иозефа фон Цедлица).

«Мне Пушкин пишет, что ты в журнал его дал такие стихи, что мой белый локон дыбом станет от восторга», — сообщил Денис Васильевич Давыдов Жуковскому.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту.
. . . .
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту.
. . . .
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.

Друзья Пушкина старались разыскать для «Современника» все самое интересное. Велика была радость Вяземского, когда И. С. Гагарин передал ему несколько стихотворений Тютчева, служившего вторым секретарем русской миссии в Мюнхене, и еще неизвестного широкому кругу читателей. Вяземский и Жуковский засиделись до полуночи, читая тютчевские стихи; через день их прочел Пушкин и поместил во второй номер под заглавием «Стихи, присланные из Германии».

12

Пушкину не везло с письмами. Московская почта, распечатав его письмо жене, нашла его достойным внимания полиции. Полицейские власти, ознакомившись с частным письмом, сочли своим долгом довести его до сведения государя императора. Александр Сергеевич записывает в дневнике: «Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать к царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться— и давать ход интриге...».

К счастью, Жуковскому сразу удалось замять дело.

13

Хотя со временем «субботы» Жуковского стали не совсем регулярны, все же они происходили довольно часто. Михаил Иванович Глинка пишет в своих воспоминаниях:

«Я постоянно посещал вечера В. А. Жуковского. Он жил в Зимнем дворце, и у него еженедельно собиралось избранное общество, состоявшее из поэтов, литераторов и вообще людей, доступных изящному. Назову здесь некоторых: А. С. Пушкин, кн. Вяземский, Гоголь, Плетнев были постоянными посетителями. Гоголь при мне читал свою «Женитьбу». Князь Одоевский, Виельгорский и другие были тоже нередко».

Через несколько лет на очередной «субботе» Жуковского 18 января 1836 года состоялось первое чтение комедии «Ревизор». Читал Гоголь. Как он читал! Это был тот неподражаемый, особенный юмор, который, как впоследствии заметил близко знавший Гоголя Сергей Тимофеевич Аксаков, составляет исключительную особенность малороссов; передать его невозможно.

Никакое актерское исполнение не могло соперничать с чтением автора «Ревизора»: фактически он не читал, а играл каждую роль — от Хлестакова до губернаторской дочки, — слушатели, вернее, зрители с напряженным вниманием следили за развитием действия.

В кабинете Жуковского стояла тишина немыслимая, и в этой тишине звучал голос Гоголя, временами прерывавшийся неистовыми взрывами смеха.

Все понимали, что присутствуют при исполнении великого произведения искусства.

* * *

Василий Андреевич Жуковский придавал огромное значение слову. Он утверждал: «Слово не есть наша произвольная выдумка; всякое слово, получающее место в лексиконе языка, есть событие в области мысли, можно даже сказать и в области гражданской жизни».

Это отношение к слову характерно для кружка Жуковского. Все, что способствовало распространению просвещения и полезных мыслей, находило здесь поддержку. Жуковский продолжал начатую еще в «Арзамасе» войну против церковнославянских архаизмов.

Достоянием всех членов кружка становились любимые фразы того или иного бывшего арзамасца, которые тот находил у отечественных или зарубежных авторов, например, выписанное Николаем Ивановичем Тургеневым изречение Фенелона: «Я люблю свою семью больше, чем себя, я люблю свое отечество больше, чем свою семью, но больше, чем свое отечество, я люблю все человечество».

Жуковский не переоценивал роль живого слова. В нем — все: и священные страницы истории, и призыв к сплочению в дни народных бедствий, и надежды на будущее. В области развития русского языка Василий Андреевич Жуковский сделал так много, что в этой деятельности заключается одна из его величайших заслуг перед родиной.

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтоб мыслить
и страдать.

А. С. Пушкин. Элегия

1

Жуковскому было суждено пережить Пушкина. Василий Андреевич всеми силами старался предотвратить трагедию, он знал, что близость ко двору гибельна для его друга, но в судьбе Пушкина ничего нельзя было изменить.

События развивались быстро. 5 ноября 1836 года Пушкин вызвал на дуэль Жоржа Дантеса, поручика кавалергардского полка. Этому предшествовала цепь событий, достаточно серьезных, чтобы держать в напряжении ближайших друзей Александра Сергеевича. Как только домашние Пушкина узнали о дуэли, они моментально послали в Царское Село за Василием Андреевичем.

Жуковский приехал 6-го и направился сразу на набережную Мойки к Пушкину. Здесь он застал голландского посланника. Барон просил об отсрочке дуэли на полмесяца.

— Согласен, — ответил Пушкин.

Голос его был странно тих. Василий Андреевич перехватил холодный, презрительный, ненавидящий взгляд, которым Пушкин одарил Геккерна. Жуковский вздрогнул. Только теперь он понял, в каком отчаянном положении находился его друг. С этой минуты им овладела одна мысль: спасти. Спасти любой ценой. Из головы не шло, что вызов оставался в силе, поединок отложен, Пушкин под прицелом дуэльного пистолета. Все мысли Жуковского были направлены на предотвращение дуэли.

Голландский посланник боялся скандала. Он попросил Жуковского помирить Пушкина со своим приемным сыном, устроив их свидание. 9 ноября 1836 года Василий Андреевич, получив письмо Людвига Геккерна, поспешил к Пушкину.

— Старый Геккерн просит тебя встретиться с его сыном. Это лучший способ все уладить.

— Нет. Не хочу его видеть.

Как ни доказывал Василий Андреевич, что надобно избежать огласки, что вообще у Пушкина нет доказательств, кто автор пасквиля, — Александр Сергеевич стоял на своем: пасквиль сочинил «старый Геккерн». Жуковский ушел раздосадованный, обеспокоенный. Вечером того же дня он написал Пушкину.

Жуковский — Пушкину

9 ноября 1836, Петербург.

Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видевшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но, ради бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Жду ответа. Я теперь у Виельгорского, у которого обедаю.

Ж.

Пушкин тотчас пришел к Михаилу Юрьевичу Виельгорскому, он был страшно взволнован. Василий Андреевич обнял его. На какую-то минуту у Жуковского отлегло от сердца: ему показалось, что его друг готов забрать вызов. Но Пушкин заговорил о жандармах. Он опасался, что в его семейные дела впутается правительство, положение свое он считал совершенно безвыходным.

2

Людвиг Геккерн хотел реабилитировать Жоржа Дантеса в петербургском великосветском обществе. Встретив Жуковского, он сказал:

— Если особенное внимание моего сына и принято некоторыми за ухаживание, то тут не может быть места никакому по-

дозрению, никакому поводу к скандалу, ибо он делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры госпожи Пушкиной, Екатерины Николаевны Гончаровой.

Жуковского это сообщение обрадовало.

— Я не считаю себя вправе давать вам какие бы то ни было советы, барон, однако, если таковы планы вашего сына, ему лучше не откладывать задуманное, — сказал Василий Андреевич.

Неизвестно, сыграл ли роль совет Жуковского или Геккерны заранее разработали свой план, но так или иначе Жорж Дантес-Геккерн передал через фрейлину Загряжскую, тетку сестер Гончаровых, официальное предложение. 14 ноября Пушкин взял назад свой вызов: слухи о предстоящей женитьбе Дантеса позволили ему это сделать. Но Жорж Дантес направил ему письмо, он спрашивал о причине отказа поэта от поединка. Взбешенный Пушкин 16 ноября послал мосье Жоржу вторичный вызов. Начались переговоры между секундантами противников. Секундант Пушкина Владимир Александрович Соллогуб написал Александру Сергеевичу, что секундант Дантеса поставил его в известность, что барон намерен официально объявить о своей женитьбе после дуэли, чтобы этот шаг не был истолкован как проявление трусости. Соллогуб умолял Пушкина отказаться от поединка, условия которого — стреляться на расстоянии десяти шагов. В изложении секунданта дело выглядело так, что нельзя было с ним не согласиться. Во вторник, 17 ноября Пушкин написал Соллогубу письмо, в котором объяснял, что, узнав из толков в свете о намерении Жоржа Геккерна жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли, просит секундантов считать этот вызов как бы не имевшим места.

Узнав о том, что дуэль отменяется, Жуковский почувствовал облегчение: последние две недели он жил в постоянном страхе. Четыре дня прошли спокойно. Но 21 ноября Пушкин позвал к себе Соллогуба и запер дверь.

— Я прочитаю вам письмо к старшему Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте.

Губы его дрожали, глаза налились кровью, голос прерывался. Он начал читать. Это письмо было составлено в столь оскорбительных выражениях, что в случае его отправления дуэль становилась неизбежной. Соллогуб начал действовать немедленно. Была суббота, приемный день князя Владимира Федоровича Одоевского, и Соллогуб поехал к нему. Как он и полагал, у князя находился Жуковский. Выслушав секунданта Пушкина, Василий Андреевич побледнел.

— Спасибо, Владимир Александрович. Я постараюсь задержать отправку этого письма.

Василий Андреевич понимал, что дорог каждый час: он бросился спасать Пушкина, как спасают сына, когда над ним нависает смертельная опасность. И уже на следующий день, 22 ноября, он нашел возможность упросить Николая Первого немедленно вызвать во дворец Пушкина, чтобы предотвратить скандал, в котором была замешана особа, принадлежащая к дипломатическому корпусу. Во время аудиенции царь взял с Пушкина слово, что он драться на дуэли не будет.

Василий Андреевич через несколько дней встретил Соллогуба у Карамзиных и сообщил, что ему удалось все уладить.

В ноябре дуэль не состоялась...



Автопортреты Пушкина.

Жуковский — Пушкину

15—20 ноября 1836, Петербург.

Хотя ты и рассердил и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет — не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем.— Я приду к тебе между 1/2 12 и часом; обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор и что теперь решено. Но ведь тебе, может быть, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак. приду. Дождись меня, пожалуйста. И выскажи мне все, что тебе надобно: от этого будет добро нам обоим.

Ж.

Жуковский упрашивал Пушкина не обращать внимания на анонимные письма, нападавшие на честь его жены. Пушкин отвечал:

— Ах, что мне за дело до мнения графини такой-то или княгини такой-то насчет невиновности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь, это мнение того низшего класса, единственного в настоящее время истинно русского, который обвиняет жену Пушкина!

3

Двадцать пятого января Пушкин получил второе анонимное письмо о тайном свидании Натальи Николаевны с Дантесом на квартире Идалии Полетика в кавалергардских казармах. Наталья Николаевна подтвердила, что Дантес просил встретиться с ним для переговоров о важном семейном деле, но это был лишь предлог ее увидеть.

Пушкин решил действовать. Он отправил Людвигу Геккерну письмо, содержавшее смертельное оскорбление, это был немного измененный вариант неотправленного ноябрьского письма. В тот же день к Пушкину явился атташе французского посольства виконт д'Артишак, чтобы передать вызов.

Дуэль состоялась в среду 27 января среди бела дня. Полицейские власти знали о предстоящем поединке, но Бенкендорф, имевший возможность предотвратить трагедию, сознательно не сделал этого: по его распоряжению жандармы были посланы в Екатерингоф («будто бы по ошибке», — заметил современник этих событий), в то время как дуэль состоялась на Черной речке.

Пушкина ничто не могло остановить. В душе его горела такая ненависть к своим могущественным врагам, что он должен был с ними расквитаться хотя бы ценою жизни.

Так и случилось. 27 января, около десяти часов вечера, Василий Андреевич приехал к Вяземскому и к удивлению своему узнал, что Петр Андреевич с женой у Пушкина. Жуковский зашел к зятю Вяземского Валуеву и вдруг услышал:

— Неужели вы не получили записку княгини? За вами давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает, он смертельно ранен.

От этого известия Жуковский едва не потерял сознание...

В кабинете Пушкина он нашел Вяземского и Мещерского, тут же были доктора Арендт и Спасский. Выйдя за Арендтом в переднюю, Жуковский спросил:

— Каков он?

— Очень плох. Он умрет непременно.

— Но, может быть, есть надежда?

— Нет.

На пороге дома Волконского Жуковский встретил фельдъегеря, посланного за ним из дворца.

— Извини, что я тебя потревожил, — сказал Николай, когда Василий Андреевич вошел в его кабинет.

Кто-кто, а Николай прекрасно понимал, что о его «внимании» к поэту, который не сегодня-завтра умрет, станет сразу известно всему городу: царю уже донесли, что в городе только о Пушкине и говорят. Такого случая царь упустить не мог: когда Жуковский рассказал, как мужественно Пушкин переносит страдания, Николай изобразил на своем лице скорбь и сказал:

— Он исповедался и причастился, скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга. О жене и детях пусть не беспокоится, я их беру на свое попечение. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги, ты после их сам рассмотришь.

Василий Андреевич приказал кучеру гнать что было мочи: ему хотелось поскорее сообщить умирающему, чтоб не волновался о семье.

Весть о том, что Пушкин умирает, распространилась по городу, и набережная перед домом Волконского была запружена народом. Люди терпеливо ждали известий, некоторые заходили в сени, чтобы справиться о его здоровье. Лица их были печальны, у многих на ресницах застыли слезы. Жуковский видел искреннее горе, не в силах сдержаться, он зарыдал и некоторое время стоял на лестнице: у него не было сил подняться по ступенькам. Василий Андреевич написал на листочке бумаги, каково самочувствие раненого, и вывесил этот лист на виду:

> «Первая половина ночи беспокойна, последняя лучше. Новых угрожающих припадков нет, но также нет и еще быть не может облегчения»[10].

Василий Андреевич не понимал, чем объяснить жестокость Арендта и Шольца, которые не сочли нужным скрыть от Пушкина, что рана его смертельна. Поэтому Жуковского обрадовал приход Владимира Ивановича Даля, опытного армейского лекаря, одного из лучших учеников Иоганна Мойера. Даль появился в кабинете Пушкина около двух часов дня 28 января; с этой минуты он не отходил от больного. Незадолго до прихода Даля Александру Сергеевичу дали опиум, и состояние его улучшилось настолько, что у нового врача появилась надежда на выздоровление. Пушкин, чрезвычайно чуткий и внимательный, моментально заметил это.

— Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?

— Мы за тебя надеемся, право, надеемся.

— Ну, спасибо.

Ему на некоторое время действительно стало лучше. Но к вечеру начала подниматься температура, ухудшилось общее

состояние больного. Даль знал, что это значит: воспалительный процесс, воспаление брюшины.

В ночь с 28 на 29 января Жуковский, Вяземский и Виельгорский разместились в ближайшей к кабинету Пушкина комнате, а с Александром Сергеевичем остался Даль. Всю ночь раненый продержал Даля за руку, был тих и послушен, как ребенок. Иногда его одолевала предсмертная тоска, иногда, не в силах терпеть боль, он стонал. Надвигался конец, и оба они — больной и доктор — понимали это.

Ночь прошла спокойно, у Жуковского появилась надежда. В пять часов утра он поехал домой, чтобы немного поспать. Но едва Василий Андреевич лег, его охватило беспокойство, и вскоре он отправился обратно на набережную Мойки. За два часа, что его не было, раненому стало хуже. Пришедший утром Арендт сказал Жуковскому:

— Этот день он не переживет.

Жуковский был свидетелем прощания Пушкина с женой и детьми. Детей приводили и приносили к нему сонных, все четверо были еще так малы, что ничего не понимали. Потом Пушкин прощался с друзьями. Первым подошел к нему Жуковский. Пушкин протянул ему руку, Жуковский взял ее и с ужасом почувствовал, что она смертельно похолодела. Жуковский хотел что-то сказать, но не мог. Безмолвно прильнул губами к холодной руке друга и с такой болью, с таким отчаянием посмотрел на него, что Пушкин тоже ничего не сказал, только махнул рукой.

Пушкин заметно изменился: лицо его потемнело, виски и щеки ввалились; он лежал с закрытыми глазами, изредка протягивал руку и брал кусочек льда, чтобы потереть лоб.

— Скоро ли конец? — спросил Пушкин у Даля.— Пожалуйста, поскорее...

Дыхание у него было слабое, грудь поднималась едва заметно. Вдруг он широко раскрыл глаза и произнес:

— Кончена жизнь!

От неожиданности Даль переспросил:

— Что кончено?

— Жизнь кончена. Тяжело дышать, давит.

Это были последние слова Александра Сергеевича Пушкина. В мертвой тишине никто не проронил ни звука. Все стояли, боясь шелохнуться. Через несколько секунд Василий Андреевич спросил у Даля:

— Что он?

— Кончилось,— тихо ответил Даль.

Василий Андреевич взял со стола плоские золотые часы Пушкина на длинной цепочке и остановил их. Часы показывали 2 часа 45 минут.

4

Едва Николай Первый узнал о смерти поэта, как сразу же сделал письменное распоряжение Бенкендорфу: «Пушкин умер; я приказал Жуковскому приложить свою печать к его кабинету и предлагаю вам послать Дуббельта к Жуковскому, чтобы он приложил жандармскую печать для большей сохранности. По истечении восьми дней эти два лица могут снимать печати и Жуковский разберет бумаги».

Тридцать первого января 1837 года в двенадцать часов ночи, перед выносом праха в Конюшенную церковь, в последней квартире покойного была совершена лития, отпевание вне церкви.

Явился генерал Дуббельт с двадцатью жандармскими офицерами. Жуковский, Вяземский, Тургенев, Данзас, Даль, Виельгорский, Мещерский вынесли на плечах гроб с телом Пушкина.

Перед тем как заколотили крышку, Василий Андреевич положил в изножье гроба свою перчатку, в знак того, что им еще предстоит встреча в лучшем мире. Петр Андреевич сделал то же самое, бросив свою перчатку в ящик, в который поставили гроб, чтобы везти его к месту погребения в Святогорский монастырь. Об этих действиях Жуковского и Вяземского был сделан донос. «...в этом видели что-то и кому-то враждебное»,— писал в письме брату Николаю Александр Иванович Тургенев, которому было высочайше велено вместе с четырьмя жандармами сопровождать тело Пушкина к Святогорскому монастырю. Выехали в час ночи 4 февраля, Василий Андреевич Жуковский проводил процессию до заставы и вернулся в столицу.

Сравнительно недавно советским исследователям удалось установить, что Василий Андреевич организовал кампанию по сбору материалов об убитом, он же ее и возглавил.

Жуковский и Даль описали последние дни Александра Сергеевича Пушкина. Василий Андреевич — в письме к отцу поэта, Владимир Иванович—в большой статье, опубликованной в «Медицинской газете».

Василий Андреевич смог взяться за перо лишь спустя несколько дней после похорон. Другого такого документа нет.

Жуковский прекрасно понимал, что письмо его нужно не только Сергею Львовичу Пушкину и не только современникам. Начав с обращения к убитому горем отцу, он пишет подробно, не пропуская ничего, что имело отношение к последним дням Пушкина.

Основная мысль выражена предельно ясно: «Россия лишилась своего любимого национального поэта».

Однако письмо Василия Андреевича отцу Пушкина требует комментария: в письме Жуковский пытается создать иллюзию примирения умирающего поэта с царем. Это было необходимо: Жуковский знал, что враги Пушкина попытаются уничтожить его архив.

Это не были необоснованные страхи.

5

Шестого февраля 1837 года Бенкендорф писал Жуковскому: «...бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, должны быть доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в Вашем присутствии».

Те, кто готов был сжечь рукописи Пушкина, отлично понимали, что Жуковский, которому поручен разбор бумаг поэта, сделает все, чтобы спасти их для потомства. Слух, что Василий Андреевич похитил несколько пакетов с рукописями, исходил из салонов петербургской аристократии.

В Третье отделение поступил донос на Жуковского: стало известно, что Жуковскому пришлось предпринять какие-то чрезвычайные меры, а какие именно, оно не знало.

Бенкендорф доложил царю, что Жуковский похитил часть манускриптов, спрятал их. Тогда Николай назначил в помощники Василию Андреевичу жандармского генерала Дуббельта. Жуковский был в отчаянии. В его записях о смерти Пушкина есть слова: «Протестую. Донос на меня. Что буду делать с ма-

нускриптами?» Ему не удалось избавиться от своего помощника в голубом мундире. 7 февраля кабинет Пушкина был вскрыт, все бумаги перевезены на квартиру Жуковского. Комнату, в которой они были сложены, снова запечатали обеими печатями.

Разбор бумаг производил Жуковский, Дуббельт внимательно за ним следил. Чтение бумаг убитого друга и само по себе было тяжело для Василия Андреевича. Присутствие Дуббельта сделало эту процедуру еще более тягостной. Внешне генерал был чрезвычайно спокоен и корректен, но в его лице — бледном, худом, с рытвинами на лбу и на щеках, с большими усталыми глазами и длинными усами,— было что-то хищное, настороженное.

Василий Андреевич не был близко знаком с Дуббельтом. В обществе ходили слухи о романтическом происхождении генерала: его отец русский дворянин Дуббельт похитил дочь испанского короля династии Медины-Челли, и она стала матерью будущего генерала. Рассказывали также, что генерал часто бьет доносчиков по щекам за клевету, а расплачиваясь с тайными агентами, всегда дает им сумму, кратную трем: в память о тридцати сребрениках, полученных Иудой.

В первые дни Жуковский распределил бумаги Пушкина на тридцать шесть разрядов: рукописи, письма, дневниковые заметки, неопубликованные произведения... Затем вместе с Дуббельтом Василий Андреевич составил подробную опись бумаг, входивших в каждый разряд.

Опись была доставлена царю, и он внимательно ее изучил. Себе царь потребовал два тома записей о жизни и смерти Екатерины Второй (интимные подробности биографии своей бабушки и ее многочисленных фаворитов Николай считал сугубо секретными материалами). Некоторое количество чужих рукописей, попавших в бумаги убитого, были возвращены по принадлежности. Остальные бумаги по распоряжению царя остались у Жуковского.

Архив Пушкина был спасен!

Василию Андреевичу пришлось пойти на подлог: он переиначил заключительные строки пушкинского «Памятника», смягчив их бунтарское звучание.

6

Семнадцатого февраля в дневнике Александра Ивановича Тургенева появилась запись: «Жуковский о шпионах. О 3—5 пакетах, вынесенных из кабинета П(ушкина) Жуковским. Подозрения. Графиня Нессельроде».

Иными словами, Василий Андреевич Жуковский не сомневался, что донос на него сделала супруга министра иностранных дел графиня Нессельроде.

До нас дошел интереснейший документ: письмо Жуковского генералу Бенкендорфу. До сих пор точно не установлено, отправил ли Василий Андреевич его адресату. В этом письме рассказана драма Пушкина, оно полно гнева и боли, а подчеркивание политической благонадежности Пушкина — лишнее доказательство опасности, которая грозила рукописям поэта. Письмо огромное, приводим его в сокращенном виде:

Жуковский — Бенкендорфу

(февраль—март 1837, Петербург).

«Но я услышал от генерала Дуббельта, что ваше сиятельство получили известие о похищении трех пакетов от лица доверенного (de haute volée)". Я тотчас догадался, в чем дело. Это доверенное лицо могло подсмотреть за мною только в гостиной, а не в передней, в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где бы мне трудно было действовать без свидетелей. В гостиной же точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять; жаль только, что неизвестное мне доверенное лицо не подумало если не объясниться со мной лично, что, конечно, не в его роли, то хотя бы для себя узнать какие-нибудь подробности, а поспешило так жадно убедиться в похищении и обрадовалось случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность насчет моей чести и своей совести. Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене, которые она сама вызвалась дать мне прочитать; я их привел в порядок, сшил в тетради и возвратил ей. Пакетов же, к счастию, не разорвал, и они могут теперь служить убедительными свидетелями всего сказанного мною. Само по себе разумеется, что такие письма, мне вверенные, не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть. Впрочем, и представлять было бы не нужно: все они были читаны, в чем убеди-

ло меня и то, что между ними нашлось именно то письмо, из которого за год пред тем некоторые места были представлены государю императору и навлекли на Пушкина гнев его величества, потому что в отдельности своей представляли совсем не тот смысл, какой имели в самом письме в совокупности с целым. Этот случай мне особенно памятен, потому что мне была показана вашим сиятельством эта выписка; я тогда объяснил ее наугад и теперь, по прочтении самого письма, вижу, что моя догадка меня не обманула... В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано под тем видом, что он служил, в действительности потому, что не верили. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его «Петр Великий», его поэмы, его произведения, коими бы ознаменовалось нынешнее славное время? Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь император назвал себя его цензором. Милость великая, особенно драгоценная потому, что в ней обнаруживалось все личное благоволение к нему государя. Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Легко ли было ему беспокоить государя всякою мелочью, написанною им для помещения в каком-нибудь журнале? На многое, замеченное государем, не имел он возможности делать объяснений; до того ли государю, чтобы их выслушивать? И мог ли вскоре решиться на то Пушкин? А если какие-нибудь мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе (разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в вину, в этом виделись непослушание и буйство, ваше сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры, а вина его состояла или в том, что он с такою мелочью не счел нужным идти к государю и отдавал ее просто на суд общей для всех цензуры (которая, конечно, к нему не была благосклоннее, нежели к другим), или в том, что стихи, ходившие по рукам в рукописи, были напечатаны без его ведома, но также с одобрения цензуры (как то случилось с этими несчаст-

ными стихами к Лукуллу, за которые не одни вы, но и все друзья его жестоко ему упрекали). Замечу здесь, однако, что злонамереннее этих стихов к Лукуллу он не написал ничего, с тех пор как государь император так благотворно обратил на него свое внимание. Зато весьма часто ему было приписываемо чужое, как бы оно, впрочем, ни было нелепо. Но что же эти стихи к Лукуллу? Злая эпиграмма на лицо, даже не пасквиль, ибо здесь нет имени. Пушкин хотел отомстить ею за какое-то личное оскорбление; не оправдываю его нравственности, но тут еще нет ничего возмутительного противу правительства. И какое дело правительству до эпиграммы на лица? Даже и для того, кто оскорблен такою эпиграммою, всего благоразумнее не узнавать себя в ней. Острота ума не есть государственное преступление. Могу указать на многих окружающих государя императора и заслуживающих его доверенность, которые не скупятся на эпиграммы; правда, эти эпиграммы без рифм и не писаные, но зато они повторяются в обществе словесно (на что уже нет никакой цензуры) и именно оттого врезываются глубже в память. Наконец, в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его не позволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя. Все позволяли себе его, оно есть дело семейное, то же, что разговор, что переписка. Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить, располагать своим временем и прочее. Такого рода запрещения вредны потому именно, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть не могут.

Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запрещений? Не должен ли был он необходимо, с тою пылкостию, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец, прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее? Вы называете его и теперь демагогическим писателем. По каким же его произведениям даете вы ему такое имя? По старым или по новым? И какие произведения его знаете вы, кроме тех, на кои указывала вам полиция и некоторые из литературных врагов, клеветавших на него тайно? Ведь вы не имеете времени зани-

маться русскою литературою и должны в этом случае полагаться на мнение других? А истинно то, что Пушкин никогда не бывал демагогическим писателем. Если по старым, ходившим только в рукописях, то они все относятся ко времени до 1826 года; это просто грехи молодости, сначала необузданной, потом раздраженной заслуженным несчастием. Но демагогического, то есть написанного с намерением волновать общество, ничего не было между ими и тогда. Заговорщики против Александра пользовались, может быть, некоторыми вольными стихами Пушкина, но в их смысле (в смысле бунта) он не написал ничего, и они ему были чужды. Это, однако, не помешало (без всяких доказательств) причислить его к героям 14 декабря и назвать его замышлявшим на жизнь Александра. За его напечатанные же сочинения и в особенности за его новые, написанные под благотворным влиянием нынешнего государя, его уже никак нельзя назвать демагогом. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу. Что же касается до политических мнений, которые имел он в последнее время, то смею спросить ваше сиятельство, благоволили ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических? Правда и то, что вы на своем месте осуждены думать, что с вами не может быть никакой искренности, вы осуждены видеть притворство в том мнении, которое излагает вам человек, против которого поднято ваше предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить вам (о нем) другие. Одним словом, вместо оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков. Я сообщу вашему сиятельству в немногих словах политические мнения Пушкина, хотя наперед знаю, что и мне вы не поверите, ибо и я имею несчастие принадлежать к тем оригиналам, которые известны вам по одним лишь ошибочным переводам. *ПЕРВОЕ*. Я уже не один раз слышал и от многих, что Пушкин в государе любил одного Николая, а не русского императора и что ему для России надобно было совсем иное. Уверяю вас напротив, что Пушкин (здесь говорится о том, чтó он был в последние свои годы) — решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чаадаеву).

ВТОРОЕ. Пушкин был решительным противником *свободы книгопечатания* и в этом он даже доходил до излишества, ибо полагал, что свобода книгопечатания вредна и в Англии. Разумеется, что он в то же время утверждал, что цензура должна быть строга, но беспристрастна, что она, служа защитою обществу от писателей, должна и писателя защищать от всякого произвола. *ТРЕТЬЕ.* Пушкин был враг Июльской революции. По убеждению своему он был карлист; он признавал короля Филиппа необходимою гарантиею спокойствия Европы, но права его опровергал и непотрясаемость законного наследия короны считал главнейшею опорою гражданского порядка. Наконец, *ЧЕТВЕРТОЕ.* Он был самый жаркий враг революции польской и в этом отношении, как русский, был почти фанатиком. Таковы были главные, коренные политические убеждения Пушкина, из коих все другие выходили как отрасли. Они были известны мне и всем его ближним из наших частых, непринужденных разговоров. Вам же они быть известными не могли, ибо вы с ним никогда об этих материях не говорили; да вы бы ему и не поверили, ибо, опять скажу, ваше положение таково, что вам нельзя верить никому из тех, кому бы ваша вера была вниманием, и что вы принуждены насчет других верить именно тем, кои недостойны вашей веры, то есть доносчикам, которые нашу честь и наше спокойствие продают за деньги или за кредит, или светским болтунам, ...Но здесь жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут дивиться, что общее чувство при таком трагическом происшествии вспыхнуло сильно. Напротив, надлежало бы удивиться, когда бы это сильное чувство не вспыхнуло и если бы в обществе равнодушно приняли такую внезапную потерю и не было бы такое равнодушие оскорбительно для чувства народности. Прибавить надобно к этому и то, что обстоятельста, предшествовавшие кровавой развязке, были всем известны, знали, какими низкими средствами старались раздражить и осрамить Пушкина; анонимные письма были многими читаны и об них вспомнили с негодованием. Итак, нужно ли было кому-нибудь особенно заботиться о том, чтобы произвести в обществе то впечатление, которое неминуемо в нем произойти долженствовало? Разве дуэль была тайною? Разве обстоятельства его были тайною? Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же дивиться, что все ужаснулись, что все были опечалены и все оскорбились? Какие же тайные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления?

Весьма естественно, что, после того как распространилась в городе весть о погибели Пушкина, поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему как к любимому русскому поэту оживился безвременною трагическою смертию (в этом чувстве нет ничего враждебного; оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо изъявляет, что она дорожит своею славою); весьма естественно, что этот энтузиазм, смотря по разным характерам, выражался различно, в одних с благоразумием умеренности, в других с излишнею пылкостию; в других, и, вероятно, во многих, было соединено с негодованием против убийцы Пушкина, может быть, и с выражением мщения. Все это в порядке вещей, и тут еще нет ничего возмутительного. Не знаю, что в это время говорилось и делалось в обществе (ибо и я и прочие обвиненные друзья Пушкина были слишком заняты им самим, его страданиями, его смертию, его семейством, чтобы заботиться о толках в обществе, и еще менее о том, как бы производить эти толки), но по слухам, дошедшим до меня после, полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и проч.), что Геккерну угрожают; вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского, Пушкина? Вероятно, что иные толковали между собою, как бы хорошо было его побить, разбить стекла в его доме и тому подобное; вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки, и что его испуганное воображение их преувеличивало, и что он сообщил свои опасения и требовал защиты. С другой стороны, вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как бы хорошо было изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками; многие, вероятно, говорили, как бы хорошо отпречь лошадей от гроба и довезти его на руках до церкви; другие, может быть, толковали, как бы хорошо произнести над ним речь и в этой речи поразить его убийцу, и прочее и прочее. Все подобные толки суть естественное следствие подобного происшествия; его необходимый, неизбежный отголосок. Блюстительная полиция была обязана обратить на них внимание и взять свои меры, но взять их без всякого изъявления опасения, ибо и опасности не было никакой. До сих пор все в порядке вещей. Но здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политическою целию и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны бы были иметь особенную натуру, чтобы, в то время

как их душа была наполнена глубокою скорбию, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов, с какою-то целию, которой никаким рассудком постигнуто быть не может. Раз допустивши нелепую идею, что заговор существует и что заговорщики суть друзья Пушкина, следствия этой идеи сами собою должны были из нее излиться. <...> Как бы то ни было, но все до сих пор в обыкновенном порядке. Вдруг полиция догадывается, что должен существовать заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадей отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от Университета, что над гробом будут говорены речи (обо всем этом узнал я уже после по слухам). Что же надлежало бы сделать полиции, если бы и действительно она могла предвидеть что-нибудь подобное? Взять с большею бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком обыкновенном погребении, а не признаваться перед целым обществом, что правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом не производить самой того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело».

Вскоре после написания этого письма барон Геккерн сообщил министру иностранных дел Голландии Верстолку о том, что петербургское общество разделилось на две партии: одна стоит за Пушкина, другая за Дантеса, и Жуковский является истинным главой первой партии, «проницательным и ловким, не совершающим ничего, что бы могло его скомпрометировать».

Такова была поистине поразительная осведомленность иностранцев о том, что происходило в канцелярии Бенкендорфа.

У биографа Жуковского академика Веселовского были все основания для следующего вывода: «Заступничество за декаб-

ристов, переписка с гр. Бенкендорфом о литературном наследии А. Пушкина и пересмотре оставшейся после него корреспонденции служит свидетельством, что Жуковский был способен на гражданский подвиг».

В письме Ивану Ивановичу Дмитриеву Жуковский говорит:

«Память Пушкина должна быть и всегда будет дорога отечеству. Как бы много он сделал, если бы судьба ему вынула не такой тяжелый жребий и если бы она не вздумала после мучительной жизни (тем более мучительной, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные) вдруг ее разрушить. Наши врали-журналисты, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел как художник и все шел в гору как человек, и поэзия мужала с ним вместе. Но мелочи ежедневной, обыкновенной жизни: они его убили.

12 марта 1837 .»

Жуковский взял на себя все хлопоты по изданию посмертного собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина. В марте Василий Андреевич представил царю ходатайство об издании сочинений Пушкина с включением неопубликованных произведений в стихах и прозе. Николая Первого это насторожило. На ходатайство Жуковского он положил резолюцию: «Согласен, но с условием выпустить все, что не прилично, из читанного мной в «Борисе Годунове» и строжайшего разбора еще не изданных сочинений». В 1838 году вышли в свет восемь томов, а через три года — еще три добавочных тома.

Дотошные придирки царя в свое время заставили Пушкина вовсе отказаться от опубликования «Медного всадника» (при жизни автора был опубликован лишь отрывок из вступления). Василий Андреевич стоял перед дилеммой: или в соответствии с требованиями Николая Первого внести поправки и опубликовать поэму, или оставить ее неопубликованной, скрыть от соотечественников. Он избрал первое. В рукописи Жуковский не уничтожал пушкинского текста, знал, что придет время, когда можно будет издать поэму без его поправок, и не ошибся: после революции «Медный всадник» был издан в том виде, в каком написал его Пушкин.

Приблизительно в это же время вышло и собрание сочинений Жуковского. Оно появилось в 1837 году в Петербурге. Это

было четвертое издание сочинений Жуковского в стихах и прозе в восьми томах.

После смерти Пушкина Жуковский заметно сдал. До январских событий он был все тот же нестареющий юноша, а в феврале почувствовал себя таким старым, словно ему было не пятьдесят четыре, а за семьдесят. С великим трудом, распахнув шинель и поминутно останавливаясь, он взбирался в свою квартиру.

7

Вскоре после гибели Пушкина Жуковскому пришлось вступиться за нового великого русского поэта.

Михаил Юрьевич Лермонтов написал элегию «На смерть поэта» через один-два дня после кончины Пушкина. И уже 2 февраля ее читали у Жуковского. Василий Андреевич был потрясен стихотворением; все близкие друзья Пушкина нашли стихи превосходными.

Второго февраля 1837 года Александр Иванович Тургенев записал в своем дневнике: «К Жуковскому... Стихи Лермонтова прекрасные».

Друзья Пушкина переписывали элегию Лермонтова и усиленно ее распространяли. 10 февраля Лермонтов написал заключительную строфу своего произведения, обращенную непосредственно к убийцам Пушкина. Стихотворение приобрело ярко выраженную политическую окраску, недаром оно было направлено анонимным автором царю по городской почте с заголовком: «Воззвание к революции».

Генералу Бенкендорфу преподнесли «возмутительное сочинение» гусара Лермонтова на одном из великосветских балов. Возникло дело военного министерства:

> «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении оных губ. секретарем Раевским».

На докладной записке Бенкендорфа царю появилась «высочайшая» резолюция, столь красноречивая, что ее хочется воспроизвести полностью.

«Приятные стихи, нечего сказать. Я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого

господина и удостовериться, не помешан ли он, а затем мы поступим с ним согласно закону».

Для нового гениального поэта России дело, возбужденное против него высшими сановниками империи, закончилось ссылкой на Кавказ.

Жуковский высоко ценил талант Лермонтова, именно поэтому он вступился за него со всей энергией, на какую был способен, когда надо было выручать из беды несправедливо осужденных.

* * *

Двадцать пятого апреля 1838 года Василий Андреевич послал в подарок поэтессе Евдокии Петровне Растопчиной альбом для стихов, принадлежавший Пушкину. Первые страницы этого альбома Жуковский заполнил короткими гекзаметрическими стихами и в заключение написал о Пушкине, каким он его видел на смертном одре:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив; голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось в нем — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним; и спросить мне хотелось: что видишь?

* * *

Со смертью Пушкина кончилась лучшая пора жизни Жуковского. Василий Андреевич любил его как сына, спасал как сына и оплакивал как сына...

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ

Сколько ненужных хлопот от глупого распоряжения.

В. А. Жуковский. Дневник

1

Василий Андреевич предложил организовать путешествие великого князя по России, чтобы будущий царь ознакомился со своей страной и своим народом. Предложение было принято, и Жуковскому поручили составить путеуказатель, то есть маршрут.

Маршрут этот был составлен так, что захватил несколько городов, в которых отбывали наказание «государственные преступники», декабристы. Вот для чего Жуковскому понадобились фразы о «своем» народе: он специально включил в маршрут города, где находились декабристы.

План Жуковского прост — показать наследнику престола людей, пострадавших за свои убеждения, людей, вынужденных жить в изгнании, и, пользуясь тем, что молодой человек будет тронут их бедственным положением, вырвать у Николая Первого хотя бы незначительное облегчение участи декабристов. Василий Андреевич понимал, что на амнистию рассчитывать не приходится. Действительно, при жизни Николая Первого нечего было и мечтать о помиловании участников восстания 14 декабря,— но даже и небольшие льготы осужденным представлялись ему великим благом. И он предпринял грандиозный, долгое время остававшийся неразгаданным план.

2

Путешествие началось 2 мая 1837 года. Из Царского Села выехали в огромных дормезах, ехали быстро, 3-го были уже в Новгороде. И замелькали города: Углич, Рыбинск, Суздаль,

Вятка, Глазов, Ижевск, Пермь. В Вятке Жуковский встретил сосланного сюда Александра Ивановича Герцена, и это счастливое обстоятельство послужило причиной изменения участи Герцена: Василий Андреевич обещал добиться для него смягчения наказания, и сдержал слово.



А. И. Герцен.

Приехав в Курган, куда после отбытия каторги было сослано тринадцать декабристов, Василий Андреевич познакомился с некоторыми из них: Николаем Ивановичем Лорером, Александром Федоровичем фон дер Бриггеном, Владимиром Николаевичем Лихаревым, Михаилом Александровичем Назимовым, Иваном Федоровичем Фохтом.

Жуковский подробно описывал царице все путешествие. По этим письмам видно, как он стремился использовать ее влияние, чтобы помочь декабристам. Он писал царице: «Ни одного из встреченных мною в Кургане я не знал прежде, но свидание со мною было им отрадою, правда, минутною. И, простясь с ними, я живо почувствовал, что такое изгнание. Мы исчезли для них как тени. На один миг явилась перед ними Россия, и родные, и погибшее прошлое, и осталось от всего безнадежное будущее. А их дети, оставленные в России или родившиеся в изгнании; а их родные, для которых давно совершившееся бедствие не состарилось, а свежо и живо, как в первую минуту! И всему этому будет исцелением одно минутное появление царского сына, которое осветит и дальние края посещенной им Сибири!..»

В Ялуторовске жили декабристы, к которым у Жуковского были письма от родных, но случилось так, что Василий Андреевич отстал и сумел догнать своих попутчиков лишь в тот момент, когда они уже выезжали из города. Он не остановился, и потом очень жалел об этом: не повидался с людьми, которых ему так хотелось увидеть! В Ялуторовске жили — Иван Дмитриевич Якушкин, Матвей Иванович Муравьев-Апостол и Алексей Иванович Черкасов, тот самый Алексей Черкасов, которого

он знал с давних пор. Василий Андреевич устраивал молодого человека в Педагогический институт, был о нем высокого мнения, писал ему прекрасные стихи:

Чтоб ни случилось здесь, все будет путь твой ясен!

Теперь Жуковскому пришлось передавать письма от родных через тюменского городничего, который дал слово, что незамедлительно выполнит поручение, но Василий Андреевич все равно упрекал себя за свою нерасторопность.

Дормезы двигались по наезженной дороге быстро, и скорость передвижения путешественников заставила Жуковского действовать не откладывая. Вначале после разговора с Василием Андреевичем и несомненно под его влиянием обратился к царю наследник, прося о помиловании тех «государственных преступников», которые виноваты менее других. Затем, якобы после того, как он узнал о ходатайстве великого князя, с письмом к Николаю обратился и тот, который подстроил весь этот маршрут с посещением мест, куда были сосланы декабристы. Быть может, Жуковский по своей наивности полагал, что царь не догадается, как все это произошло. Он ошибся. Тем не менее внешне были соблюдены все приличия: Жуковский писал царю после великого князя.

Жуковский — Николаю Первому

8 июня 1837 г.
Златоуст.

Великий князь покинул Сибирь, которую обрадовало несказанно его минутное присутствие. Этот случай побуждает меня повергнуть к стопам вашего в[еличест]ва некоторые мысли, которые давно таились в душе моей, но теперь с новою живостию в ней пробудились.

Внутренний голос говорит мне, что я должен их сообщить вам, что я погрешу перед вами, перед в[еликим] к[нязем] и перед собою, если этого не сделаю. Я повинуюсь этому влечению в полной уверенности, что вы, государь, оправдаете мое намерение и в таком случае, когда не согласитесь со мною. <...>

Скажу то слово, которое хотел уже сказать вам, с верою в вашу высокую душу, в день совершеннолетия наследника и которое теперь еще приличнее сказать, ибо обстоятельства

благоприятствуют и некоторым образом вызывают из души моей это слово. Государь, даруйте всепрощение несчастным, осужденным и достойно наказанным по заговору 1825 года...

Какой новый блеск получите вы в глазах всей России! Другой подобной минуты не будет».

Всепрощения, то есть амнистии всем декабристам не было. Но усилия Василия Андреевича не пропали даром: в указе правительствующему сенату от 22 июля 1837 года император Николай Первый писал: «Вняв ходатайству любезнейшего сына нашего, наследника нашего престола, цесаревича и великого князя Александра Николаевича, мы признали за благо оказать некоторые облегчения и милости тем из находящихся в Сибири ссыльным, кои хотя и зачернили себя заблуждениями и преступлением, но ныне поведением своим заслуживают, чтобы на них было обращено действие нашего милосердия».

Некоторое уменьшение срока ссылки, перевод на поселение — вот и все хваленые царские «милости», но, поскольку даже эти куцые меры все же принесли некоторое облегчение декабристам — Жуковскому это доставило много счастливых минут.

Ответ от царя на письмо наследника был получен путешественниками 23 июня 1837 года на дороге между Буинском и Симбирском. «Такие минуты, конечно, припадлежат к лучшим в жизни»,— записал Жуковский на следующий день.

Надо сказать, что никакие неприятности не изменили настроения Жуковского, наоборот, они укрепили его уверенность в том, что он избрал правильный способ действий. Царский гнев лишь подтвердил, кого Николай считал «виновником» смягчения участи декабристов.

Самый факт некоторого ослабления наказания «государственных преступников» послужил поворотным пунктом путешествия, которое было утомительным для Жуковского. Миновали Уральск, Бузулук, Бугульму, Чистополь, Казань, Саратов, Тамбов. Если в начале путешествия Василий Андреевич спокойно отмечает в своем дневнике о приветствиях жителей городов: «Те же сцены crescendo», то теперь это бесконечное крещендо уже до такой степени измучило путников, что они только и отдыхали, когда их огромные экипажи ехали вдали от населенных пунктов. Грустно было смотреть на бедно одетых, забитых крестьян, согнанных к дорогам, по которым ехал наследник. «...сколько ненужных хлопот от глупого распоряжения»,— пе-



А. В. Кольцов.

чально констатирует Василий Андреевич Жуковский в середине путешествия.

В Воронеже Василий Андреевич встретил талантливого молодого поэта, с которым познакомился за год до путешествия. Это был сын местного прасола, торговца скотом, замечательный поэт Алексей Васильевич Кольцов. В день приезда Жуковский в разговоре с губернатором выразил желание разыскать Кольцова, чтобы поговорить с ним. Губернатор послал за поэтом жандарма, который произвел переполох в доме Кольцовых, заявив, что их сына требует к себе его превосходительство.

Чтобы исправить положение, Василий Андреевич вызвался нанести визит старику Кольцову, человеку грубому и деспотичному, весьма недовольному литературными занятиями сына. Жуковский пил чай у Кольцовых, хвалил талант Алексея Васильевича, прогуливался на виду всего губернского города пешком и в карете с поэтом, которого местное общество почти не знало.

На следующий день после официального посещения местной гимназии Жуковский приехал в это учебное заведение, чтобы поговорить с преподавателями и гимназистами. Он выступил перед ними с речью об общественном положении Алексея Васильевича Кольцова, о его стремлении к самообразованию.

Жуковский просил воронежских педагогов, как людей просвещенных, сблизиться с Кольцовым. А Кольцову на прощание посоветовал использовать разъезды по делам отца для сбора сказок, легенд и народных песен.

«Едва ли ангел имеет столько доброты в душе, сколько Василий Андреевич: он меня удивил до безумия... Не только кой-какие купцы, даже батька не верил кое-чему, теперь уверились... Ничего, слава богу! <...>Словом, мне теперь жить и с горем стало теплей дюже»,— писал Алексей Васильевич Кольцов о приезде Жуковского.

Шестого июля Жуковский записал в своем дневнике: «Три Александровские ленты. Мне пощечина». Это был гнев Николая Первого на Василия Андреевича. В данной ситуации Николай не мог найти другого способа дать понять поэту, что он им недоволен. Царь праздновал двадцатилетие своей свадьбы, все, даже простые служители, получили награды. А. А. Кавелин, который тоже являлся воспитателем наследника, был удостоен ордена Александра Невского, обошли наградой только Жуковского. Это был ответ на просьбу о помиловании декабристов и отчасти на откровенные высказывания Жуковского о грубости наследника престола.

Жуковский слишком часто вызывал недовольство коронованных особ, люди сведущие понимали, что еще одно-два нежелательных высказывания — и от поэта постараются как-нибудь отделаться.

Нельзя сказать, что Жуковский горевал оттого, что его обошли орденом. Он был удивлен более, чем раздосадован: его поразила мелочная мстительность царя.

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, поэт углублялся в чтение,— добро догадался запастись книгами на дорогу. Вскоре за окном замелькали поля и леса родной среднерусской полосы, и он перестал и думать о «мелких уколах судьбы».

Приезд в Тулу взволновал Василия Андреевича. Он встал в пять часов и пошел бродить по улицам города.

А в среду, 14 июля Жуковский записал:

«Пребывание в Белеве. Поутру визит городничему, голове и предводителю. Потом у меня представление всех белевских властей. Мой Максим в стороне и с шестью сыновьями. Объезд города. Поездка в Мишенское. Вырубленный лес по большой дороге. Мельница близ деревни. Олешняк и вся гора облезли. Двор, и дом, и пруд, и деревня, но прежнего нет. На месте старой садовой рощи — молодая.

15. Поездка в Долбино. Поутру рисовал в Белеве.

16. Поездка в Володьково. Поутру рано ездил в Мишенское и рисовал.

17. Поездка в Петрищево.

18. Пребывание в Петрищеве. Разговор с Елагиной о состоянии уезда. Заседатель Левшин шельма. Природный разбойник. Теплая и светлая ночь».

В конце августа прибыли в Москву. Жуковского особенно радовала встреча с друзьями, он даже забыл дорожную усталость, когда обнял Александра Ивановича Тургенева. Засиде-

лись далеко за полночь, столько нужно было сказать друг другу сокровенного, что не доверишь почте.

Василий Андреевич Жуковский ничего не записал о празднике, который устроили в его честь друзья и почитатели, а праздник был замечательный. Боратынский написал куплеты, предназначенные специально для этого дня.

3

Как и в молодости, Василий Андреевич мог часами беседовать с Авдотьей Петровной. Она не утратила своей веселости, ее все любили, с ее мнением считались, к ней охотно ездили и светские «львы», и люди ученые.

«Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по воскресеньям.

Здесь они встречались и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям»,— писал один из завсегдатаев салона Елагиной, профессор Московского университета Степан Петрович Шевырев.

Жуковский был тут самым желанным гостем: по случаю его приезда в доме Елагиных был праздник. В этот свой приезд Жуковский навестил Петра Яковлевича Чаадаева, судьба которого волновала многих. Год назад Николай Первый объявил Чаадаева сумасшедшим за его знаменитое «Философическое письмо». Авдотья Петровна подробно расспрашивала о нем Жуковского.

— Поверишь ли, Василий Андреевич, ведь никакими силами нельзя его уговорить выехать на время из этого флигеля на Новой Басманной, чтобы сделать там ремонт!

— Да, флигель держится уже не на столбах, а одним духом.

— Как ты нашел Чаадаева?

— Много лучше, чем ожидал. Снятие медицинской опеки вернуло ему силы, и то сказать, от ежедневных визитов лекаря можно было лишиться рассудка. Он принялся писать, это отрадно.

Жуковский отводил душу в беседах с Авдотьей Петровной. Но его ждали служебные обязанности, и, как ни хорошо ему было у Елагиной, надо было продолжать путешествие.

Из Москвы отправились во Владимир, Нижний, Курск, Харьков, Полтаву. В конце лета добрались до Одессы, побывали в Крыму. На обратном пути в Туле, в трактире Василий Андреевич вдруг увидел некролог: «Московские ведомости» сообщали о кончине одного из его ближайших друзей — Ивана Ивановича Дмитриева. Жуковский разрыдался...

Из Тосны заметили зарево пожара над Петербургом: горел Зимний дворец. Путешествие продолжалось более семи месяцев: когда приехали наконец в заснеженную декабрьскую столицу, отмахав двадцать тысяч верст, Жуковский почувствовал такую усталость, что еле добрался к себе на «чердак», который чудом уцелел от пожара.



П. Я. Чаадаев.

Грустное это было возвращение. Грустное потому, что, как ни велика была у Василия Андреевича склонность все идеализировать, он вдруг словно прозрел, и перед ним открылась страна, погруженная в такое невежество, нищету и варварство, что ему хотелось плакать, когда он думал обо всем увиденном. Россия... бесконечно дорогие, родные лица... Какая сила в этих людях, как велика их привязанность к родине, сколько бескорыстия, доброты и щедрости в душе. Они словно не замечали убогой обстановки, их окружавшей, они умели довольствоваться немногим и радовались жизни. А в минуту общей опасности кто еще так мало думал о собственном благополучии и готов был отдать жизнь за свою страну, как русский? Кто еще мог так легко отречься от всех земных благ ради отчизны? Кто еще был так уверен в будущем счастье своей страны? — и в этом залог великих свершений и великой исторической миссии русского народа.

Будучи человеком верующим, Василий Андреевич Жуковский придавал большое значение религии. Но, подобно большинству своих современников, Жуковский был далек от сурового религиозного мистицизма и на вопрос: что такое вера? —


Ф. Н. Глинка.

отвечал — опыт сердца. Он до конца жизни уповал на идеального монарха. Но он верил в величие грядущих свершений своего народа, и это главное. В этом он не ошибся.

В конце 1837 года произошло одно отрадное событие: по личной просьбе Василия Андреевича Жуковского был переведен из далекой Вятки двадцатипятилетний Александр Иванович Герцен. Он был переведен во Владимир и спустя некоторое время получил свободу. Николай Первый впоследствии говорил, что он «этого Жуковскому никогда не простит».

4

Один из членов тайных обществ декабристов поэт, драматург и прозаик Федор Николаевич Глинка, после заключения в Петропавловскую крепость был сослан в Олонецкую губернию. Василию Андреевичу удалось несколько смягчить его участь: сначала Глинку перевели в Петрозаводск, затем в Тверь и Орел. «Как мне благодарить благороднейшего Василия Андреевича (Жуковского) за деятельность по освобождению бедной души из чистилища!» — писал Глинка своему другу Николаю Ивановичу Гнедичу, а тот не преминул передать выражение благодарности бывшего ссыльного Жуковскому. Василий Андреевич только рукой махнул, не любил он выслушивать благодарственные слова: они всегда его смущали.

Александр Васильевич Никитенко, которому Жуковский помог выкупить из крепостных мать и брата, тоже пришел к Василию Андреевичу со словами горячей благодарности и увидел радостное, но несколько смущенное лицо Жуковского.

— Василий Андреевич, вы облагодетельствовали целое семейство,— начал Никитенко со слезами на глазах.

— Бог с вами, я рад сердечно, что удалось все устроить, но стоит ли об этом говорить.

Василий Андреевич обнял Никитенко, усадил его на диван и перевел разговор на другую тему, чтобы успокоить своего гостя.

5

На вечерах у князя Одоевского собирались почти те же лица, что и у Жуковского. На одной из таких «суббот» в январе 1838 года возникла мысль отпраздновать юбилей баснописца Ивана Андреевича Крылова. Жуковский хорошо знал, что Николай Первый во всех без исключения случаях очень подозрительно относился ко всем затеям писателей, и был весьма удивлен, когда увидел, как охотно царь дал свое согласие. Более того, он заторопил литераторов с юбилеем, хотя никакой «круглой» даты не было: 2(13) февраля Крылову исполнялось шестьдесят девять лет. Но приближалась годовщина со дня гибели Пушкина, именно это и побудило Николая устроить праздник Крылову: он хотел отвлечь общественное мнение юбилейной шумихой.

Василий Андреевич вошел в комитет по проведению юбилея. Друзья Крылова постарались на славу.

Вечером 2 (13) февраля 1838 года ко дворцу Энгельгардта одна за другой подкатывали роскошные кареты: весь высший свет собрался здесь приветствовать баснописца. В большом зале были накрыты столы, гости заняли свои места, и министр народного просвещения граф Уваров произнес тост. Раздался гром аплодисментов, затем слово предоставили Жуковскому. Глядя на прекрасную седую голову своего старого друга, Василий Андреевич сказал:

— Любовь к словесности, входящей в состав благоденствия и славы отечества, соединила нас здесь в эту минуту. Иван Андреевич, мы выражаем эту нам общую любовь, единодушно празднуя день вашего рождения. Наш праздник, на который собрались здесь немногие, есть праздник национальный. Когда бы можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нем участие с тем самым чувством, которое всех нас в эту минуту оживляет, и вы, от нас немногих, услышите голос всех своих современников.

Жуковский сделал паузу и продолжал:

— На празднике нашем недостает двух, которых присутствие было бы украшением и которых потеря еще так свежа в нашем сердце. Один, знаменитый предшественник ваш на избранной вами дороге, недавно кончил прекрасную свою жизнь, достигнув старости глубокой... другой, едва расцветший

и в немногие годы наживший славу народную, вдруг исчез, похищенный у надежд, возбужденных в отечестве его гением.

По залу прошло движение: как он посмел сказать об убийстве Пушкина. Прилично было бы ограничиться лишь упоминанием о кончине Ивана Ивановича Дмитриева, умершего своей смертью. Сановники насупились.

Василий Андреевич знал, что двор будет недоволен. Однако чувство долга перед памятью друга заставило его напомнить об убийстве Пушкина, и он это сделал. Заканчивая свою речь, Жуковский сказал:

— Заключу желанием, которое да исполнит провидение, чтобы вы, патриарх наших писателей, продолжали многие годы наслаждаться цветущей старостью и радовать нас произведениями творческого ума своего, для которого еще не было и никогда не будет старости. Оглядываясь спокойным оком на прошедшее, продолжайте извлекать из него те поэтические уроки мудрости, которыми так давно и так пленительно поучаете вы современников, уроки, которые дойдут до потомства и никогда не потеряют в нем своей силы и свежести, ибо они обратились в народные пословицы; а народные пословицы живут с народами и их переживают.

6

С возрастом усилился консерватизм министра народного просвещения Сергея Семеновича Уварова. Люди, близко его знавшие, говорили, что не было такой подлости, на которую он бы не был способен. Прежние приятели давно отошли от Уварова, друзей у него вообще не осталось,— быть может, поэтому он любил вспоминать о давно прошедших годах, когда в его роскошной петербургской квартире состоялись первые заседания «Арзамаса».

Жуковский, на правах однокашника, и в эти годы иногда продолжал обращаться к министру народного просвещения, и тот ему почти никогда не отказывал. Когда редактор «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» Краевский попросил Жуковского добиться цензурного разрешения на «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтова, Жуковский принялся действовать весьма активно. Произведение Лермонтова было запрещено на том основании, что автор только что сослан на Кавказ за стихи на смерть Пушкина.

Судьба поэта не может влиять на достоинства его произведения, которые весьма велики,— доказывал Жуковский. И министру пришлось разрешить печатание «Песни», правда, без подписи, вместо фамилии автора была оставлена лишь последняя буква «—въ».

«Песня» появилась в 18-м номере «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» за 1838 год, газете, издаваемой Краевским, и была восторженно встречена и читателями и критикой.

Хлопоты Жуковского и бабушки Лермонтова увенчались успехом: им удалось вызволить поэта из ссылки. В первых числах февраля Лермонтов уже был в столице и, разумеется, вскоре по приезде зашел к Василию Андреевичу. Лермонтов рассказал ему о своем новом произведении: «Тамбовской казначейше». Жуковский попросил как можно скорее доставить ему список поэмы. Лермонтов принес.

«Тамбовская казначейша» появилась в «Современнике», который после смерти Пушкина первое время издавался группой его ближайших друзей.

Жуковский внимательно присматривался к Лермонтову. Стоило Лермонтову разговориться, и он моментально преображался: глаза загорались вдохновением, выражение холодной надменности исчезало,— он становился самим собой и горячо, увлеченно рассказывал о том, что его волновало. Жуковский слушал, слегка наклонив голову, временами поднимался и начинал ходить по кабинету. Лишь бой часов или чей-нибудь приход нарушали разговор двух поэтов, Лермонтов откланивался и уходил.

У Василия Андреевича Жуковского никогда не было такой дружбы с Лермонтовым, как с Пушкиным. Но он высоко ценил талант юного поэта, и Лермонтов не мог не чувствовать благодарности к человеку, который принимал столь большое участие в его делах. Лермонтов любил музу Жуковского: еще в пансионе он переписал в тетрадь «Шильонского узника» в его переводе, а на торжественном акте прочел стихотворение Жуковского «Море».

7

Нам представляется возможным проследить связь между одним из ранних стихотворений Жуковского «Опять вы, птички, прилетели» и поэтическим шедевром Лермонтова «Парус».

В своем стихотворении Жуковский жалуется на друга, который его бросил и умчался в дальние края:

Меня оставил он жестокой
И в край безвестный улетел.
Чего искать в стране далекой,
Когда в своей он все нашел!

Лермонтов использовал элегический мотив Жуковского на свой лад. Прелестная строчка стиха Жуковского натолкнула восемнадцатилетнего Лермонтова на мысль написать «Парус».

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Известно, что, прочитав «Дары Терека» Лермонтова, Белинский написал: «Появился третий великий поэт!»

И хотя перечисление это продиктовано хронологией, и третий великий русский поэт оставил первого далеко позади, счет идет от Жуковского. Он был первым...

СЕСТРА ПОЭЗИИ

> Чем ближе к своему образу, к природе, тем прекраснее и совершеннее произведение искусства.
>
> *В. А. Жуковский. Об изящном искусстве*

1

С именем Жуковского связано освобождение из крепостных Тараса Григорьевича Шевченко. Сохранилось письмо Василия Андреевича к графине Юлии Федоровне Барановой, которая помогла Василию Андреевичу устроить благотворительную лотерею для выкупа Шевченко.

Письмо юмористическое, Жуковский слишком скромный человек, чтобы писать о собственных благодеяниях всерьез: шутки ради он называет себя Матвеем. Но в этом письме изложены достоверные факты, кроме того, в нем есть рисунки Жуковского, соответствующие общему шутливому тону послания.

Жуковский — Барановой

(Апрель 1838) Петербург.

Историческое обозрение
благодетельных поступков
Юлии Федоровны
и разных других обстоятельств,
курьезных происшествий,
и особенных всяких штучек.
Сочинение Матвея.

Это г. Шевченко. Он говорит про себя: «Хотелось бы мне написать картину, а господин велит мести горницу». У него в одной руке кисть, а в другой помело, и он в большом затруднении.

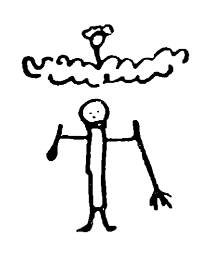


Рис. из письма.

Над ним, в облаках, Юлия Федоровна.

Это Брюллов, пишет портрет с Жуковского. На обоих лавровые венцы. Вдали Шевченко метет горницу. В облаках Юлия Федоровна. Она думает про себя: «Какой этот Матвей красавец». А Василий Андреевич, слыша это, благодарит внутренно Юлию Федоровну и говорит про себя: «Я, пожалуй, готов быть и Максимом, и Демьяном, и Трифоном, только бы нам выкупить Шевченко».— «Не беспокойся, Матюша,— говорит из облаков Юлия Федоровна,— мы выкупим Шевченко». А Шевченко знай себе метет горницу. Но это в последний раз.

Жуковский в виде Судьбы провозглашает выигрышный билет. В одной руке его карта; а в другой отпускная Шевченко. Вдали портрет Жуковского; он пляшет от радости, потому что достался государыне императрице. Он подпер руки в боки и, стоя на одной ноге, подражает неподражаемой Тальони. Шевченко вырос от радости и играет на скрыпке качучу. А Юлия Федоровна из облаков их благословляет.

Юлия Федоровна сошла с облаков, в которых осталось одно только сияние. В ее руке мешок с деньгами (2500 рублей); указательный палец ее устремлен на ездового, и она говорит ему повелительным голосом: «Голубчик ездовой, съезди к Матвею и попроси его ко мне. Я собрала все деньги, и мне хочется их поскорее ему отдать. Поезжай, голубчик, поскорее; ты человек расторопный, и я очень тебя за это люблю. Только прошу тебя, душенька, не напейся пьян дорогою. Это нехорошо. Надобно вести себя порядочно. И какое удовольствие в пьянстве, сам ты рассуди. Кто исполняет свои



Рис. из письма.

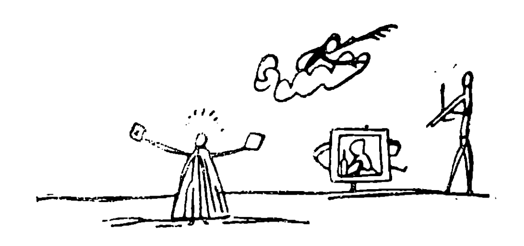


Рис. из письма.

обязанности, тот может назваться истинным патриотом». Вот что говорит Юлия Федоровна, а Жуковский, подслушав это, записывает в записную книжку; и, конечно, уже теперь никогда пьян не будет.

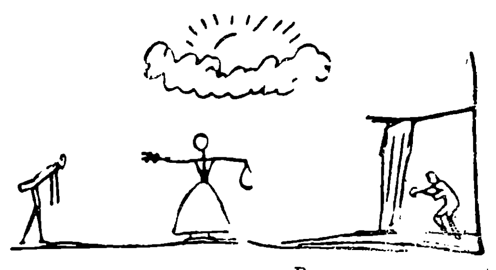


Рис. из письма.

Примечание. Юлия Федоровна оттого так спешит собрать деньги, что Матвей скоро поедет за границу и должен прежде отъезда своего кончить это дело. Удивительная женщина эта Юлия Федоровна. Кто ее не любит? Дай ей господь всякого благополучия, ей самой, ее детям, и внукам, и правнукам. Матвей обещает с одною из ее правнучек проплясать за здоровье ее качучу.

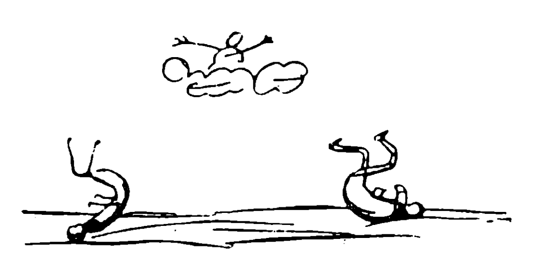


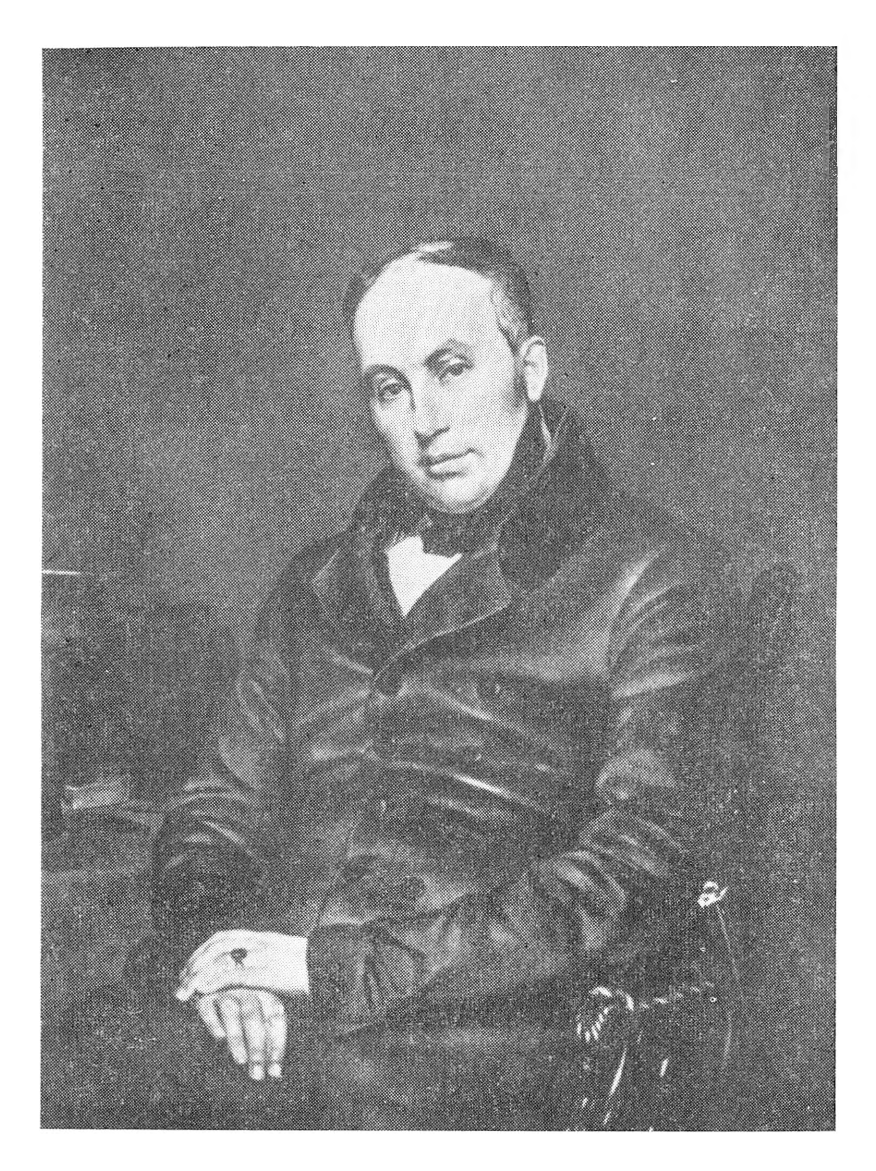
Рис. из письма.

Это Шевченко и Жуковский; оба кувыркаются от радости. А Юлия Федоровна благословляет их из облаков.

Конец

Шевченко в «Автобиографии» тоже описывает это событие. Однако его «Автобиография» очень краткая, поэтому историю своего освобождения Кобзарь излагает предельно сжато:

«В 1832 году мне исполнилось восемнадцать лет, и так как надежды моего помещика на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге. Ширяев соединял в себе все качества дьячка-спартанца, дьякона-маляра и другого дьячка — хиромантика; но, несмотря на весь гнет тройственного его гения, я, в светлые весенние ночи, бегал в Летний сад рисовать со статуй, украшающих сие прямолинейное создание Петра. В один из таких сеансов познако-



В. А. Жуковский.
С портрета К. П. Брюллова (1837 г.).

мился я с художником Иваном Максимовичем Сошенком, с которым и до сих пор нахожусь в самых искренних братских отношениях. По совету Сошенка, я начал пробовать акварелью портреты с натуры. Для многочисленных грязных проб терпеливо служил мне моделью другой мой земляк и друг казак Иван Нечипоренко, дворовой человек нашего помещика. Однажды помещик увидел у Нечипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что он начал употреблять меня для снятия портретов с любимых своих любовниц, за которые иногда награждал меня целым рублем серебра.

В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю Академии художеств, В. И. Григоровичу, с просьбой — освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Вильегорского, устроил лотерею в две тысячи пятьсот рублей ассигнациями, и этою ценою куплена была моя свобода в 1838 году, апреля 22».

2

В начале мая 1838 года Василий Андреевич снова отправился в путешествие со своим учеником. На этот раз за границу: по Германии, Швеции, Дании, Италии, Швейцарии, Голландии и Англии. Как не похоже было четвертое заграничное путешествие Жуковского на его робкое первое знакомство с европейской культурой! Василий Андреевич превратился в ценителя живописи, он стал обладателем большой коллекции рисунков, по его совету закупали картины для Эрмитажа.

По-прежнему Василий Андреевич ведет дневник. Записи краткие: даты, названия городов и описание достопримечательностей. Но чем старше становился Жуковский, тем более критическими делались его дневниковые заметки.

Запись на пароходе, вышедшем из Штеттина:

«27 мая (8 июня), пятница. Если бы было употреблено такое же внимание на администрацию, политические мысли и государственную экономию и просвещение, как на детали военные, сколько бы ясных мыслей в голове утвердилось. Но все это кажется нам недостойным уважения и второстепенным. Главным кажется нам дело военное. <...> Гениаль-

ные люди и глубокомысленные государственные нас стесняют».

Общаясь с людьми, которые вершили судьбы империи, Жуковский мыслит как государственный деятель, отнюдь не похожий однако на окружавших его чиновников. Рассуждения Жуковского глубоки и мудры:

«1 (13) июня, среда. Отчего наши усилия колоссальные без результата и особенно нет у нас правильного результата? Оттого, что правительство во все само мешается; исключает домашнее воспитание, ему перечит».

Последняя запись сделана в Стокгольме, куда русские корабли пришли 29 мая (10 июня) 1838 года. Суровая северная природа пленила поэта.

Жуковский внимательно осматривает Швецию. Его интересует местоположение города, архитектура зданий, внешний вид жителей. Он изучает картинные галереи, скульптуру, библиотеки, училища, приюты, пансионаты, школы.

Василий Андреевич познакомился с Бернгардом фон Бесковым, поэтом-драматургом, секретарем Стокгольской Академии наук.

«...здешнее общество имеет характер добродушия, приветливо чрезвычайно, и эта приветливость весьма искренна»,— отмечает Жуковский. Василия Андреевича Жуковского наградили шведским орденом Полярной звезды, и он, как положено в таких случаях, выразил королю свою благодарность. Король Швеции принял русского поэта ласково: «он не имеет никаких королевских ухваток; но в его неловкости есть что-то патриархальное, радушное, берет за руку, жмет ее, целует тебя и проч. С ним не удалось поговорить, как с кронпринцем, которого манеры более comme il faut, но который не так кажется мне прост. Королева без всякой наружности; прежняя маска с нее не упала; но имеет кое-что привлекательное».

Жуковский много писал и рисовал. Его письмо о Швеции — образец путевого очерка.

«Швеция, если судить по тому, что нам удалось видеть во время нашего путешествия, есть гранитное царство. Везде слой земли, более или менее тонкий, покрывает гладкую площадь гранитную, и вся поверхность этой площадки усыпана обломками того же гранита, которые все вообще имеют круглую форму, подобно камням, скопляющимся на дне быстрой реки, которая силой воды мчит их и мало-помалу округляет. Эти гранитные обломки, составляющие немое предание о ка-

ком-то давнишнем бое стихий, представляют явления разительные... Промежутки между этими камнями покрыты пашнями...

Хижины поселян рассеяны по полям и не составляют, как у нас, отдельных селений. В них вообще видна опрятность... Жители этих хижин вообще красивой наружности. Они приветливы. В их обращении чувствительно какое-то непринужденное доброжелательство и простодушие... Особенно между женщинами множество прекрасных, белокурых, с голубыми, часто весьма выразительными глазами.

Между этими скалами, по этим полям и лесам, проложены прекрасные дороги. Их содержать в исправности не трудно. Материал для этого почти везде под рукою. Но они очень узки, и от неровности мест, от множества камней, повсюду разбросанных, вьются как змеи...

Особенную красоту шведской природы составляют великолепные озера...

Озеро Меларн самое живописное из больших озер Швеции. Особенную прелесть дают ему излучины его гранитных берегов, покрытых елями, соснами и березами...

На берегу Меларна, в глубине одного из заливов, весьма живописно лежит старинный замок Грипсгольм, замечательный и своею архитектурою, и своими историческими воспоминаниями. Мы приехали в него почти в семь часов вечера... Наконец я глазами увидел один из тех шведских замков, о которых так много было рассказано моему воображению во время оно. Шведские замки, возвышающиеся на берегу озер, посреди лесистых скал, имеют особенную репутацию: в каждом гнездится привидение. Грипсгольм по своей наружности более других достоин был такой славы...

Мы все собрались в старинной зале, в которой, во время Густава Вазы, построившего замок (то есть в половине XVI века), собирались сановники Швеции, где король пировал с многочисленными гостями... Эта палата имела для моего воображения особенную прелесть тем, что в ней все сохранилось в том самом виде, в каком было при великом Густаве: огромные окна с широкими простенками; деревянные панели весьма высокие, окружающие всю залу; стены обвешанные портретами королей шведских во весь рост... Посреди этих древностей, мы, молодые и старые, пировали весело, и может быть из нас кто-нибудь сидел на том самом месте, где за три века перед сим старик Ваза пил из своего кубка, сидя между своими двумя сыновьями, которых судьба дала такую трагическую знаменитость за́мку Грипсгольму...

Вот мы отужинали. Но прежде, нежели разошлись, пошли осматривать старинные комнаты замка — и между ними заметили особенно ту, которая служила тюрьмою Иоанну, сыну Густава Вазы, заключенному в ней братом, королем Эриком XIV. В ней ничто не переменилось... Но эта тюрьма есть великолепное зрелище в сравнении с той ужасною темницею, в которой после был заперт Иоанном Эрик, лишенный им престола, потерявший от горя рассудок, и потом брошенный в ужасное подземелье... Наконец мы расстались, и я пришел в свою комнату... Вот ее описание. Узенькая, недлинная лестница ведет в переднюю, обвешанную старинными портретами... Из этой мрачной передней вход в круглую спальню с двумя огромными окнами, идущими от потолка до полу. Но эти огромные окна едва могут освещать комнату, ибо стены ее аршина в три толщиною — и окна кажутся как будто на конце коридоров... Против окон глубокий темный альков со старинною кроватью — и в ногах этой кровати маленькая потаенная дверь, ведущая бог знает куда, ибо отворив ее, увидел я перед собой мрачный, длинный, узкий каменный коридор со сводом, из которого так и повеяло на меня сыростью могилы...

Такова была храмина, приготовленная мне для ночлега в замке Грипсгольме... Я остался один — и по своему обыкновению начал ходить по комнате, куря свою сигару...

Было уже за полночь. Ходя взад и вперед по комнате, я подходил часто к окнам. Перед самыми окнами растут деревья. Сквозь них вид на озеро Меларн, которое вдали сливается с горизонтом, и от этого кажется (особливо в летнюю, полусветлую ночь), что за этими деревьями все оканчивается, и что замок стоит на краю пустого пространства. И ночь была удивительно тиха... Не помню, чтобы когда-нибудь прежде я имел такое полное, таинственное чувство тишины, которое в то же время есть и глубокое чувство жизни. Удивительное молчание царствовало повсюду. Все вокруг меня спало, кроме одного только паука, который работал на окне, то тихо опускался по длинной своей паутинке, то быстро прял своими ножками, подымаясь вверх — и это движение безо всякого шороха только что увеличивало чувство всеобщего спокойствия».

Вскоре после прибытия в Стокгольм Жуковский написал о шведах: они естественные друзья России...

Однако путешествие имело для Жуковского и неприятные стороны: во-первых, отношения с наследником становились все более натянутыми. Во-вторых, Василию Андреевичу приходилось общаться с Кавелиным, вторым наставником великого князя, человеком низким, завистливым и двуличным. В дневнике Жуковского о нем есть много откровенных высказываний, но они крайне неудобны для печати. Василий Андреевич часто сожалел о разговорах с Кавелиным и догадывался, что Кавелин пишет на него доносы.

В начале ноября Василий Андреевич пишет Ивану Ивановичу Козлову: «Подумай, откуда пишу к тебе. Из Венеции! При этом имени перед закрытыми глазами твоими являются Тасс, Байрон и тысячи гигантских и поэтических теней прошедшего. Я живу на берегу Большого канала. <...> Есть у меня угольная горница; окна, как везде в Италии, до полу и с балконами. Выйду на один балкон, передо мной широкий канал и что-то очень похожее на вид из окон Зимнего дворца, на Биржу и Адмиралтейство: такое же широкое пространство вод; вместо Биржи церковь San Giorgio Maggiore, а вместо церкви Петра и Павла великолепная церковь Maria della Salute, монумент избавления Венеции от моровой язвы. Выйду на другой балкон — тут уж зрелище единственное. Перед самым окном моим возвышается и заслоняет его огромная гранитная колонна с св. Федором на капители и рядом с нею другая, с крылатым львом св. Марка: обе — памятник осады Тиры и крестовых походов. Перед ними так называемая Piazzetta, или маленькая площадь св. Марка, ограниченная с одной стороны церковью св. Марка, с другой чудесным дворцом дожев, перед которым тянется широкая набережная, на коей возвышается ряд великолепных зданий, которые все до одного суть надгробный мавзолей прошедшего. Но они печальнее надгробного памятника. Могила не пуста: она бережет нечто ей отданное навеки и навеки ей принадлежащее; а великолепное здание, преданное разрушению, разительно выражает *отсутствие* прежнего великого или прекрасного. Но баста! — Оставим Венецию. Я еще в ней ничего не видел; мы только что приехали и не успели осмотреться. Хочу сказать тебе о другом, более для тебя интересном. Я был в Милане у Манцони! Это случилось неожиданно. Я не надеялся иметь этого счастия, ибо мне сказали, что М<анцони> никого к себе не пускает, будучи болен и не любя общества. Миланский

астроном Фризиани, с которым я познакомился в Isola Bella за обедом у Борромея и с которым мы разъезжали по Милану, вызвался пойти к Манцони и отведать за меня счастья. Он застал его дома, и я был им принят. Я просидел у него часа два, и, конечно, эти два часа принадлежали к прекрасным часам моей жизни. <...> Я уселся как дома или как у давнишнего моего милого знакомца: так вдруг мне стало уютно и легко. У меня нет памяти на лица, но лицо Манцони врезалось в память мою, хотя описать его в подробности не умею; ибо помню выражение этого лица, которое было мне так по сердцу, а не знаю, какого цвета глаза и волосы и пр. Правильные черты, которых характер, благородство и какая-то привлекательная тонкость, соединенная с прямодушною скромностью. <...> Что мы говорили, вообще помню, но передать письму не умею. Знаю только то, что эти немногие минуты были для меня счастливы, как в старину подобные минуты с Карамзиным, при котором душа всегда согревалась и яснее понимала, на что она на свете. <...> Я рассказал Манцони о тебе; а он мне сказал, что знает тебя, и подал мне экземпляр твоих стихов с твоей подписью, поручив при свидании нашем сказать от него тебе поклон. Он помнит и Вяземского. <...>

Я принимаюсь за итальянский язык, и когда возвращусь к тебе, то, вероятно, буду тебе читать Тассовы стансы».

В первых числах декабря 1838 года в Риме Жуковский встретился с Николаем Васильевичем Гоголем. Оба были рады встрече, Гоголь засиделся у друга допоздна, столько надо было рассказать и расспросить. Вдруг взгляд гостя упал на карманные золотые часы с цепочкой, висевшие на стене.

— Эти часы взяты мною со стола Александра Сергеевича Пушкина в минуту его смерти. Я остановил их и никогда не заводил,— сказал Василий Андреевич.

Гоголь ничего не ответил, но с такой мольбой посмотрел на Жуковского, что тот все понял.

— Возьмите и свято храните эту драгоценную реликвию.

Гоголь улыбнулся. От волнения он не мог говорить...

Гоголь снял с гвоздя драгоценную реликвию, надел цепочку на шею, а часы положил в карман.

Жуковский считал справедливым, что любимая вещь Пушкина перешла к его достойному преемнику.

Жуковский и Гоголь виделись постоянно.

В дневнике Жуковского есть пророческая запись:

«7(19) декабря, среда. Ввечеру у княгини Волконской вместе с Гоголем и Шевыревым. Шевырев вечно на кафедре и все готовые, округленные, школьные мысли; Гоголь весь минута. Он живет Италией и в то же время, кажется, видит, что ему недолго жить; всегда живописец и часто забавный...»

Жуковский увлек Гоголя своей страстью к рисованию, и они часто рисовали вместе. Гоголь писал Данилевскому, что Жуковский «в одну минуту набрасывал по десятку рисунков, чрезвычайно верно и хорошо».

«10 (22) декабря, суббота. К Гоголю и с ним к Иванову. Иоанн Креститель. <...> 11 (23) декабря, воскресенье. Обедал у княгини Волконской на даче вместе с Гоголем... 16 (28) декабря, пятница. С Гоголем в S. Maria in Cosmedin». <...> Жуковский и Гоголь осматривают шедевры. Дневник Василия Андреевича заполняют имена, известные всем — Леонардо да Винчи, Микеланжело, Рафаэль, Тициан... На следующий день Жуковский и Гоголь снова осматривают картинные галереи. Когда шумное общество во главе с великим князем отбыло в Неаполь, Василий Андреевич остался в Риме. И в день отъезда в его дневнике появилась многозначительная запись: 6 (18) января 1839 года, пятница. «Ввечеру Гоголь читал главу из «Мертвых душ». Забавно и больно».

И далее, что ни день — встречи с Николаем Васильевичем. 8(20) января, воскресенье. «С Гоголем в S. Agostino ...в Ватикан. Сикстина. 9(21) января, понедельник. С Гоголем на выставку. 12 (24) января, четверг. С Гоголем к Викулиным у Минарди. В Villa Mills. Рисованье».

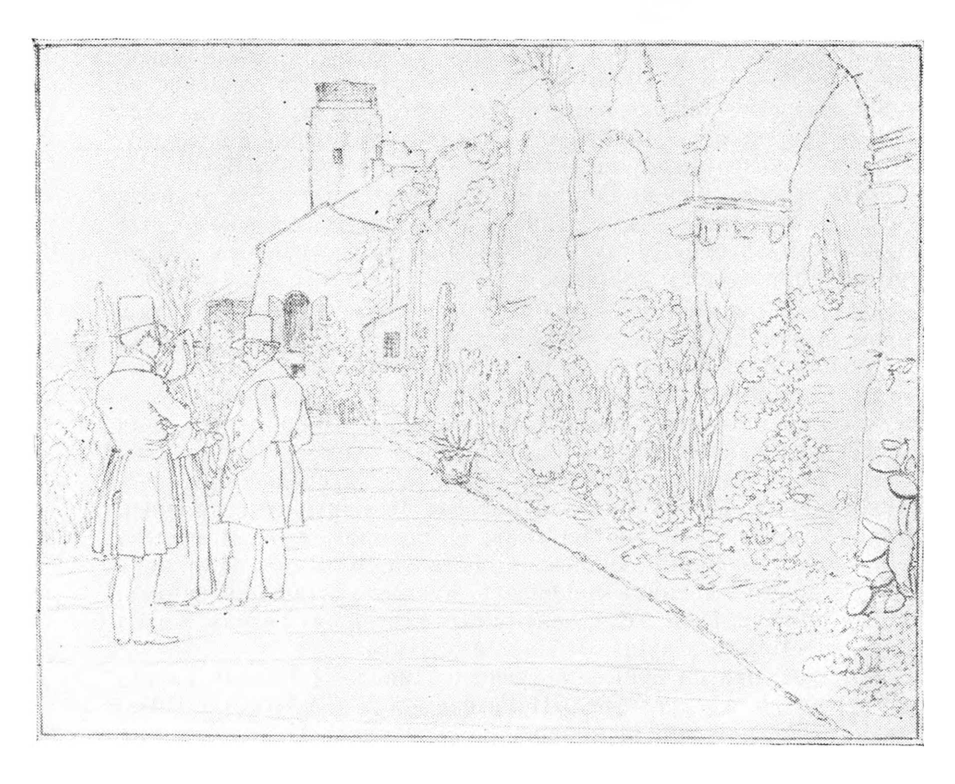
В этот день Жуковский сделал один из своих лучших рисунков Гоголя. Николай Васильевич спокойно уселся на невысокой каменной ограде с блокнотом в руках. Густые волосы и правильная, мягкая линия подбородка. Гоголю тридцать лет.

Гоголь читал свои произведения превосходно. Накануне своего дня рождения Николай Васильевич читал Жуковскому «Коробочку». Василий Андреевич записывает: «18 (30) января, среда. Рождение Гоголя. День дождливый. Ездил рисовать к капуцинам. У Волконской. Музыка. <...> С Гоголем обедал в Falcone. 20 января (1 февраля), пятница. Поутру с Гоголем...

22 января (3 февраля). Утром рано в ясный, но весьма холодный день в Villa Volchonsky для рисования».

В этот день Жуковский снова рисовал Гоголя.

«...24 января (5 февраля), вторник. С Гоголем к Кудинову,



С. П. Шевырев, З. А. Волконская и Н. В. Гоголь в Риме.
Рис. В. А. Жуковского. (1839 г.).

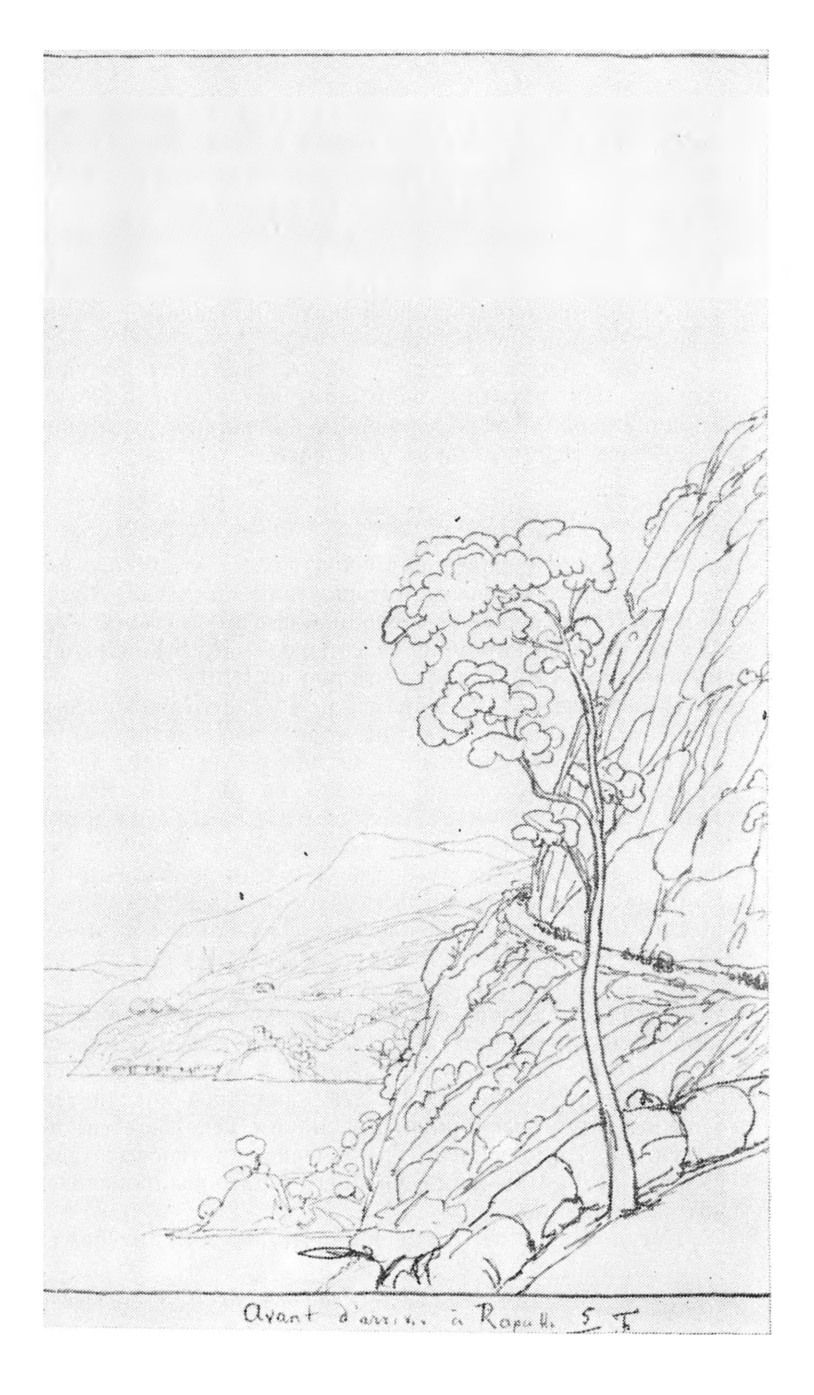
который, по обыкновению наших архитекторов, восстанавливает римские развалины.

26 января (7 февраля), четверг. Позавтракал с Гоголем, на Monte Pincio.— Чудный, ревучий день карнавала. Мы в масках на омнибус».

Захваченные безудержным весельем, никем не узнанные, двигались в толпе римлян двое русских писателей.

28 января (9 февраля), суббота. Жуковский снова рисовал своего друга. Николай Васильевич изображен во весь рост, разговаривающим с Шевыревым и Волконской. Они стоят на аллее, которая ведет к ее вилле. Лицо женщины скрыто

Раппало. Рис. В. А. Жуковского (1838 г.)


Avant d'arriv.. à Rapall.

шляпкой, Шевырев повернулся спиной, Гоголь виден в профиль. По этому рисунку можно судить о росте Николая Васильевича, его фигуре и костюме. Рисунок Жуковского занимает важное место в иконографии Гоголя.

В этот же день запись: на corso, по которому ходил пешком в толпе вместе с Гоголем. Описывая карнавал, Жуковский признается: всякий невольно увлекается, всякому хочется хоть раз промычать, прокричать, прореветь. От всего этого в воздухе стоит непрерывный гул.

Долго ходили они по улицам, наблюдая ликующие толпы народа. Их толкали, обнимали, наступали им на ноги, они смеялись, пели, что-то кричали буквально до хрипоты. Домой вернулись едва живые от усталости.

3

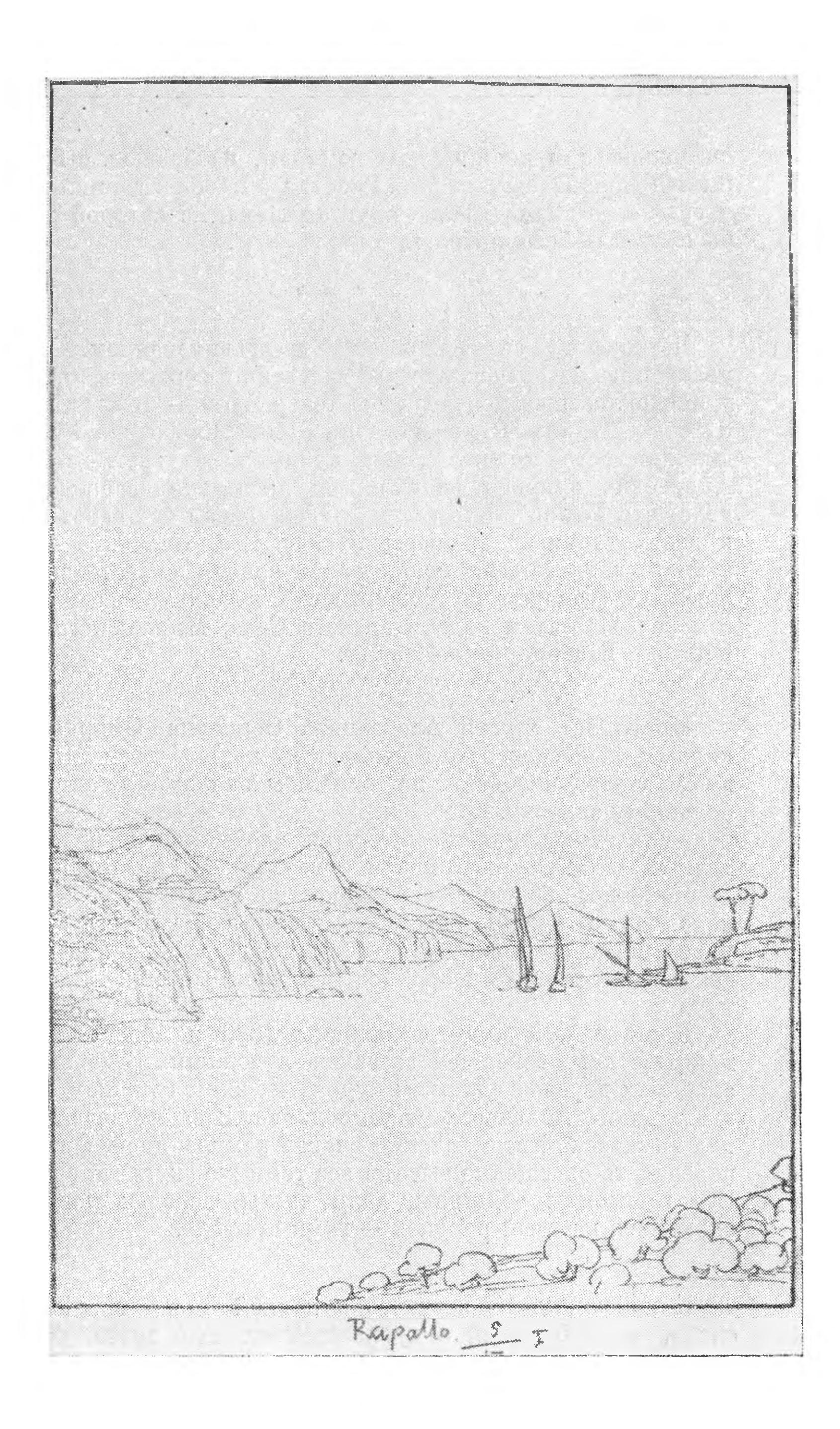
С годами Жуковский превратился в отличного рисовальщика. Еще после первого путешествия он писал Анне Петровне Зонтаг: «Путешествие сделало меня рисовальщиком, я нарисовал au trait (в контурной манере. — *М. Б.*) около 80 видов, которые сам выгравировал также au trait».

С каждым путешествием мастерство Жуковского-художника возрастало. Он рисовал так много, что друзья стали упрекать его в слишком усердных занятиях рисованием: он-де не имеет права тратить столько времени на рисунки. Но не рисовать Василий Андреевич не мог, так же как он не мог не писать. Он увлекался красотой пейзажей и получал величайшее наслаждение, когда рисовал. С годами карандаш Жуковского приобрел стремительность и уверенность профессионала. Из его пейзажей исчезла «красивость». Исчезло все лишнее. Альбомы Жуковского как нельзя лучше дополняют его путевые очерки, не иллюстрируют, а именно дополняют.

Четкая и вместе с тем на редкость мягкая и лаконичная манера изображения придавала его рисункам законченность и выразительность. Они дышат элегическим спокойствием, создают настроение, и это эмоциональное воздействие на зрителя является бесспорным признаком художественной ценности рисунков Жуковского. Графическая четкость этих рисунков делает их чрезвычайно удобными для воспроизведения в печатных изданиях.

Когда Василий Андреевич Жуковский рисо́вал пейзажи,

Раппало. Рис. В. А. Жуковского (1838 г.)


Rapallo. 5 I

он порой, с присущим ему юмором, изображал себя любующимся прекрасным видом. Рисовал он себя со спины или так, чтобы была видна только круглая щека, по которой его можно было узнать безошибочно.

* * *

Жуковский занимался еще и гравированием. К своему увлечению он относился чрезвычайно серьезно, брал уроки у первоклассных граверов своего времени — профессора Зенфа и Н. И. Уткина. По просьбе Василия Андреевича Уткин готовил для него медные доски, покрывал их грунтом. Василий Андреевич наносил рисунок, он настолько освоил граверное дело, что Уткин лишь слегка ретушировал его работы. Вышли в свет отличные гравюры Жуковского. Василий Андреевич в благотворительных целях издал альбом «Шесть видов Павловска» (гонорар он пожертвовал в пользу одного бедного семейства); затем виды Царского Села, Мишенского, а также пейзажи Швейцарии и Италии.

Много лет спустя Александра Осиповна Смирнова, получившая от Жуковского в подарок несколько видов Мишенского и Муратова, показала их однажды знакомому англичанину, большому знатоку живописи.

— В этих линиях слышится необыкновенный художественный талант! — восторженно воскликнул англичанин.

Конечно, поэтическое творчество отнимало у Жуковского неизмеримо больше времени и сил, нежели его увлечение рисованием. Но в искусстве рисунка его достижения несомненны, а здесь помимо одаренности нужен был еще и неустанный труд.

Достаточно сравнить альбомы 1820 и 1838 годов, чтобы понять, как совершенствовался художник. В более ранних альбомах деревья слишком кудрявые, виды слишком красивые, в них много мистического символизма. В своих поздних рисунках Жуковский великолепно владел композицией. Он научился передавать ощущение высоты все теми же скупыми средствами. Его горизонты обширны, дали чисты, деревья могучи, реки спокойны, каждый рисунок — гимн природе.

К пейзажам Жуковского в полной мере можно отнести слова, сказанные им о произведениях его друга художника



Клагенфурт. Рис. В. А. Жуковского (1838 г.).

Рейтерна. Разбирая достоинства и недостатки рисунков последнего, Василий Андреевич признает, что фигуры не идеальны, местоположение тоже, а вместе с тем рисунки преисполнены удивительной прелести. В чем же секрет их прелести? — «В правдивости! Да! Каждый поэт, каждый художник должен давать ту же клятву, которую дают свидетели перед французским трибуналом! Он должен предстать перед трибуналом природы, поднять свою руку и произнести из глубины души: Правда, полная правда и ничего кроме правды! И тогда его творения будут непременно чистыми свидетельскими показаниями натуры».

В этом же письме Жуковский высказывает исключительно глубокие и верные мысли об индивидуальности художника:

«Не надо подражать ни Рафаэлю, ни Ван-Дейку, ни Мурильо; надо изучать природу, надо благоговейно принять то, что она дает, чтобы разбогатеть. Ибо природа не скупа, она дает щедрою рукою. И тогда художник не будет иметь манерности, жеманства. Всякая манерность есть, я полагаю, ошибка. Совершенно справедливо, что индивидуальность живописца всегда выражается в его творениях; так как он видит природу

своими собственными глазами; так как он ее чувствует своим личным чувством; так как он прибавляет к тому, что она дает, еще то, что есть в его собственной душе!»

Таково кредо поэта-художника, называвшего живопись сестрой поэзии.

4

Николай Васильевич Гоголь приехал в Рим в апреле 1837 года. Он очень подружился с художником Александром Андреевичем Ивановым. Иванов воплощал в своем характере черты, которые Гоголь считал необходимыми для художника,— был фанатически работоспособен, бескорыстен и посвятил всего себя служению искусству.

В мастерской Иванова уже стоял невероятных размеров холст, на который была перенесена окончательно выработанная композиция картины, легко оттушеванная одним тоном и затем пропитанная тер-де-сиеною.

Это была картина «Явление Христа народу» (художник называл ее «Явление Мессии»). Ни Жуковскому, ни Гоголю не суждено было увидеть эту картину законченной.

Гоголь познакомил Жуковского с Ивановым вскоре после приезда Василия Андреевича в Рим.

Александр Андреевич Иванов обратился к Жуковскому с просьбой помочь разработать некоторые эпизоды картины. Жуковский много и обстоятельно говорил с художником, его захватила идея произведения. У них сложились исключительно хорошие отношения: именно Жуковский хлопотал о том, чтобы Иванову была предоставлена возможность закончить свой огромный труд.

Иванов подарил Жуковскому акварель «Жених, выбирающий кольцо своей невесте». Это изумительное по глубине психологических характеристик произведение. Невеста, с трудом сдерживающая свою радость при виде сокровищ, выставленных в витрине ювелира, скептически настроенная теща, жених, достающий кошелек, и солидный ювелир, предлагающий свой товар. «Жених, выбирающий кольцо своей невесте» — великолепная жанровая сценка на городской улице (в настоящее время она находится в Третьяковской галерее). Так же ценны и два других рисунка, подаренные Ивановым Жуковскому: «Иисус в винограднике» и первый эскиз картины «Явление Христа народу».

* * *

Помог Жуковский и Карлу Павловичу Брюллову. Нельзя не удивляться искренности Жуковского, который смело пишет дочери царя Марии Николаевне: «Художнику нужна полная свобода творить что, как, где и когда хочет». В устах Жуковского, которому были знакомы лучшие картинные галереи Европы, похвала Брюллову приобретает особый смысл: «Такие гении родятся редко, он может быть главою школы российской живописи, которая по сю пору еще не существует... С чувством национальной гордости скажу однако, что между всеми живописцами, которых произведения мне удалось видеть, нет ни одного, который бы был выше нашего Брюллова или даже был бы наравне с Брюлловым». Василий Андреевич предупреждает, что Карлу Брюллову грозит опасность: в Петербурге он зачахнет. Здесь же, в Италии, талант его разовьется. И просит продлить срок его пребывания в Италии.

1 (13) февраля путешественники простились с Римом. Кареты растянулись по дороге длинной чередой. Шел дождь, Жуковский грустно смотрел в окно. Близ Тосканы он записал: «Обработанность всюду видна, несмотря на утесы. Другие выражения лиц. В жилищах опрят(ность). Следствие petite culture: деньги, порядок, оп(р)ятность, бережливость, наряды, все из труда».

Быстро проехали Наварру, Милан, Верону, Удине, Тарвиз, Фризах и очутились в Вене. Здесь Василий Андреевич снова без конца ходил по картинным галереям и слушал музыку. Кратко, но все же регулярно ведет записи в дневнике, лишь длительные переезды отмечены месячными перерывами. В конце марта караван великого князя дотащился до Гааги. Измученный долгой дорогой Жуковский сделал следующую ироническую заметку: Беда на свете более от комаров и мух, нежели от чудовищ.

В Гааге Василий Андреевич расхворался. 25 марта (6 апреля) ему стало так плохо, что он весь день не выходил.

Полубольной Жуковский осматривал картинные галереи, покупал рисунки. Он записывает названия лучших картин, записи его кратки. На улице он — весь внимание, дома сразу же делает заметки: «Горы дюн. Рыбий запах. Море. Его неверность в прилив. Собаки тройкой, четверкой. Горы

корзин. Костюм: широкий плащ, длинная кофта, маленький круглый чепец».

«Сторона, привлекательная зрелищем благосостояния жителей. Порядок, опрятность, симметрия в приборе вещей, даже хворосту. С дороги виден Лейден»,— пишет поэт-путешественник, которого всегда интересует, как живет народ той или иной страны. Показателем благосостояния страны являются ее учебные заведения, Жуковский осматривал их очень внимательно, охотно брал учебники, которые ему дарили. В Голландии Жуковский побывал в сиротском приюте.

На следующий день, 9 (21) апреля 1839 года Жуковский написал в своем дневнике: «Два курьера через Лондон. Привезли ленту и брильянты Кавелину, а мне оплеуху». Василий Андреевич был достаточно опытен, чтобы понять дипломатический смысл происшедшего: это было продолжение далеко зашедших разногласий по вопросам воспитания между царским семейством и Жуковским. Николай был взбешен, когда прочел письмо, которое Жуковский написал царице о недопустимой грубости наследника. Этого письма Василию Андреевичу не простили: надо было подавать в отставку, что он и сделал в 1839 году. Отставку незамедлительно дали.

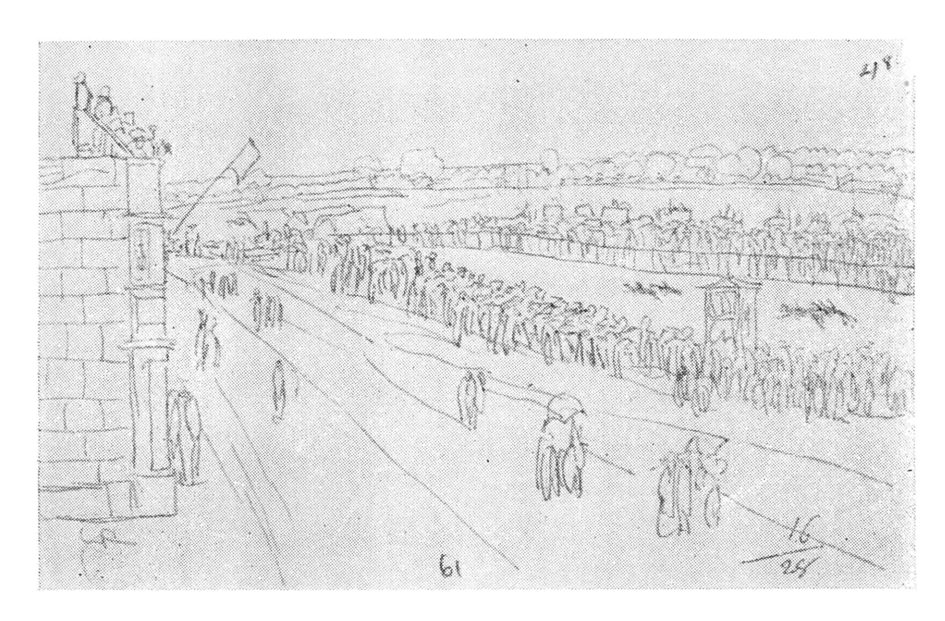
5

Но это случилось несколько позже, пока Жуковский как ни в чем не бывало едет вместе со всеми в Англию: путешествие продолжается.

Двадцать первого апреля (3 мая) Жуковский записал: проснулся в устье Темзы. В Лондоне он жил на Брук-стрит близ Гросвенорсквер, а отеле «Мивардс». Ему отвели номер из трех комнат, но несмотря на то, что это была одна из лучших лондонских гостиниц, он не нашел в ней той «разительной чистоты и точности», которые ожидал увидеть.

Двадцать второго апреля (4 мая) Василию Андреевичу удалось немного походить по Оксфорд-стрит и Гайд-парку. На следующий день своим неразборчивым почерком Жуковский сделал запись о том, что его волновало:

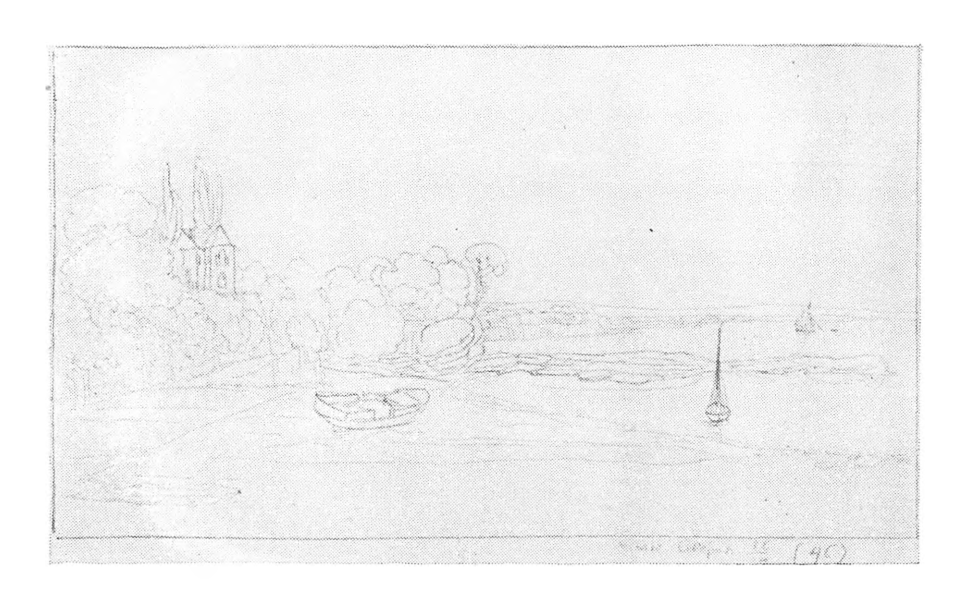
«23 апреля (5 мая), воскресенье. Чтоб понять Лондон и почувствовать прелесть здешней жизни, надобно здесь совсем сродниться. Это невозможно иностранцу. Рим есть самый прелестный город для иностранца. Потом, вероятно, Париж. Здесь размышление. Там минута... Особенное чувство в Англии, чувство физической свободы; результат общественного чувства.



Скачки в Эпсоме.
Рис. В. А. Жуковского. (1839 г.).

Для этого нужна материальная воля кошелька. Необходимость обжиться, чтобы понять Англию. Англия последний акт воспитания, как латинский язык первый акт. Для иностранца здесь скучно, он изолирован, не к кому прильнуть. Лондонский день.— Сравнение Голландии с Англией. Главная разница в масштабе. Чистота, вкус, произведения, обработанность земли, искусство, народный характер. Влияние географического положения и истории. Отчего живописная поэзия в особенности принадлежит Англии, несколько Швейцарии, мало Италии и Франции, Германии более фантастическая? Искусство украшать природу, особенно в том, чтоб ее прятать. Прелестные деревья в Ричмонде; огромный ствол, из коего вдруг раскинуло(сь) 20 деревьев. Кривая линия, планы, группировка деревьев. Отчего грустное чувство, подобное происходящему от музыки?»

После трех прекрасных теплых дней пошли дожди, погода испортилась, но, как всегда, Жуковский старается как можно лучше познакомиться с городом. Британский музей, Вестминстерское аббатство, типография лондонской «Таймс», доки,



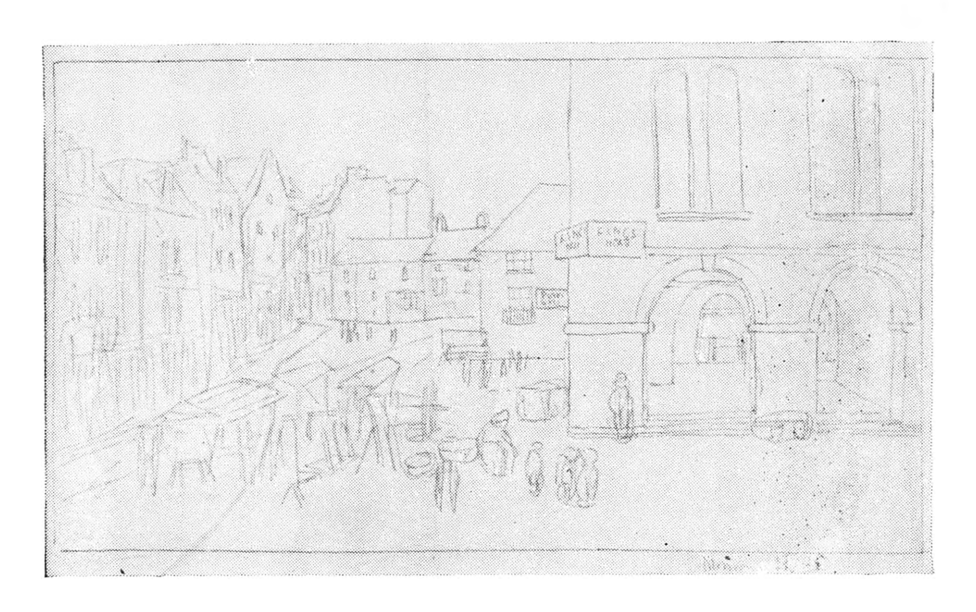
Устье Северна.
Рис. В. А. Жуковского (1839 г.).

овощной и рыбный рынки, Тауэр, зоологический сад, парки, улицы и, конечно, театры.

«Наконец я слышал итальянскую оперу во всем ее совершенстве»,— восклицает Жуковский, наслаждавшийся божественным пением Джулии Гризи.

Путешественники побывали в Эпсоме, Жуковский выиграл на скачках, и, что особенно интересно, сделал зарисовки скачек. Он осматривал лондонские клубы, магазины, частные картинные галереи, например галерею лорда Говера, Эгертона, Веллингтона, Пиля.

Жуковский много рисовал. Он посетил Ричмонд, Хамптон-Корт, Онсло, Кельнбрук, Слог, Мандистенд, Виндзор. Его неутомимый карандаш запечатлел леса и долы Англии. Изумительно чистыми, четкими, безупречными линиями он передает очарование старинных замков, столетних рощ и спокойных рек. В Монмуте внимание Жуковского привлекла городская площадь, с табличкой на угловом доме: King's Head он зарисовал и тесную площадь и здание с табличкой[12].



Площадь в Монмуте.
Рис. В. А. Жуковского (1839 г.).

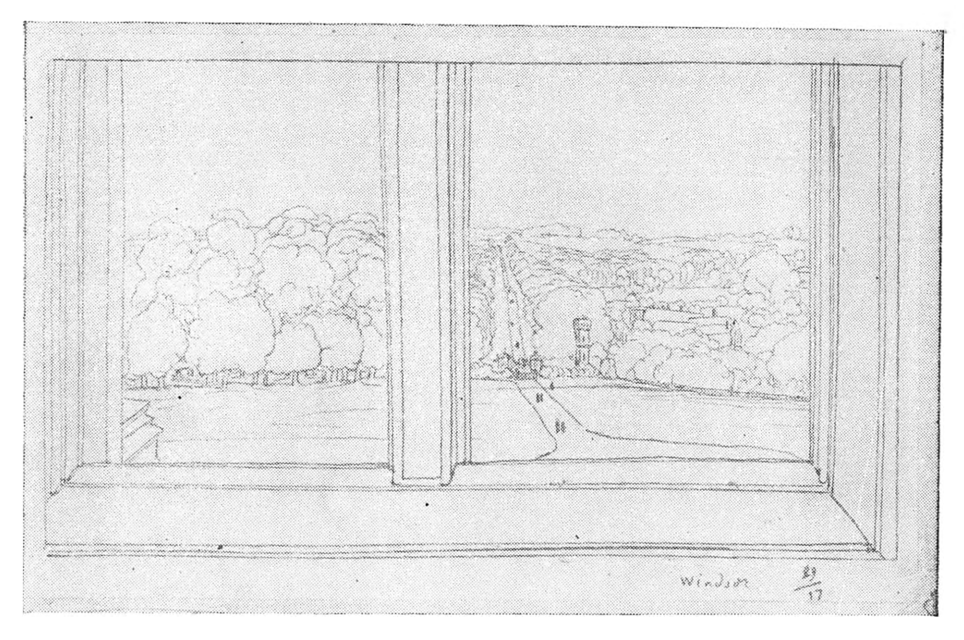
Василий Андреевич посетил кладбище, описанное Томасом Греем в его стихотворении «Сельское кладбище», и сделал несколько рисунков. На этом кладбище (оно находилось в деревне Сток Поуджс близ Виндзора) Жуковский перечитал элегию, и ему снова захотелось ее перевести. В Англии он начал переводить «Сельское кладбище» гекзаметром. Этот перевод Василий Андреевич закончил в Петербурге 23 июля:

Колокол поздний кончину отошедшего дня возвещает;
С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо;
Медленным шагом домой возвращается пахарь, уснувший
Мир уступая молчанью и мне. Уж бледнеет окрестность,
Мало-помалу теряясь во мраке, и воздух наполнен
Весь тишиною торжественной: изредка только промчится
Жук с усыпительно-тяжким жужжаньем, да рог отдаленный,
Сон наводя на стада, порою невнятно раздастся.
. . . .

Майский визит в Англию подошел к концу.

В Лондоне Жуковский приобрел много больших и маленьких альбомов в красных и черных переплетах тисненой кожи

9 Заказ 83



Виндзор. Рис. В. А. Жуковского (1839 г.).

фирмы Н. Penny. Они были очень удобны для путевых зарисовок и записей и благодаря красивым металлическим застежкам не растрепались в дороге. (Эти альбомы до сих пор в отличной сохранности; в настоящее время они находятся в Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.)

На обратном пути уже не задерживались подолгу в разных городах. Василий Андреевич обрадовался встрече с Рейтерном и охотно принял предложение провести несколько дней в Виллингсхаузе в кругу его семьи. Обед под старыми деревьями, беседы об искусстве и милая домашняя обстановка дали Жуковскому настоящий отдых. Дети Рейтерна подросли, старшая дочь, Елизавета, стала очень красива.

В дневнике Жуковского появилась запись:

«8 (20) июня, четверг. Рисование. Елизавета. Завтрак под деревом. Обед на старом месте. Музыка... Бетховен и Мендельсон...»

Эта идиллия продолжалась недолго: Жуковскому надо было спешить. Следующую запись он сделал через полмесяца по

приезде в Петергоф. Третье заграничное путешествие Василия Андреевича закончилось...

Усталость Жуковского усугублялась неопределенностью, которая постоянно давала себя знать. Еще в Англии 25 апреля он отметил: «странность моего положения». Теперь ровно через три месяца, в день рождения царя, поэт снова предается размышлениям на дневниковых страницах: «Все наши пожалованы. А мне не знаю, оплеуха или нет».

ОТСТАВКА

Я видел вечер твой,
Он был прекрасен.

Ф. И. Тютчев.
Памяти Жуковского

1

Деятельность Жуковского в Зимнем дворце,— не педагогическая, а общественная, по оказанию помощи всем, кто только был «худ с правительством» Николая Первого,— не имеет себе равной в истории мировой литературы.

Нельзя не удивляться мужеству Жуковского, если вспомнить, к кому он обращался за помощью.

Надо, однако, сказать, что скромный и мягкий Жуковский стал к этому времени личностью действительно сильной, и окружающие чувствовали это. Он был совершенно не способен кривить душой и меньше всего думал о своих интересах, поэтому у Жуковского не было никакого страха за себя. Это и злило царя более всего, но тут он был бессилен что бы то ни было предпринять.

Оставалось лишь уволить Жуковского. Николай так и поступил.

Василий Андреевич Жуковский почувствовал облегчение.

Его не столько огорчала «почетная отставка», сколько крах педагогических усилий в деле воспитания наследника в духе собственных идеалов.

Жуковский часами ходил по кабинету, куря трубку. Разом дала себя знать усталость, тяжелая усталость пятидесятисемилетнего человека, которого не перестают мучить мысли, что он допустил в своей жизни ошибку, которую нельзя исправить никакими средствами.

В довершение неприятностей Жуковский был вынужден на старости лет подыскивать себе жилье. И тут вдруг выяснилось, что он любил свой «поэтический чердак», ему был дорог этот ка-

бинет, где он провел счастливейшие часы своей жизни в обществе друзей, кабинет, где так хорошо работалось, кабинет, который сам являлся своего рода произведением искусства. Жуковский забыл, что это казенный кабинет, он считал его своим...

2

В 1839 году Россия праздновала открытие монумента в честь Бородинской битвы.

Праздник состоялся 26 августа, Жуковский принимал в нем участие. Увидев, что не был забыт гимн Двенадцатого года «Певец во стане русских воинов», Жуковский почувствовал такую радость, словно и не было на свете никаких огорчений последних лет. Главное в его жизни — стихи, они остались. Незаметно настроение переменилось, и он вдруг вспомнил, что уже давно-давно мечтал вырваться из Петербурга.

Это что-нибудь да значит — въехать в красавицу Москву в яркий теплый летний день! Эти широкие, привольные улицы — ну что за раздолье!

Мрачные петербургские мысли улетучились, едва он увидел город на семи холмах, город, самый воздух которого приносил ему всегда успокоение и отраду. На следующее утро Василий Андреевич спозаранок вышел из Боровицких ворот и направился в Хамовники, к тому месту, где в 1812 году собиралось Московское ополчение. Волхонка, Остоженка, Крымский брод. Остановился у церкви Николы в Хамовниках, перекрестился, постоял несколько минут. Рыжий звонарь, упершись ногой в низкую загородку и напизав на пальцы обеих рук веревки от колоколов, зазвонил к заутрене. Василий Андреевич любил колокольный звон с детства, звонили те самые колокола, что провожали в бой Московское ополчение.

Василий Андреевич пошел дальше по направлению к Хамовническим казармам. Здесь его и Петра Вяземского провожал Николай Михайлович Карамзин. Удивительно устроена человеческая память: Жуковский запомнил эту сцену до мельчайших подробностей. Карамзин трижды поцеловал их обоих. В глазах его блестели слезы.

— Возвращайтесь с победой, родные! Храни вас бог!

3

Многое вспомнилось Василию Андреевичу, когда он по старой Можайской дороге ехал к Бородину.

Он вспомнил великую битву, не смолкавшую весь день, и затем обозы с ранеными, которым, казалось, не будет конца.

Жуковскому снова легко писалось, легко дышалось, он жил той жизнью, которую одну только и считал настоящей. Он написал стихи, вернее, песню. Она полна любви к спасителям Отечества:

Как ярилась, как кипела,
Как пылала, как гремела
Здесь народная война
В страшный день Бородина!
На полки полки бросались,
Хо́лмы в громах загорались,
Бомбы падали дождем,
И земля тряслась кругом.
А теперь пора иная:
Благовонно-золотая
Жатва блещет по полям
. . . .

Поэт вспоминает имена героев, которым не суждено было дожить до годовщины. Кутузов-Смоленский умер в 1813 году, Барклай-де-Толли и Платов в 1818 году; один за другим уходили из жизни участники Бородинского сражения. «И *его* как ни бывало, Перед кем все трепетало!.. Есть далекая скала; Вкруг скалы — морская мгла»,— говорит поэт о Наполеоне, умершем 5 мая 1821 года на острове Святой Елены. А 22 апреля 1839 года умер старый друг Жуковского поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов.

Вмиг Давыдова не стало
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нем друга жаль друзьям!

Написанная в духе народной песни, «Бородинская годовщина» полна огня и задора:

До Стамбула русский гром
Был доброшен по Балкану;
Миром мстили мы султану;
И вскатил на Арарат
Пушки храбрый наш солдат.
Память вечная вам, братья!
Рать младая к вам объятья
Простирает в глубь земли;
Нашу Русь вы нам спасли;
В свой черед мы грудью станем.
. . . .

Эти строчки звучат как клятва.



В. А. Жуковский. С пастели К. П. Брюллова.

4

Свидетельством необычайного душевного подъема Жуковского после Бородинского праздника является та энергия, с которой он принялся за дела по облегчению участи декабристов.

Накануне праздника Василий Андреевич получил письмо: к нему обращался декабрист Федор Николаевич Глинка, вызволенный Жуковским из Олонецкой ссылки.

Глинка — Жуковскому

Почтеннейший и достойнейший Василий Андреевич. Узнав, что государь наш предпринял воссоздать битву Бородинскую на самом поле, ею прославленном, я собрал мои воспоминания о 1812 годе и, отделив от них статью «Очерки Бородинского сражения», хотел напечатать ее особо. Но здешняя (московская) цензура неведомо почему отозвалась, что она не смеет принять на просмотр ничего, что хотя немного касается до Бородина и событий 1812 года. Вам известно, что я много писал и печатал о незабвенном годе, и никогда этот предмет не считался запретным. Не имея ни средств, ни желания начинать второй битвы Бородинской с цензурою московской, я вздумал послать мою рукопись прямо графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу. <...> С этой же почтой отправил я мое сочинение, чисто литературное, в котором за основание рассказа принято все то, что уже давно сказано и напечатано в моих же «Письмах русского офицера». Зная, что вы хорошо знакомы с благодетельным Л. В. Дуббельтом, я прошу вас покорнейше сказать ему слово за рукопись мою, которая, конечно, пройдет через его канцелярию. <...> я прошу не замедлить с этим делом, ибо август на дворе, а напечатание 8 листов возьмет более двух недель времени. Запоздалый же выпуск повредит моей книге во всех отношениях. Сочинения такого рода хороши ко времени... Привыкнув полагаться во всех моих бедах на вас, как на доброго гения моего, я ожидаю, что и в этот раз одолжите и утешите. <...>

Получив это письмо, Жуковский уже не мог успокоиться, пока статья благополучно не вышла в свет.

Вся переписка с «государственными преступниками» шла через Третье отделение, которое доставляло адресатам далеко не все письма, часть их осталась в архиве. Такова участь нескольких писем Вильгельма Карловича Кюхельбекера. Есть основания полагать, что генерал Дуббельт, проявлявший боль-

шую заботу о том, как к нему относились в обществе, задержал эти письма, чтобы оградить себя от просьб Жуковского, которые неизбежно должны были последовать после получения посланий Кюхельбекера. Хитрый Дуббельт понимал, что его отказ Жуковскому станет известен многим.

Были и такие письма, которые доходили до Жуковского.

Кюхельбекер — Жуковскому

24 мая 1838 г.
Баргузин.

...Изо всех, кто знавал и любил меня,— юношу, почти отрока, в живых очень, очень немногие, а вы в числе этих немногих из писателей для сердца моего занимаете первое место. Не считаю нужным уверять вас, что, и без всякой другой причины, это обстоятельство для меня очень важно: не дорожить расположением Жуковского было бы не только неблагодарно, было бы просто глупо. Итак, горжусь воспоминанием той дружбы, которой удостаивали вы меня с 1817 года. Вы ободряли меня при первых моих поэтических опытах; в начале моего поприща вы были мне примером и образцом. И теперь отрадно мне говорить самому себе (здесь другому этого не расскажешь): Жуковский читывал мне своего Вадима строфами, когда еще его дописывал; Жуковский переслал мне из Москвы свое «Для немногих»; из 10 отпечатанных экземпляров его грамматических таблиц один достался на мою долю... Потом обстоятельства, мнения, люди отдалили меня от вас; но в 25-м году я нашел в вас то же сердце, столь благородное, столь мне знакомое...

Через год Кюхельбекер попросил Василия Андреевича о помощи: он добивался разрешения печатать свои произведения хотя бы и без подписи. Однако Жуковскому не удалось особенно много сделать для Вильгельма Карловича Кюхельбекера: были опубликованы только поэма «Завоеватель» и часть мистерии «Ижорский». Все остальные просьбы царь отклонил, придумав для отказа хитрую причину: поскольку Кюхельбекер не дослужился до офицерского чина, печатать его произведения невозможно.

Надо было знать, как велика была антипатия между генералом Бенкендорфом и Жуковским, чтобы оценить самый факт обращения Василия Андреевича к генералу за помощью.

Встретив однажды Бенкендорфа, который находился в преотличном расположении духа, поэт начал без обиняков:

— Есть у меня к вам великая просьба, любезнейший Александр Христофорович.

— Чем могу служить?

— Получил я недавно письмо из Сибири от Вильгельма Карловича Кюхельбекера. Вы знаете, что он чистосердечно раскаялся в ошибках молодости. Твердость духа Кюхельбекера тронула меня до слез, и если бы вы, граф, прочли написанные им строчки, ваше сердце тоже преисполнилось бы к нему христианским состраданием. У него чахотка, он очень плох. Кроме вас никто не может исходатайствовать у его императорского величества разрешения для Кюхельбекера печатать свои произведения.

Бенкендорф был польщен.

— Василий Андреевич, вы никогда не верили в мое искреннее к вам расположение, вы считали меня неспособным на благородный поступок, так вот, чтобы доказать вам свои истинные чувства, обещаю, что войду с всеподданнейшим докладом по данному вопросу.

Восемнадцатого января Бенкендорф действительно исполнил свое обещание, но разрешения не последовало.

— Тысяча восемьсот сороковой год не принес счастья вашему протеже,— сказал при встрече Василию Андреевичу Бенкендорф.— Его величество только плечами пожал. А потом посмотрел на меня этак и пригрозил пальцем.

Жуковский поблагодарил за хлопоты и с грустью подумал, что Кюхельбекер долго не протянет...

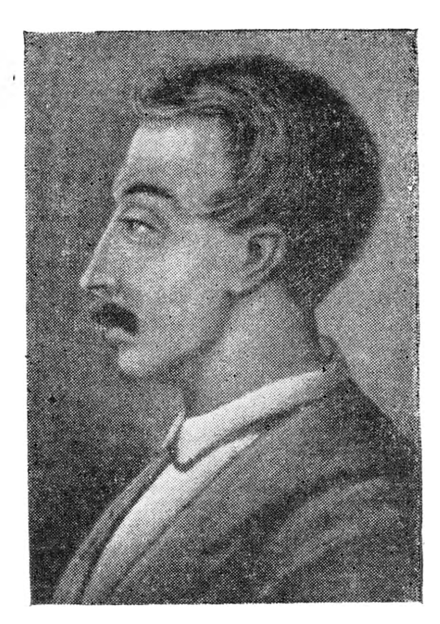
Николай, конечно, догадался, по чьему наущению обратился к нему Бенкендорф:

— Вот уж не думал, что ты моего верного слугу графа Бенкендорфа заразишь крамолой! Ведь это ты его ныне подослал? Сознавайся, больше некому.

5

Вильгельм Карлович Кюхельбекер отлично понимал, что кроме Жуковского его делом никто не станет заниматься. По-видимому, он догадывался, что не все его письма доходят по назначению, поэтому время от времени в новых письмах вкратце пересказывал содержание предыдущих.

Убедившись, что его последнее письмо жандармы не доставили, Кюхельбекер пишет Жуковскому из города Кургана:


В. К. Кюхельбекер.

«С лишком пять лет прошло, как я имел счастье получить бесценное для меня письмо ваше из Дармштата, которое служит мне живым свидетельством и прекрасной души вашей, и того, что вы по сию пору не равнодушны к тому Вильгельму, который некогда пользовался вашей дружбой. Я к вам после того писал два раза: в конце 40-го и в начале 42-го годов. В последнем письме осмелился я вас назвать заочным крестным отцом моего покойного сына Ивана — ответа не было. Ныне опять решаюсь прибегнуть к вам же, и в обстоятельствах, для меня и всего моего семейства крайне тяжелых. Не говорю уже о совершенно расстроенном состоянии моего здоровья и преждевременной дряхлости, но уже два месяца, как я почти совсем ослеп — на левом глазу у меня бельмо, а правым я едва, едва различаю очерки предметов; и вдобавок мои житейские средства крайне скудны. У бедных моих сестер на руках мы, два несчастные брата, они не могут нам уделять каждому более 600 рублей в год. Покуда я еще был в силах, я занимался сельским хозяйством и кое-что приобретал от продажи излишнего хлеба — теперь и это невозможно, а между тем болезнь требует беспрестанно новых издержек.

Все это вместе вынудило меня обратиться к его сиятельству графу Орлову и просить его ходатайства о высочайшем дозволении издавать безымянно мои сочинения и переводы, и вместе с тем отправить к вам эти строки. В вашем последнем письме от 29-го июля 1840 г. (между прочим, это день рождения моего сына Михаила) вы говорите насчет подобной моей просьбы, «что может быть она со временем и исполнится»; мне кажется, что это время или теперь настало, или мне уже не дожить до него.

Я вполне в вас уверен — и нисколько не сомневаюсь, что вы даже и без моей просьбы употребите все, что от вас зависит, чтобы доставить мне возможность достигнуть этой един-

ственной теперь цели моих желаний — тогда жена моя и дети будут иметь надежный кусок хлеба; я не буду в тягость моим сестрам, и при телесных и душевных моих страданиях буду по крайней мере покоен насчет вещественных моих надобностей. Вот, добрый мой Василий Андреевич, о чем я прошу вас и чего от вас надеюсь.

О литературном достоинстве своих сочинений говорить не стану; но бог мне свидетель, что бескорыстная любовь к добру и красоте всегда была моей единственной руководительницей, по крайней мере последние двадцать лет. Вот почему смею считать себя одним из не совсем недостойных представителей того периода нашей словесности, который, по самой строгой справедливости, должен бы называться вашим именем, потому что вы первые нам, неопытным тогда юношам, и в том числе Пушкину, отворили дверь в святилище всего истинно прекрасного и заставили изучать образцы великих иностранных поэтов. Никто из ваших преемников никогда не передавал ни Шиллера, ни Байрона в таком совершенстве, как вы. Собственные ваши сочинения все живые свидетели души высокой, изящной и благородной. Вы остались и поныне жрецом того храма, в который нас впустили. После нас наступили другие мнения и толки, расчеты и соображения не совсем литературные — не мое дело судить, выиграла ли тут наша словесность. <...>

Возвращаюсь к делу. Повторяю, я совершенно уверен, что вам, для того, чтобы поспешить мне на помощь, стоит только узнать, в каком нахожусь положении, и потому не скрою, что особенно в этом деле надеюсь на вас и на ваше содействие. Вам верно утешительно будет знать, что при новом постигшем меня несчастии, я, сколько возможно, бодр духом и исполнен упованием на бога.

Прилагаю при сем, как могу припомнить, подробный реестр всем моим сочинениям и переводам. <...> Некоторые журналы и книги, в которых первые были напечатаны, вы верно не откажетесь мне переслать по вашем возвращении в Россию. <...>

Если мне разрешено будет безымянно печатать мои труды... я во всяком случае прошу вас быть их главным издателем; а Петр Александрович Плетнев, конечно, не откажется принять на себя корректуру и редакцию.

Подаренные мне вами сочинения ваши составляют лучшую часть моей очень скудной библиотеки. Миша мой знает наизусть вашу «Светлану», «Графа Габсбургского», «Трех путников» и множество других пьес — и прибавлю, понимает их.

P. S. Вы увидите по почерку этого письма, мой добрый Василий Андреевич, что я сам был не в состоянии писать к вам, а должен был диктовать одному из моих товарищей, который ухаживает за мной, бедным слепцом».

В этот же день, 21 декабря 1845 года, Вильгельм Карлович Кюхельбекер писал всесильному царскому вельможе графу Орлову. Его ждал холодный официальный отказ, но этого мало. Его письмо Жуковскому Третье отделение не переслало адресату, письмо осталось погребенным в архиве.

Василий Андреевич Жуковский много лет пытался помочь Кюхельбекеру, использовал все возможности, чтобы сделать эту помощь постоянной.

6

Вернувшись в столицу, Василий Андреевич вел привычную жизнь, заполненную поэтическим трудом.

Кроме старых друзей, в Петербурге Жуковский застал Лермонтова. Михаил Юрьевич часто заходил к Жуковскому. В один из таких визитов Василий Андреевич подарил ему свою книгу с дарственной надписью. Книга называлась:

Ундина, старинная повесть, рассказанная
в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах
В. Жуковским, с рис. Г. Майделя, Санкт-Петербург,
1837 год, издание А. Смирдина.

Жуковский часто встречался с Лермонтовым у общих знакомых. В обществе Лермонтов бывал хмур и неразговорчив, часто вызывал обиду светских красавиц и их кавалеров. Мужчины видели на его губах усмешку, женщины — меланхолию и угрюмую задумчивость в больших черных глазах, но каждый, кто с ним общался, ощущал бездну страсти и сильный, неукротимый характер.

Лермонтов подружился с Карамзиными и часто бывал в их доме на Фонтанке, напротив Летнего сада. Так молодой поэт попал в круг ближайших друзей Пушкина. Салон Карамзиных был под надзором полиции, вдова придворного историографа и его дети знали об этом. У них собирались лучшие писатели и поэты, велись либеральные разговоры,— этого было доста-

точно, чтобы привлечь внимание полиции. В начале осени 1839 года Лермонтов читал у Карамзиных «Героя нашего времени». А в октябре Михаил Юрьевич присутствовал на обеде в честь двадцатипятилетия сына историка Андрея Николаевича Карамзина. Ради этого семейного праздника Василий Андреевич приехал из Царского Села. В дневнике он записал: «24 октября, вторник. Поездка в Петербург с Вельгорским по железной дороге. Дорогою чтение «Демона». ...Обед у Карамзиных. В театре. <...> Вечер у Карамзиных».

Высший свет Лермонтова побаивался и втайне ненавидел. Жуковский и его друзья заметили это раньше других. Однажды Александр Иванович Тургенев, зайдя к Жуковскому, рассказал, что французский посол де Барант спрашивал его: что Лермонтов, в стихотворении «Смерть поэта» бранил всех французов или одного убийцу Пушкина.

— Что ж ты ему ответил?

— Я попросил Лермонтова прислать мне строфу о Дантесе из этого стихотворения,— объяснил Тургенев,— и показал ее послу, чтобы он убедился, что автор не делал никаких выпадов против французской нации.

— Он понял это?

— Думаю, что понял. Он прислал Лермонтову приглашение на бал во французском посольстве.

Однако все это показалось Василию Андреевичу далеко не безобидной историей. Что-то в ней настораживало. Жуковский помнил о трагедии, разыгравшейся три года назад. Ему стало страшно за Лермонтова.

Тургенев догадался, что Василий Андреевич обеспокоен судьбой преемника Пушкина, ему самому постоянно приходили в голову такие же мысли, но оба они ничем не могли помочь Лермонтову. Те же лица, которые были причастны к трагедии Пушкина, теперь осуждали Лермонтова за его «дерзкие» стихи, надменность и насмешливость.

Особенно часто Жуковский встречал Лермонтова у Карамзиных, где Василий Андреевич был своим человеком, у Владимира Федоровича Одоевского и Александры Осиповны Смирновой-Россет.

Ранней весной 1840 года в Петербурге стало известно о дуэли Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом де Барантом, последовавшей после ссоры на балу у графини Лаваль. Михаил Юрьевич Лермонтов стрелял в воздух, Барант целился в противника, но промахнулся.

В начале марта 1840 года Жуковский уехал в Германию, Лермонтова он не видел перед отъездом, тот находился под арестом, после которого последовало наказание. Царь послал поэта на Кавказ, в действующую армию.

7

Отъезд Жуковского в Германию вызван глубокими причинами. Тут и не оправдавшие себя надежды на воспитание идеального монарха; и одиночество, под старость еще более тягостное, чем в молодые годы; и давящая, мрачная атмосфера николаевского Петербурга.

Жуковский много работал: в высшей степени успешно как переводчик-поэт и не совсем удачно как публицист, тут его часто ожидали отказы, запреты цензуры. Например, рукопись Жуковского «Черты истории государства Российского» поступила к генерал-майору Дуббельту через его помощника Попова. Дуббельт написал Попову: «Я ничего не читал прекраснее этой статьи и прошу вас, родной мой Михаил Максимович, принять на себя труд поблагодарить г-на Краевского за доставление мне удовольствия прочесть новый прекрасный труд Жуковского. <...> Статья безусловно прекрасна, но будет ли существенная польза, ежели ее напечатают? <...> чтобы видеть всю красоту и пользу этого сочинения, нужно знать твердо историю государства Российского; а как, к несчастью, немногие у нас ее знают,— то статья эта для немногих будет понятна. <...> сочинитель статьи, описав темные времена быта России, не хочет говорить о ее светлом времени.— Жаль! <...> В моих понятиях царь есть отец, подданные — его дети, а дети никогда не должны рассуждать о своих родителях — иначе у нас будет Франция, поганая Франция».

«Лукавый генерал» Дуббельт, лиса-Дуббельт, представил в Главное правление цензуры документ, запрещавший публикацию последних сочинений Жуковского. Духовные и политические сочинения его, по мнению Дуббельта, были чересчур жизненны, глубоки, развернуты и свежи, чтобы их можно было предоставить для чтения юной публики. «Слишком частое повторение слов *свобода, равенство, реформа, движение века вперед, единство народов, собственность есть кража* и тому подобным останавливает на них внимание читателя и возбуждает деятельность рассудка. Размышления вызывают размышления <...> Благоразумнее не касаться той струны, которой сотрясение произвело столько разрушительных переворотов в западном мире и которой вибрация еще колеблет воздух.

Самое верное средство предостеречь от зла — удалить самое понятие о нем». (Этот отзыв написан после смерти Жуковского.)

8

Не одно поколение русских писателей воспитывалось на произведениях Жуковского.

«Бывши во втором классе гимназии, я писал стихи и почитал себя опасным соперником Жуковского»,— сообщает о себе студент Виссарион Белинский, любивший баллады и стихи Жуковского с детства. А своему племяннику Белинский написал уже не в шутливом тоне: «...очень радуюсь, что ты имеешь у себя бессмертные творения Жуковского: они есть самое лучшее украшение твоего шкапчика. Желаю, чтобы чтение оных было одною из первейших потребностей души твоей; чтобы они были пищею твоего ума, сердца и воображения; чтобы они доставляли тебе те чистые, небесные удовольствия, те возвышенные, благородные впечатления, которые только может доставлять душе образованного человека все высокое, все изящное!»

Говоря о значении творчества Жуковского и о его влиянии на развитие русской поэтической школы, нельзя не упомянуть о статье «Версификация», появившейся в «Энциклопедическом лексиконе» 1837 года за подписью Н. Н. Это было исследование Николая Ивановича Надеждина, бывшего профессора Московского университета и издателя «Телескопа», сосланного царем в Усть-Сысольск за то, что он поместил в своем журнале «Философическое письмо» Чаадаева.

Многие положения Надеждина, касающиеся современной ему литературы, ошибочны, но историю версификации он знал превосходно (за шесть лет до описываемых событий Надеждин защитил написанную по-латыни диссертацию: «О начале, сущности и судьбах поэзии, романтической называемой»).

В своей истории стихосложения Надеждин утверждает, что у первобытных народов версификация и музыка были две родные сестры: стихи сочинялись для пения. Как везде, так и у нас, народное стихосложение, эта простая, безыскусная музыка, извлекаемая из языка самою природой, с появлением учености не только ничего не выиграла, но наоборот, испытала горькую участь презрения и отчуждения. Узнавая чужие

приемы версификации, мы перепробовали их все, стараясь приладить к нашему языку. Наконец, отцом нынешней системы стихосложения стал Ломоносов. Великий гений Ломоносова своей реформой бессознательно возвратил нашу версификацию к той же самой родной музыке, которая господствует в нашем народном стихосложении, но допустил ошибку, которая привела в заблуждение последующих теоретиков. Эту ошибку суждено было исправить Жуковскому.



В. Г. Белинский.

«Жуковского должно назвать вторым преобразователем нашей версификации, который исправил логическую ошибку Ломоносова, но не в теории, а на практике. Жуковский возвратил наш стих к его естественной в соответственном смысле тонической музыке, и оттого поэзия наша одолжена ему таким богатством новых размеров, которых и не подозревал Ломоносов, или из которых, следуя своей системе, не мог извлечь той мелодии, к какой они способны».

Но лучшим, непревзойденным критиком творчества Жуковского был и остается Белинский: он определил его место в литературе.

Литературную деятельность Жуковского Белинский назвал подвигом. Этим все сказано.

ЗАПОЗДАЛОЕ СЧАСТЬЕ

Моя заграничная жизнь совсем невеселая, невеселая уже и потому что непроизвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — болезнь жены.

В. А. Жуковский. Из письма

1

В пятьдесят восемь лет Василий Андреевич Жуковский женился. Елизавета Рейтерн, дочь его друга, художника Рейтерна, полюбила Василия Андреевича.

Она была сентиментальна, ее родители боготворили Жуковского, и это восторженное отношение к знаменитому поэту передалось ей в детстве. Жуковский часто навещал своего друга, для Рейтерна это всегда было радостное событие, вся семья встречала его как родного.

Елизавета Рейтерн ждала его приезда и много о нем думала; от матери она слыхала о несчастной любви русского поэта, считала его человеком исключительным.

Василий Андреевич восхищался красивым ребенком, и однажды, приехав к Рейтерну, был изумлен, увидев перед собой высокую, статную девушку с античным профилем. «Боже мой,— ужаснулся Жуковский,— как летит время! Лизанька уже невеста. А ведь она ровесница Машиной дочери».

Вскоре Жуковский заметил, что Лизанька влюблена в него. Он гнал от себя эти мысли, но стоило ему встретиться с ней взглядом, она не опускала глаза, а долго, с каким-то упоением на него смотрела. Ее взгляд вливался в душу, другого сравнения Василий Андреевич придумать не мог.

С неумолимой жестокостью мелькнула мысль, что даже если она и влюблена в него, он не может позволить себе никаких надежд. Он старик.

А Елизавета и не думала скрывать свое чувство. Отец и мать догадывались о ее любви, и когда Василий Андреевич



Елизавета Алексеевна Жуковская, жена поэта.

в разговоре с Рейтерном намекнул, что Елизавета, по-видимому, испытывает к нему какое-то влечение, рассказал, как она на него смотрела, Рейтерн не удивился.

— Мои годы не позволяют мне ни искать, ни надеяться,— грустно закончил свое признание Жуковский.

— Разница в возрасте велика,— возразил Рейтерн,— но все будет зависеть от Елизаветы. Ни я, ни мать не будем ей ни в чем препятствовать.

Потом, несколько месяцев спустя, Жуковский вернулся к этому разговору, но тут же добавил, что такое счастье для него теперь уже невозможно.

— Отчего же? По-моему, Елизавета к тебе расположена, и уже давно.

Василий Андреевич сказал, что больше ему ничего не надо.

Время шло, а он все не мог набраться храбрости для разговора с Лизой. Он жил в Дюссельдорфе, лето близилось к концу, и Рейтерн, видя его нерешительность, как-то сказал:

— Вчера после ужина Лиза села возле матери и призналась, что влюблена.

Этот разговор происходил в саду. Когда они вернулись, Василий Андреевич обратился к девушке с просьбой:

— Елизавета, дорогая, принесите, пожалуйста, мне в кабинет вашу чернильницу и перо.

Когда она вошла, он стоял у стола с часами в руках. Лиза поставила чернильницу и направилась к двери.

— Не уходите, Елизавета.

Девушка остановилась.

— Позвольте подарить вам эти часы. Часы обозначают время, а время — это жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Примете ли вы ее? Не отвечайте сразу, подумайте, но ни к кому не обращайтесь за советом. Никто не должен помогать вам разобраться в своем сердце. Голос сердца священен, вы должны прислушаться к этому голосу.

— Мне не о чем думать,— воскликнула Елизавета и бросилась ему на шею.

Позвали родителей, которые благословили их с радостью. Свадьбу решено было отпраздновать весной, с тем чтобы Жуковский успел завершить все свои дела в России. Предполагалось, что первое время после свадьбы молодые будут жить в Дюссельдорфе, а затем переедут в Москву.

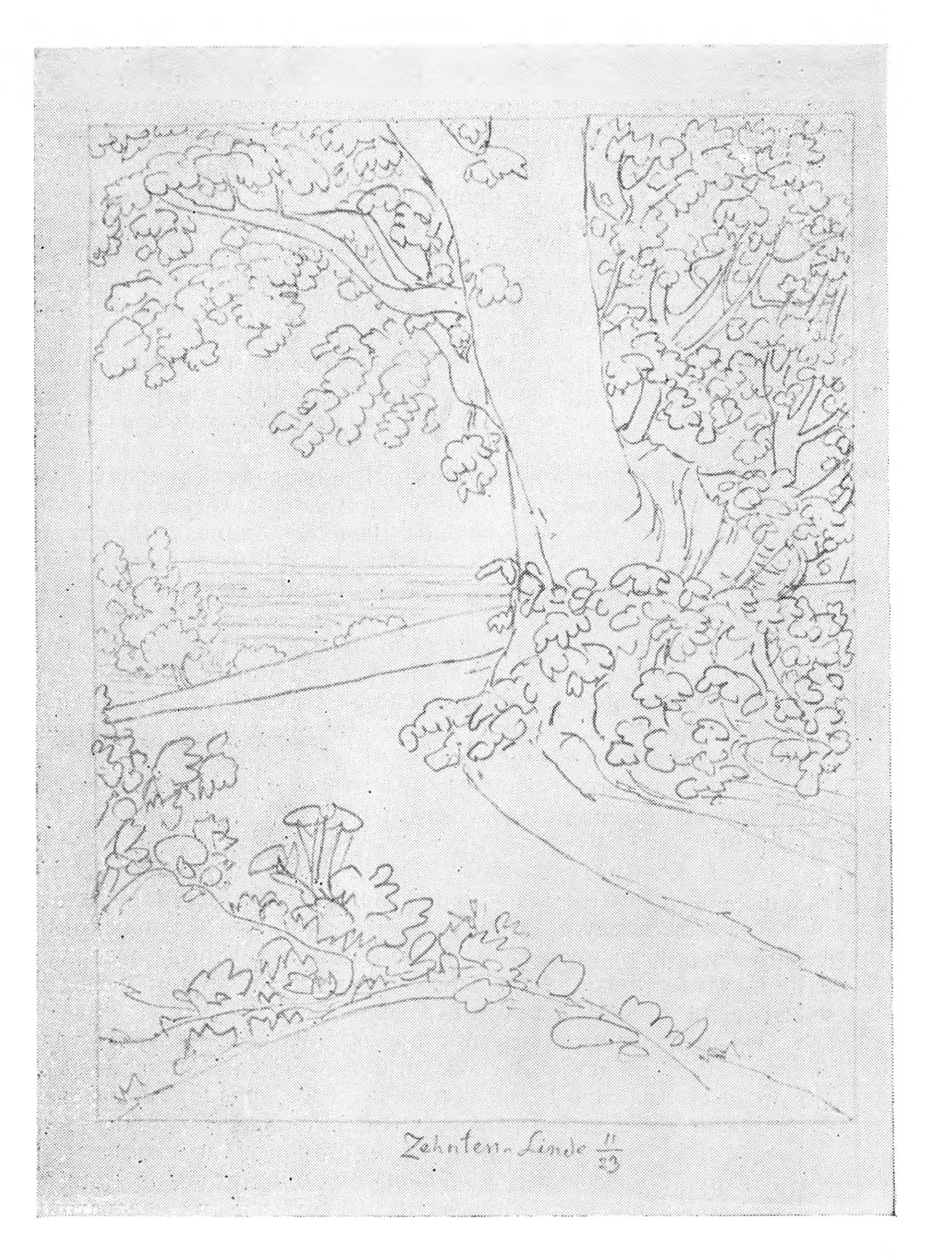


Рисунок В. А. Жуковского (1841 г.).

2

Жуковский, который был лишен собственной семьи и в детстве и в зрелом возрасте, дорожил родственными связями. И он хотел устроить прощание со своими близкими, словно предчувствовал, что больше ему не суждено будет их увидеть.

Никогда еще Москва не встречала Василия Андреевича Жуковского так торжественно, как в январе 1841 года. «Все литераторы и нелитераторы носят его на руках. Обедам и вечерам нет конца»,— писал «Москвитянин».

Вначале он поселился на Мясницкой, в роскошном особняке Александра Дмитриевича Черткова, собирателя древностей, владельца уникальной библиотеки, одной из лучших в городе.

Потом поэт-декабрист Федор Николаевич Глинка уговорил Жуковского переехать к нему на Садовую-Спасскую. Глинка был всего на три года моложе Василия Андреевича, они принадлежали к одному поколению, у них было много общих друзей, общих воспоминаний,— Жуковский отдыхал в его обществе.

Василий Андреевич любил стихотворения Глинки. В них была удаль, тоска, в них чувствовался огромный, чисто русский размах. Было время, когда романс на стихи Федора Глинки «Не слышно шуму городского» знали все, а его песня «Вот мчится тройка удалая...» соперничала с «Тройкой» Вяземского («Тройка мчится, тройка скачет, || Вьется снег из-под копыт...»). Эти песни доходили до самого сердца, народ признал их своими.

У Глинки Жуковскому было уютно и отрадно. Что ни день — встречи с друзьями и старыми знакомыми: все хотели его видеть, послушать, все звали к себе. Это было искреннее, широкое, чисто московское гостеприимство. Иногда совершенно незнакомые люди, увидев его на улице, начинали улыбаться: его знали и любили в этом городе.

Он не забывал своего старого друга Авдотью Петровну Елагину. В дневнике Жуковского, что ни день, записи — у Елагиной. У Авдотьи Петровны снова был полон дом молодежи: подросли ее дети от второго брака. Раньше ее называли «матерью Гракхов», благодаря двум старшим сыновьям Ивану и Петру Киреевским, а теперь она окунулась в интересы Василия, Николая, Андрея, Елизаветы и их сверстников. Авдотья Петровна давала балы, у нее танцевали до утра. Ее дочери и племянницы сами шили себе платья к этим балам,

фасоны им выбирала Авдотья Петровна: изящные и простые.

Той же изысканной простотой отличались и приемы Елагиной. Она принимала по воскресеньям, в этот день весь Хоромный тупик был забит каретами. Здесь обсуждались литературные новинки, отечественные и зарубежные, говорили о религии, об освобождении крестьян, затрагивали философские темы, читали новые произведения, в том числе — не пропущенные цензурой. Особенно часто речь заходила о народных песнях, сказаниях, поверьях, о быте русского народа. Петр Васильевич Киреевский уже более десяти лет готовил издание русских народных песен.



А. П. Елагина.

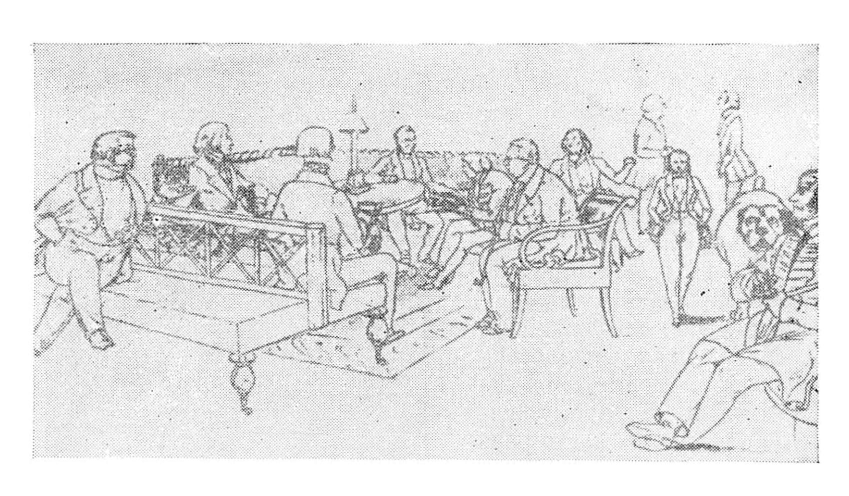
— Я прославился неизданием русских песен,— подшучивал над самим собой Киреевский.

У Елагиной всегда было шумно, весело, многолюдно. Приезжающие знаменитости тоже посещали дом в Хоромном тупике; побывать в Москве и не познакомиться с Елагиной для человека культурного было непростительно: салон этот тем был и знаменит, что в нем собирались мыслящие люди.

У Авдотьи Петровны был дар принимать людей. Интерес к людям был у нее огромный, а приветливость беспримерна. Она отличалась ровным и спокойным характером, выслушивала все мнения, не потакая им и не навязывая своих. С ней всем было легко, атмосфера в салоне была уютная, хотя здесь сходились люди совершенно противоположных убеждений: братья Киреевские, Алексей Степанович Хомяков, братья Аксаковы и Юрий Федорович Самарин, Тимофей Николаевич Грановский. Грановский был завсегдатаем салона Елагиной, он любил прийти пораньше и поговорить с ней с глазу на глаз.

— Своим умом и обаянием Авдотья Петровна несомненно затмила обоих старших сыновей,— как-то сказал Грановский Бартеневу.

Жуковскому любопытно было слушать, как завсегдатаи салона вступали в споры. Особенно горячился Хомяков. В его словах о великой миссии православия было столько страсти



Салон Елагиной. Свербеев, Валуев, Панов, И. Киреевский, Хомяков, Елагин-отец, К. Аксаков, Шевырев, Попов, Елагин-сын, П. Киреевский.

и веры, что, казалось он пойдет на каторгу, в тюрьму и ссылку за свои убеждения. Нетерпеливым жестом отбрасывал он назад подстриженные в кружок волосы и пускался в рассуждения об идеальном государстве:

— Идеал есть допетровская Русь, где существовало согласие между государством, которое обладало полнотой власти, и народом, обладавшим силой мнения.

Тихо и убедительно ему возражал Тимофей Николаевич Грановский. Он отстаивал свою точку зрения с присущим ему достоинством. Хомяков вскакивал, начинал ходить по комнате, а Грановский сидел неподвижно, положив на край стола руку, иногда, в те минуты, когда собеседник начинал особенно нервничать, он опускал веки и продолжал говорить, не глядя на него, все так же тихо и спокойно. И слушателям становилось ясно, что Грановский страстно предан своей науке и нет на свете силы, которая могла бы его заставить отказаться от своих убеждений.

Еще один философ из числа постоянных гостей Авдотьи Петровны привлек внимание Жуковского в этот последний приезд в Москву, хотя Василий Андреевич знал его давно. Это был Петр Яковлевич Чаадаев. Скрестивши на груди руки, медленно переводя бледно-голубые глаза с одного спорщика

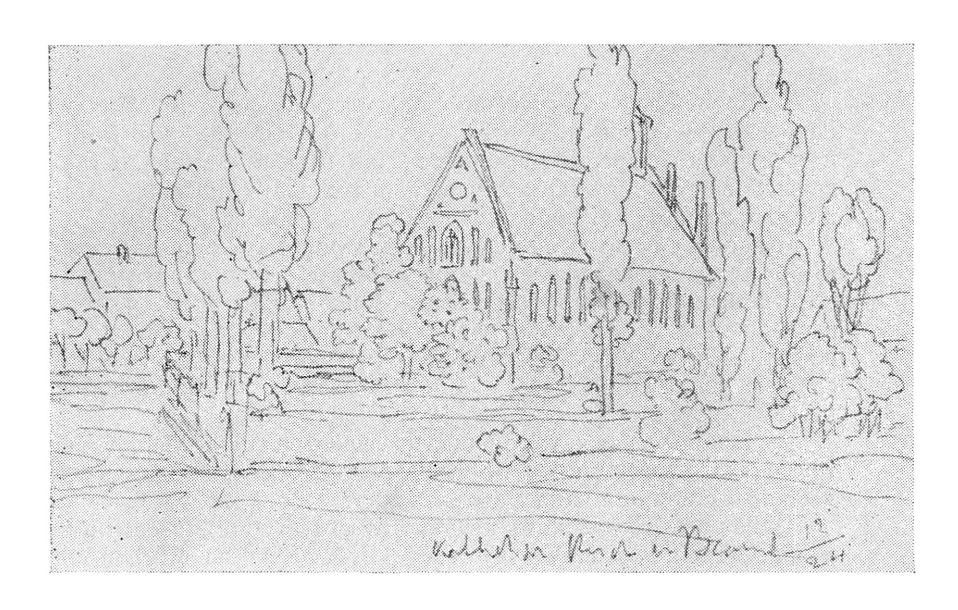


Рисунок В. А. Жуковского (1839 г.).

на другого, наблюдал он за присутствующими. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Риме Жуковский не встречал человека, который был бы так прекрасно одет, как Чаадаев; костюм его отличался изысканностью линий, невыразимо изящным сочетанием тонов.

Чаадаев обладал выдержкой, он не вставлял никаких реплик прежде времени, и весь его вид говорил о том, что он и не собирается вступать в разговор. Но стоило очередному оратору допустить в своих рассуждениях ошибку, в неудачника вонзалась чаадаевская реплика, по меткости и отточенности не знавшая себе равных.

Жуковский не разделял пессимистической концепции Чаадаева, но его отношение к гордому философу было дружески-восторженным.

Простившись с Москвой, Жуковский уехал в столицу. Стояла ранняя весна 1841 года.

3

В Петербурге Жуковский застал Лермонтова. Михаилу Юрьевичу удалось получить отпускной билет на два месяца, и в начале февраля Лермонтов уже был в столице. Старые друзья встретили Лермонтова, первого поэта России, вниманием и лаской, приглашения следовали одно за другим.

Жуковский хотел помочь Лермонтову опубликовать поэму «Демон». В разговоре со своим бывшим воспитанником великим князем Александром Николаевичем Василий Андреевич восторженно отозвался о поэме. Великий князь захотел ознакомиться с этим произведением. Была срочно заказана писарская копия. Однако «высочайшим особам» поэма пришлась не по вкусу:

— Поэма, слов нет, хороша, но сюжет ее не особенно приятен. Отчего Лермонтов не пишет в стиле «Бородина» или «Песни про царя Ивана Васильевича»?

Надежды Жуковского на то, что его бывший воспитанник поддержит Лермонтова, рухнули. Это огорчило Жуковского, но он понимал, что гораздо важнее решить другой, несравненно более серьезный вопрос — освобождение поэта от кавказской ссылки: отпуск Лермонтова подходил к концу.

Василий Андреевич хлопотал о Лермонтове через царицу, но сделать ничего не мог: Николай Первый считал, что автора «Героя нашего времени» лучше держать в действующей армии.

Против монаршей воли не мог идти никто: оставить Лермонтова в столице не удалось. «Счастливого пути, господин Лермонтов» — это ироническое восклицание царя в письме жене легло на него таким же несмываемым позорным пятном, как казнь декабристов: ибо оно подтверждает, что царь жаждал гибели поэта.

Двенадцатого апреля 1841 года Карамзины устроили Михаилу Юрьевичу Лермонтову прощальный вечер. Жуковский пришел на проводы. Лермонтов был печален и все говорил о своей близкой смерти.

Оставалась последняя надежда: через четыре дня должно было состояться бракосочетание воспитанника Жуковского великого князя Александра Николаевича с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской; подобные события всегда сопровождались помилованиями, награждением орденами, чинами.

Лермонтов «прощен» не был.

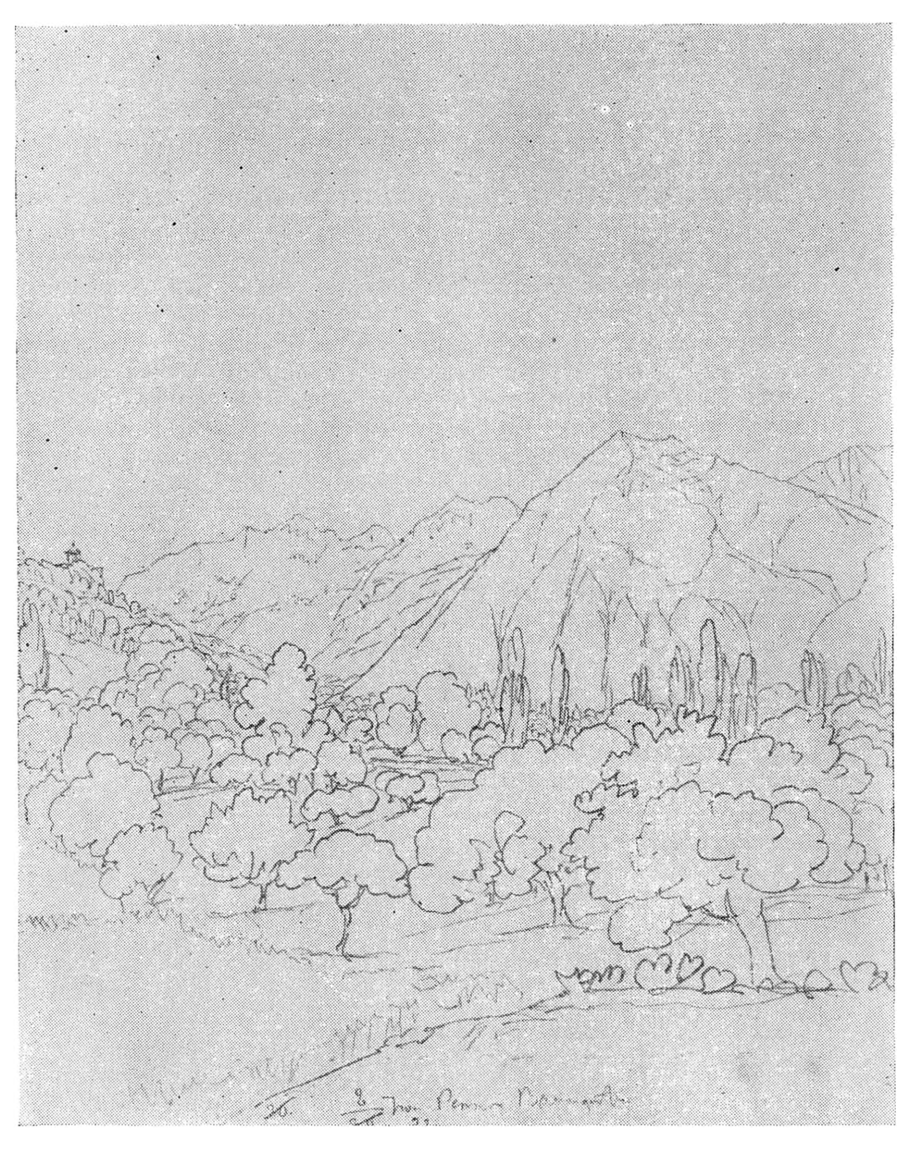


Рисунок В. А. Жуковского (1841 г.).

В середине апреля Лермонтов покинул столицу. Ему не суждено было в нее вернуться: через три месяца он был убит.

Для Василия Андреевича Жуковского этот приезд в Петербург тоже оказался последним.

Грустно было Жуковскому покидать родину!

Накануне своей женитьбы Василий Андреевич позаботился о том, чтобы обеспечить будущее сестер Воейковых: Екатерины, Александры и Марии. Свое имение Мейерсгоф, купленное несколько лет назад, имение, в котором он собирался жить на старости лет, Жуковский продал за сто пятнадцать тысяч известному врачу Карлу Карловичу Зейдлицу, а полученные деньги разделил поровну между сестрами-бесприданницами. Он же просил о том, чтобы их взяли ко двору фрейлинами. Уладив таким образом свои дела, Василий Андреевич Жуковский уехал в Германию к невесте.

4

Венчание Василия Андреевича Жуковского с Елизаветой Рейтерн происходило 21 мая 1841 года в посольстве, в русской церкви Штутгарта. В Дюссельдорфе сняли два домика с садом, из окон открывался чудесный вид на Рейн, и зажили тихой, патриархальной жизнью: в одном доме молодые, в другом — Рейтерн с семьей. Вечера проводили вместе, и вначале все шло хорошо.

Одиннадцатого ноября 1842 года Василий Андреевич написал в своем дневнике:

В 11 1/4 родилась Александра[13]. Накануне поутру в 11-ть часов начало первых мук. Жена, несмотря на них, еще в постели работала, она дошила муфту своей сестры. В шесть часов началось сильнее и чаще, я был один с женою в темноте. Молчание. Устройство горницы для родин. Сильные муки... Ребенок родился синий и без голосу: ровность бабушки. Целый день тревожный...

12 ноября, суббота. Чувств отца угадать нельзя... хотя я и не нахожу в себе живого пламенного чувства, которое мне несвойственно и по натуре моей и по моим летам, но чувствую, что нечто прибавилось к существу моему и дало ему большее значение; привязанность к милой моей жене стала сильнее, нежнее, для меня самого трогательнее. А на дочь не могу смотреть без особенного движения, мне доселе неиз-

вестного: как будто душа поднимается от радости... Нет собственности столь милой, столь решительно принадлежащей нам и в то же время столь с нами тесно соединенной и нас как будто самих увеличивающей, как наше дитя: чувствуешь всю сладость и силу слова *мое*, которое выше и значительнее нежели я. Я не посмотрел на нее тотчас после рождения, кинул только боковой взгляд, увидел синего, неподвижного, молчащего ребенка; я занялся женою, у которой вдруг из страждущего лица сделалось живое, сияющее радостью. Какие мучительные 9 часов; какое замирание, переходящее в безнадежность после каждого сильного порыва мук, в начале которого надежда, в конце которого, после собственного страдания вместе с родильницею, чувство глубокого уныния, страха, нетерпения и какое-то физическое чувство расслабления всех сил душевных. В такие минуты коротко знакомишься с самим собою. По окончании всего главного чувство мое не было счастье: я слишком близко видел страшное, и оно оставило в душе надолго отзыв своего голоса, который долго не давал места никакому другому чувству: чувство матери совсем другое. Хорошо ли мое чувство? Конечно, нет! Жена была терпелива и обнаружила в решительную минуту тот высокий характер, который я нахожу в ней; под конец страдание пересилило ее силу; она стонала, кричала, много раз говорила: «Hilf Gott! O Gott hilf bald!»[14] Но при всем этом не потеряла присутствия духа, была совершенно послушна тому, чего от нее требовали,



Фотография дочери поэта, Александры Васильевны Жуковской.

и не была нисколько нетерпелива. Бог помог! и помог в ту минуту, когда помощь была необходима. Еще несколько минут, и младенцу бы не жить!..

Моя дочка прекрасный ребенок; она, кажется, выждала полный срок своей жизни под сердцем матери прежде, нежели начать собственную жизнь: голова, покрытая густыми черными волосами; глаза, говорят, голубые (я еще не разглядел их), à fleur del tete[15], нос и губы довольно одутлые, теперь похожи на мои; две полные щеки, падающие на подбородок, так что нижняя часть лица шире верхней; грудь полная; все остальные члены, руки и ноги, хорошо сложенные; нет ничего такого, что так необразованно в других детях, вялых и тощих, похожих на гибкий скелет, обтянутый слегка кожей. Дай бог ей продолжения той жизни, которую он сохранил при ее вступлении в свет».

Но сразу после рождения дочери жена Жуковского заболела тяжелым психическим расстройством, которое почти не поддавалось лечению. У нее исчез аппетит, ее постоянно тошнило, она стала необычайно худа, страдала от головных болей, а более всего — от припадков. Василию Андреевичу было тяжело оттого, что он ничем не мог облегчить ее страданий. Он страдал неимоверно, но, как человек верующий, старался безропотно «нести свой крест». Лишь святое искусство — поэзия, которой он был предан всю жизнь, давала забвение его душе.

Жуковский взялся за труд, не имевший себе равных: в январе 1842 года Василий Андреевич начал переводить «Одиссею» Гомера. Потребовался весь его огромный опыт переводчика, его четкий, строгий стиль, чтобы создать лучший из всех существующих переводов «Одиссеи». Жуковский трудился над этим переводом семь лет; эта работа — вершина переводческого мастерства.

Работа шла с перерывами: болезнь жены требовала лечения на водах, то есть переездов; Василий Андреевич тоже болел все чаще и чаще.

Свидания с друзьями напоминали о далекой родине, по которой Василий Андреевич тосковал все больше и больше. Он верил, что вернется в Россию...

5

В 1841 году, в Риме, Гоголь закончил «Мертвые души» и приехал в Россию, чтобы их напечатать. Начались цензурные мытарства, которым, казалось, не будет конца.

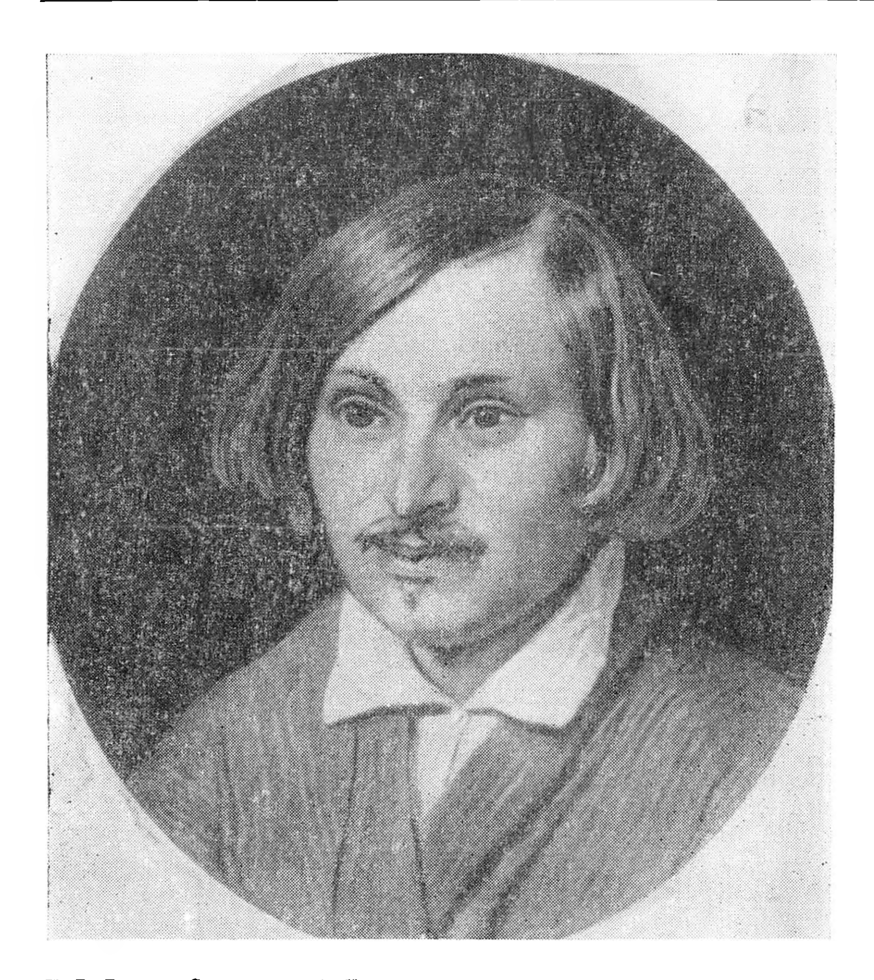
Как только книга вышла, Николай Васильевич Гоголь послал ее Жуковскому с сопроводительным письмом, в котором говорилось: «Ради бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно. Не соблазняйтесь даже счастливым выраженьем, хотя бы оно показалось на первый взгляд достаточным выкупить погрешность. Не читайте без карандаша и бумажки, и тут же на маленьких бумажных лоскутках пишите свои замечанья. Потом, по прочтеньи каждой главы, напишите два-три замечанья вообще обо всей главе. Потом о взаимном отношении всех глав между собою и потом, по прочтении всей книги, вообще обо всей книге, и все эти замечания, и общие и частные, соберите вместе, запечатайте в пакет и отправьте мне. Лучшего подарка мне нельзя теперь сделать ни в каком отношении...

(26 июня (н. ст.) 1842. Берлин).»

И еще один бесценный подарок получил Жуковский от своего друга: портрет кисти Александра Иванова. В иконографии Гоголя этот портрет (ныне он находится в Русском музее) занимает особое место: из всех существующих изображений великого писателя он признан лучшим. Портрет известен в двух экземплярах, тот, что принадлежал Василию Андреевичу, Иванов считал более удачным, основным. Иванов с такой зоркостью передал неповторимые черты облика Гоголя, что чувствуется и его ум, и юмор, и молодой задор. Портрет написан в 1841 году, писателю тридцать два года.

Василия Андреевича одолевали всевозможные заботы. «Он, бедный, провел время жалким образом и не делал доселе ничего по причине двухмесячной возни с столярами и печниками, занявшими все его время на новоселье. Теперь он едва только вытаскивает из-под спуда свою «Одиссею»,— сообщал друзьям Николай Васильевич Гоголь 14 июля 1844 года.

Жуковский перенес на немецкую землю свои белевские идеалы: все так же много работал, все так же стремился делать



Н. В. Гоголь. С портрета А. Иванова.

добро посторонним, родственникам, друзьям, утешал и успокаи-вал больную жену.

Много тревог вызывала у Василия Андреевича средняя дочь Александры Андреевны Воейковой Саша. После смерти старшей сестры Саша Воейкова осталась одна в столице, и Жуков-

ского это очень тревожило: молодая девушка-фрейлина не писала иногда по полгода.

4—16 января 1845.

Милая Саша, поздравляю тебя с новым годом и с моим сыном Павлом, который в самый новый год, в 6 1/2 часов пополудни явился на свет. И мать и сын здоровы. <...> Я же давно хвораю. Теперь радость будет лекарством[16].

Ты опять со мной замолкла, как мертвая. Жаль мне этого за меня и за тебя. За тебя потому, что тебе в твоем теперешнем положении необходимо нужно иметь поверенную душу, в которую бы передавать все, что в ней происходит: свет ты узнаешь еще и лучше меня, ибо ты в него вошла с светским подготовлением; но в свете, который тебя окружает, нужно иметь и свой собственный, отчужденный от внешнего света, свет внутренний, свет души, в этом свете я мог бы тебе быть добрым товарищем, создай его для себя; нигде иного не найдешь приюта.— К кому ты пишешь? С кем ты в беспрестанном сношении? Как идет твоя жизнь? Все это для меня неизвестный X. А тебе и в голову не приходит познакомить меня с своей жизнью.— Я бы желал также, чтобы ты меня уведомила о своих экономических обстоятельствах. Более всего требую, чтобы капитал, мною для тебя составленный, ни в коем случае не был тронут, это доска спасения. Я ничего не знаю о том, что сбылось с оставшимся после Кати капиталом; с моей стороны все, что нужно было,— исполнено; с тех пор все как в воду кануло. <...>

Ж.

Саша по-прежнему не отвечала, тогда Василий Андреевич решил действовать через знакомых: он написал Варваре Павловне Ушаковой, которая сообщила об этом Воейковой. Саша ответила. Жуковский ей снова написал.

18/30 октября 1845.
Франкфурт н/М.

Хорошо же, что Варвара Павловна показала тебе, милая Саша, мое грозное (как ты называешь его) письмо. Это доставило мне наконец удовольствие иметь письмо от тебя — отданное мне Одоевским. <...>Твое письмо смягчило мое *грозное* сердце; в нем отвечает голос твоей матери. Но все-таки оно тебя не оправдало передо мною; все-таки я остаюсь при мысли, что тебе хорошо было бы чаще писать ко мне и писать не по долгу, а просто для раздела со мной твоего житья, для твоего собственного наслаждения (как то бывало с твоим английским милор-

дом, который конечно к тебе не отвечал, и к которому ты все-таки, несмотря на его упорное молчание, писала). Что бы тебе, например, вообразить, что я не Василий Жуковский, a Sir William Djouk. Это бы тебя воспламенило, и я бы имел от тебя много лишних писем, на которые иногда и отвечал бы. А ведь страх подумать, с тех пор как я вас в последний раз видел в Москве, я от тебя получил всего-навсего три письма. <...> Сашка (которой скоро минет три года) милый ребенок, жива, умна, хороша не будет, но будет иметь много прелести — с ней пролетает время очень весело. Другой образ, Павел Васильевич, будет тебе мил уже потому, что совершенно похож на Sir William Djouk. Он толст как бычок; добрый и честный мальчик, но подчас бывает и бешен, что скоро подвергает его действию розги. Со всеми этими образами я скоро явлюсь к вам — это *скоро* значит в августе месяце будущего года.

Прощай, всем сердцем тебя обнимаю.

Ж.

Швальбах, 1846
30 июня
12 июля

Милая Саша, тотчас по получении письма твоего отвечаю тебе, дабы не заслужить от себя и от тебя того же упрека, которым я уже три раза тебя попотчевал. Благодарю тебя за милое твое письмо; оно смыло с моего сердца досаду на тебя. <...> Напрасно ты свою лень сравниваешь с моею, в тех обстоятельствах, в которых мы не писали друг к другу прежде, с теми, в которых ты не писала ко мне теперь. Тогда мы были дома, если я не знал от тебя самой о том, что делалось с тобою, то знал это от твоих. Ты была в своей семье. Теперь ты со всеми ими розна, жизнь, которую ты ведешь, имеет много прелести, но и много увлекательности, особенно опасной для души, так много одаренной, как твоя. Против действия этой враждебной силы одно спасительное средство — строгость с самим собою, а эта строгость ничто, когда она только простая идея; она должна быть ежедневный опыт, должна быть привычкою; не жди для исполнения предписания этой строгости каких-нибудь особенных, важных случаев — в важных случаях нам легче пожертвовать долгу, нежели в мелких, ежедневных; в первом случае мы употребляем все свои силы, приневоленные к тому необходимостью, и тогда победа легче; в последнем все кажется лег-

ким, незаметным, и мы беспрестанно уступаем, не видя никакой необходимости делать больших усилий; ты теряешь свой капитал по копейкам, и он наконец иссякает весь, тогда как если бы нужно было весь его употребить разом, ты бы верно все свои силы напрягнула, чтоб его сберечь. Переписка, вместе с тысячью подобных обязанностей, кажется мелочью, — но она важна уже и потому, что она обязанность, что она за товарищество с теми, кто от нас далеко...

И сверх того скажу: люби, храни, уважай ежедневные мелкие обязанности жизни, ибо из них составляется сущность жизни, как из мгновений годы и все наше земное время.

Это были письма доброго, умного друга. Саша берегла их, часто перечитывала, случалось, плакала над ними, вспоминая свою рано умершую мать и сестру.

6

Ничто не доставляло Жуковскому такой радости, как возможность принять у себя в доме кого-нибудь из старых друзей. Николаю Васильевичу нигде не жилось так привольно, как у Жуковского. Писать в уединении Гоголь не любил, ему хорошо работалось, лишь когда рядом, за стеной, были люди, с которыми он общался.

Гоголь вечно мерз, и, хотя горница его была жарко натоплена, поверх сорочки надевал теплую фуфайку. Он вообще очень дорожил теплыми вещами и часто сам кроил, шил или вязал теплые жилеты и шарфы.

Он любил детей и часами играл с маленькой дочкой друга. Заметив, что дверь в комнату Николая Васильевича отворена, Сашенька устремлялась к нему, удержать ее было невозможно. Но если он писал, она взбиралась на диван и сидела молча, терпеливо ожидая, когда на нее обратят внимание. Случалось, ей надоедало, и она уходила, не проронив ни слова.

Завтрак подавали в девять часов, но до завтрака и Гоголь и Жуковский успевали поработать часа три.

После завтрака снова работали. В полдень Василий Андреевич ложился спать, а от часу до двух в доме — жизнь и движение.

С чисто немецкой педантичностью в два часа — обед. Если позволяла погода, после обеда все собирались в саду.

Когда Гоголь заболел, Василий Андреевич ухаживал за ним, как за малым ребенком, и был счастлив, выходив своего друга. Жуковский всегда старался помочь Гоголю.

7

Вяземский не советовал Жуковскому возвращаться на родину: империя Николая Первого была местом, совершенно неприспособленным для нормальной человеческой жизни. Немецкая идиллия и древнегреческая поэзия, по мнению Петра Андреевича, были куда более подходящими для Жуковского, хотя Вяземский и понимал, что жизнь на чужбине тягостна для Василия Андреевича.

Вяземский по-своему был прав. Что собой представляла Россия сороковых годов, отчасти видно из полемики, разгоревшейся вокруг книги маркиза де Кюстина «La Russie en 1839» («Россия в 1839»), хотя в этой книге и нет всей правды о России. Книга вышла в Париже в 1843 году. Маркиз де Кюстин провел в России несколько месяцев, беседовал с царем. По словам Герцена, «...это самая интересная и умная книга, написанная о России иностранцем... Тягостно влияние этой книги на русского, голова склоняется на грудь и руки опускаются; и тягостно оттого, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места, и миришься с ним за многое и более всего за любовь к народу».

Николай Первый судил о книге иначе:

— Моя вина, зачем я говорил с этим негодяем!

Царь в ней прочел такие вещи, каких ему никогда не приходилось слышать. «Русское правительство, — писал Кюстин, — это... осадное положение, сделавшееся нормальным состоянием общества».

Вокруг книги Кюстина поднялся шум. Многие ставили в вину маркизу, что он пользовался гостеприимством русского царя, а потом написал о его стране клеветническое произведение. Жуковский не разделял этого мнения, однако поведение маркиза не одобрял.

Друг Жуковского Петр Андреевич Вяземский писал ему вскоре после того, как царское правительство приняло очередной бюрократический закон, направленный против граждан своей страны.

Вяземский — Жуковскому

21 марта 1844 г.

Безгласность, низость, трусость, в которых погрязли все наши сановники, неимоверны. Ни один из них не понимает, что

для самой пользы монархической, для самой пользы лица, которому они будто бы преданы, бывают случаи, в которые обязанность требует отказаться от участия в мерах, признаваемых пагубными. Каждый видит, что меры пагубны, но ни один из них не имеет духа отойти от зла, идти в отставку и протестовать добросовестно и в истинном смысле верноподданнически против направления, которое всех пугает. Никогда еще общее уныние не было так решительно и глубоко, как ныне. Всего не выскажешь, всей горечи не изольешь, и лучше наложить печать на уста и на сердце. Мудрено ли, что Европа вопиет против нас, когда мы во всем идем против течения. И счастливо еще, что Европа и все ее Кюстины и журналы врут и не знают половины того, что у нас делается, и судят криво и бестолково о том, что знают худо и поверхностно. Истина была бы гораздо хуже всех их вымыслов...

8

В конце лета 1844 года во Франкфурте Василия Андреевича навестил Александр Иванович Тургенев. Это была величайшая радость для них обоих. Тургенев вдруг вспомнил:

— В день нашего знакомства я спросил: сколько тебе лет? — и ты ответил...

— Много. Уже пятнадцатый пошел,— закончил Жуковский, и они весело рассмеялись.

Дом Жуковского пленил Тургенева. Он был потрясен: убранство комнат, изумительные картины, чистота и изысканно-благородная простота — это как-то успокаивающе благотворно действовало на душу.

А Жуковский радовался, что его друг хоть немного отдохнет от своих вечных переездов. В следующем году Тургенев еще раз навестил Василия Андреевича. Но прошло несколько месяцев, и нежданно-негаданно из Москвы пришла горестная весть: Александр Иванович Тургенев скончался в доме своей родственницы на Арбате. 1 декабря Тургенева видели в университете, на лекции профессора Грановского, 2 декабря — в пересыльной тюрьме на Воробьевых горах, где он раздавал деньги заключенным и беседовал с ними. День был холодный, ветреный, Тургенев простудился, заболел и на следующий день его не стало...

Неустроенной и неуютной была жизнь Гоголя за границей. Жуковскому и Смирновой не раз приходилось обращаться с ходатайствами о помощи Гоголю в высшие инстанции.

Жуковский — Орлову

7 (19) апреля 1845 г.
Франкфурт-на-Майне

Милостивый государь граф Алексей Федорович. Александра Осиповна Смирнова писала ко мне, что когда она говорила с вашим сиятельством о Гоголе, то вы изъявили ей желание знать о нем мое мнение. Спешу выразить его как можно короче, зная, что вы записной враг длинных писем.

Гоголь есть один из самых оригинальных русских писателей. Написал мало потому, что часто бывает болен, но что написал, то чрезвычайно значительно. В таких людях, как он, самое важное есть та *надежда,* которую подают они: если эта надежда часто не исполняется, то виною тому их обстоятельства, а не их воля. Гоголь есть одна из этих *больших надежд;* но обстоятельства, которые грозят этой надежде неисполнением, суть *болезнь и бедность.* Чтобы писать, надобно быть здоровым или хотя полуздоровым; кто же болен, тому надобно вылечиться; чтобы вылечиться, надобно иметь карман полный или хотя бы полуполный; чтобы, вылечившись, писать, надобно что-нибудь притом есть и пить не раз в неделю, а каждый день один раз; и для этого нужна вышесказанная полуполнота кармана. Гоголь болен и болен нервами (это я видел в его шестимесячное пребывание у меня во Франкфурте); вылечиться ему нечем; а если и вылечится, то нечем будет доставлять себе удовольствие есть каждый день. Следовательно, Гоголю ни больному, ни здоровому нельзя будет писать...

Жуковского тоже не покидали несчастья: жена болела, ее сестра Миа умерла от «нервической болезни». Им овладело тяжелое мистическое настроение: один за другим уходили из жизни друзья, родственники и знакомые. Уже не было на свете Екатерины Афанасьевны Протасовой, которая всю жизнь жаловалась на слабое здоровье, но дожила до глубокой старости, похоронив обеих дочерей, старшую внучку и зятя, Воейкова. Смерть Александра Федоровича Воейкова обнажила истину: он пользовался гораздо бóльшей славой, чем того заслужил своими произведениями. У него были способности, связи, громкое имя, он прожил более шестидесяти лет, но, кроме стихотворной сатиры «Дом сумасшедших», он почти ничего не успел сделать. Это был человек, который думал только о себе, и поэтому посто-

янно мучился завистью и копил обиды. Незадолго до смерти он обиделся на баснописца Крылова:

Державин спит в сырой могиле;
Жуковский пишет чепуху;
И уж Крылов теперь не в силе
Сварить «Демьянову уху».

Через несколько дней после того, как Воейков написал эту эпиграмму, он умер. Так закончилась его жизнь...

Из событий этих лет было одно чрезвычайно радостное для Жуковского — дочь Маши Протасовой Катя Мойер вышла замуж за сына Авдотьи Петровны Елагиной Василия (они прожили долгую жизнь, в которой было много страданий, но была и великая радость — видеть большую, счастливую семью своей дочери, названной в честь бабушки Марией. Это была любимая внучка Авдотьи Петровны Елагиной, дожившей до глубокой старости и до конца остававшейся милой и радушной, как в молодые годы).

9

На чужбине Жуковскому исполнилось шестьдесят и пошел седьмой десяток. В дни далекой молодости, мечтая соединить себя брачными узами с Машей Протасовой, Василий Андреевич выразил свой идеал семейной жизни так:

«Женитьба есть товарищество для совершенства».

К его собственному браку эти слова нельзя было отнести: он был слишком поздний. Найдя эту фразу в своей старой тетради, Жуковский хотел было ее зачеркнуть, но остановился: по сути дела она была глубоко справедлива.

. . . . я увидел
Себя на берегу реки широкой;
Садилось солнце; тихо по водам
Суда, сияя, плыли, и за ними
Серебряный тянулся след; вблизи
В кустах светился домик; на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла...
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью...

Строчки эти взяты из посвящения, написанного Жуковским к одной из его эпических поэм, они показывают внешнюю сто-

рону его семейной идиллии, в них нет ни слова о том неизбывном горе, что в конце концов подорвало его силы.

Он полюбил своих детей мучительной любовью старого отца, который боится скорой и неминуемой разлуки с ними. Свою дочь Сашеньку Василий Андреевич считал гениальным ребенком, а в сыне скоро разглядел собственный портрет: «Павел весь я с головы до пят, физически и нравственно», — утверждал он. Он составил методическое пособие по обучению детей, причем позаботился сделать его так, чтобы можно было впоследствии издать. Он боялся, что дети его не будут понимать по-русски, и сочинил для них стихи и сказки. Великий педагог написал несколько стихотворений, по которым до сих пор учат читать детей:

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит;
. . . .

(«Котик и козлик»)

Жил маленький мальчик:
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазенки,
Как пух волосенки;
. . . .

(«Мальчик с пальчик»)

Одно из этих стихотворений — «Царскосельский лебедь», — оказалось слишком серьезным для девятилетней дочери Жуковского, не говоря о ее младшем брате. Более того, оно в некотором смысле автобиографично: Василий Андреевич сравнивает себя со старым лебедем.

Дни текли за днями. Лебедь позабытый
Таял одиноко, а младое племя
В шуме резвой жизни забывало время...
Раз среди их шума раздался чудесно
Голос, всю пронзивший бездну поднебесной;
. . . .
Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!
А когда допел он — на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши —
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало.
. . . .

10

Жуковский жил уединенно в крошечном, изолированном мирке, и был страшно далек от окружавшей его жизни.

Живя в Германии, он душой и сердцем был связан с Россией. Его ничто так не интересовало, как состояние русской литературы и судьба русских писателей. Кроме того, Василий Андреевич считал своим долгом заботиться о декабристах.

Он не всем помог, и помощь его была не так велика, как ему хотелось, но никому не удалось сделать для декабристов больше, чем сделал Жуковский. Василию Андреевичу не могло помешать даже то, что он находился от осужденных за тридевять земель: они писали ему за границу. Другое дело, что Третье отделение иногда не пересылало писем ссыльных.

* * *

В далеком Франкфурте-на-Майне Василий Андреевич Жуковский был обрадован письмом от героя Бородинского сражения, осужденного на каторжные работы в Нерчинских рудниках, Александра Федоровича фон-дер-Бриггена. Они познакомились в городе Кургане во время путешествия наследника по России, и Василий Андреевич запомнил старого воина.

Изгнанник сообщал поэту, что в ссылке он перевел «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря и просил у Жуковского разрешения посвятить ему этот труд.

Жуковский — фон-дер-Бриггену

18 (30) июня 1845,
Франкфурт-на-Майне.

Письмо ваше, почтеннейший Александр Федорович (от 6 апреля ст. ст. из Кургана), получено мною 19 (31) мая во Франкфурте-на-Майне, где я живу уже около года. Оно было для меня приятною и трогательною неожиданностию. Сердечно благодарю вас как за дружеские сказанные мне слова, так и за желание ваше посвятить мне ваш перевод Кесаря, на что с благодарностью соглашаюсь. Не предполагаю нимало, чтоб исполнению этого желания и напечатанию вашего перевода было положено какое-нибудь препятствие. Книга ваша доставит полезное чтение для людей военных и в то же время будет замечательным явлением литературным: мы бедны хорошими переводами классиков древних; давно бы пора за них приняться. Верные пере-

воды латинских и греческих поэтов и прозаиков (*верные* в высоком смысле, то есть не безжизненное слово в слово, а отзыв одного языка в другом так, чтоб и тот и другой слышались в одно время, не вредя один другому несогласием звуков, а составляя гармонию из их разнородности и различия), такие переводы принесли бы несказанную пользу нашему языку, уже довольно утвердившемуся, но еще много приобресть могущему: он свое образование более заимствовал у языков новейших, а дух древности еще не сходил на него. В этом отношении труд ваш меня весьма радует; я уверен, что у вас Кесарь будет говорить русским языком, не потеряв нисколько своего римского величия и своей классической прелести; что он, переменив только одежду, явится на севере таким точно, каким бывал во время оно на Тибре: увлекательный оратор, пленительный своею мужественною простотою и многовыражающею краткостию. В то же время я уверен, что труд ваш доставил вам самим много истинного наслаждения, и желал бы, чтоб вы им не ограничились. После Кесаря вам уже можно бы вступить в борьбу и с великою силою Тацита и с благородным красноречием Тита Ливия.<...> Труд — великий волшебник; он всемогущий властитель настоящего. Какими бы глазами не смотрело на нас это *настоящее,* дружелюбными или суровыми, труд заговаривает его печали, дает значительность и прочность его летучим радостям. И в Кургане это волшебство равно действительно, как и на берегу Майна. <...> Один из моих коротких приятелей... имеет давно намерение заняться изданием классических книг в России. Вот вам его и с ним вместе мое предложение: не согласитесь ли provisoirement[17] уступить нам рукописи вашего перевода на *одно* издание с правом пользоваться продажею его в продолжение *трех лет* по выходе в свет книги. За эту рукопись предлагаем вам теперь 2500 рублей ассигнациями, с тем чтобы по напечатании книги и по выручке денег, употребленных на напечатание, все, что составит чистый барыш, было доставлено вам. <...> Вы же теперь принимайтесь за новый труд; я бы предложил вам две работы: одна — просто перевод одного из классических историков древности, с надлежащими дополнениями и объяснениями; другая (и признаюсь, я предпочел бы эту *другую* работу): *составление избранной библиотеки из древних историков.* <...>

Искренно преданный вам

Жуковский.

Николай Первый разрешил печатание книги и посвящение ее Жуковскому, однако без упоминания имени переводчика. Фон-дер-Бригген согласился и 17 сентября 1848 года отправил из Кургана в Третье отделение первую часть своей рукописи. Тогда Василий Андреевич перевел Дуббельту для пересылки Бриггену семьсот четырнадцать рублей.

У Василия Андреевича Жуковского жизнь была в это время тревожная из-за болезни его жены, но он не забывал о своем знакомом, живущем в изгнании, и когда тот задержал пересылку второй части своего перевода, Жуковский написал Дуббельту взволнованное письмо и снова перевел деньги для фон-дер-Бриггена.

Труд Бриггена ныне хранится в архиве Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. На титульном листе рукописи — посвящение:

**Посвящаю Василию Андреевичу Жуковскому,
душою и стихом поэту и другу человечества,
в знак личного уважения и преданности нелицемерной.**

11

Четвертого февраля 1847 года Василий Андреевич Жуковский пишет Николаю Васильевичу Гоголю из Франфурта-на-Майне:

«А я вас сменил на череде испытания, и оно совершается надо мною самым тяжким образом, совершается в моей бедной жене. Вы оставили ее уже больною. Болезнь скоро миновалась, и она могла покинуть постель; говорю та болезнь, [которую вы видели]; место ее заняла другая, мучительная, неотступная, та, которую вы слишком знаете, но которую знаете в другом, и я думаю, менее суровом виде — нервы ее сильно расстроены; беспрестанная тоска физическая, выражающаяся в страхе смерти, и беспрестанная тоска душевная, выражающаяся в совершенной безнадежности. Никакая сила не может отторгнуть от нее этих черных мыслей, которые, как чудовища, налетают на ее душу. Она почти ничем не может заниматься, и никто никакого развлечения ей дать не может. Чтение действует на ее нервы; разговор только о своей болезни, и как нарочно наш семейный круг часто бывает разрознен болезнями, так что мы бываем совершенно одни; но с этой стороны, однако, главная нам помощь. До сих пор она могла ходить и укреплять себя воздухом, с некоторого времени и это миновалось: простуда заперла ее дома, а другое расстройство положило на две недели в постель. Теперь опять начинает она двигаться; но слаба и похудела, как



Горельеф В. А. Жуковского. Воск.

скелет. Такова наша жизнь... При всем этом «Одиссея» молчит, и вот уже два года ровно, как она молчит. О том, что внутри меня происходит, я не говорю; я мало им доволен, и это удваивает бедствие. Помоги бог быть достойным посылаемого им испытания и переносить его так, как он того требует».

Шли годы, а семью Жуковского все не покидали несчастья.

«Жена продолжает страдать, и тебе понятнее, нежели другим, каково ей, — ты сам испытал все эти муки, которые не потому так тягостны, что сокрушают счастье жизни, но более потому, что отнимают у души всякую способность переносить их с покорным терпением», — писал Василий Андреевич Николаю Васильевичу Гоголю, который был в курсе всех его домашних дел.

Великий волшебник — труд все еще выручал Жуковского. Перевод «Одиссеи» он считал памятником своей поэтической жизни в России. О работе над этим переводом Василий Андреевич написал подробнейшее письмо Сергею Семеновичу Уварову, министру народного просвещения.

Жуковский — Уварову.

12 (24) сентября 1847,
Франкфурт-на-Майне.

...перешедши на старости в спокойное пристанище семейной жизни, мне захотелось повеселить душу первобытной поэзией, которая так светла и тиха, так животворит и покоит, так мирно окружает все нас окружающее, так не тревожит и не стремит ни в какую туманную даль.

Мне помогла немецкая совестливая, трудолюбивая ученость. В Дюссельдорфе я нашел профессора Грасгофа, великого эллиниста, который в особенности занимался объяснением Гомера. Он взял на себя помочь моему невежеству. Собственноручно, весьма четко он переписал мне в оригинале всю «Одиссею»; под каждым греческим словом поставил немецкое слово, и под каждым немецким грамматический смысл оригинального. Таким образом я мог иметь перед собою весь буквальный смысл Одиссеи и иметь перед глазами весь порядок слов; в этом хаотически-верном переводе, недоступном читателю, были, так сказать, собраны передо мною все элементы здания; недоставало только красоты, стройности и гармонии. <...> Мне надлежало из данного нестройного выгадывать скрывающееся в нем стройное, чутьем поэтическим осмысливать красоту в безобразии и творить гармонию из звуков, терзающих ухо; и все это не во вред,

а с верным сохранением древней физиономии оригинала. В этом отношении и перевод мой может показаться оригинальным. <...> я старался переводить слово в слово, сколько это возможно без насилия языка (отчего верность рабская становится часто рабскою изменою). <...> перевод Гомера не может быть похож ни на какой другой. Во всяком другом поэте, не первобытном, а уже поэте-художнике, встречаешь с естественным его вдохновением и работу искусства. В Гомере этого искусства нет; он младенец, видевший во сне все, что есть чудного на земле и небесах, и лепечущий об этом звонким, ребяческим голосом на груди у своей кормилицы-природы. Это тихая, широкая, светлая река без волн, отражающая чисто и верно и небо, и берега, и все, что на берегах живет и движется; видишь одно верное отражение, а светлый кристалл отражающий как будто не существует: око его не чувствует».

То же, только в краткой форме, Жуковский сообщает другому знакомому: «Я (во время óно родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских) под старость загладил свой грех и отворил для отечественной поэзии дверь эдема, не утраченного ею, но до сих пор для не запертого (10 марта н. ст. 1849)».

На предложение Жуковского издать сокращенный вариант «Одиссеи» Уваров ответил: «Что же касается до *очищенного* издания «Одиссеи», то, по моему мнению, нет никакой нужды к оному приступать. Везде и всегда юношество читает Омера в полных изданиях, и нигде не замечено, чтобы это чтение производило соблазн малейший».

В апреле 1849 года Жуковский закончил свой многолетний труд: перевод «Одиссеи» Гомера. Он сообщил об этом друзьям. Гоголь прислал восторженный ответ:

«Миллион поцелуев и ничего больше! Известие об оконченной и напечатанной «Одиссее» отняло язык. Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования. Может быть, и оттого, что русскому герою с русским народом нужно быть несравненно увертливей, нежели греческому с греками. Может быть, и оттого, что автору «Мертвых душ» нужно быть гораздо лучше душой, нежели скотина Чичиков. Письмо напишу — и будет длинное».

Гоголь был в восторге от «Одиссеи» Жуковского: приехав в Москву, Гоголь прочел всю «Одиссею» Сергею Тимофеевичу Аксакову и его домашним. Перевод понравился, о чтении и говорить не приходится, оно всегда покоряло слушателей.

Незаметно для себя Василий Андреевич перешел с Гоголем на «ты»: «Мой милый Гоголек, коротенькое письмецо твое... я получил. Благодарю... Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки...

Речь шла о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», которую несколько времени спустя сам автор в письме Жуковскому охарактеризовал достаточно ясно: «Появление моей книги разразилось точно в виде оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому... Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее».

Жуковский не раз обещал прислать подробный разбор книги Гоголя, но так и не сделал этого.

Писатель Осип Иванович Сенковский, полиглот и ориенталист, в 1849 году выступил со статьей «Одиссея и ее переводы». В этой статье автор восклицает: Жуковский, со своим светлым словом, со своим пленительным русским стихом, Жуковский, поэт нынче более чем когда-либо, поэт, когда все перестали быть поэтами...

12

В 1851 году в Карлсруэ вышло «Полное собрание сочинений в стихах и прозе» Жуковского. Это было пятое, последнее прижизненное издание его произведений.

Жуковский так и не успел вернуться на родину. Из года в год отъезд приходилось откладывать. Жена немного оправилась. Был назначен день отъезда, начались приготовления в дорогу.

Но неожиданно он начал терять зрение. Случилось невероятное: в душе поэта поднялся прилив сил и мыслей, рифмы рвались на бумагу, как в те далекие годы, когда он был молод.

Разбитый, полуослепший, он не переставал писать; старость, прежде времени разрушившая его тело, почти не коснулась мозга. «И странное дело! Почти через два дня после начала моей болезни загромоздилась во мне поэзия, и я принялся за поэму...» — писал Жуковский другу, Петру Александровичу Плетневу.

«Теперь моя эпистолярная деятельность должна прекратиться. У меня работы по горло, и мне беспрестанно говорит тайный голос: спеши! Не то чтобы это был голос смерти; нет,

но глаза слабеют и слух тупеет. Что, если мне назначено, не кончив начатого, ослепнуть и оглохнуть? <...> Между тем постараюсь воспользоваться, сколько можно, собою, пока я еще цел. Для этого надобно только строго экономить временем», — писал Василий Андреевич тому же адресату.

Еще одно чувство было в нем сильнее всех болезней — любовь к родине. Перед самой его смертью пришла весть о кончине Николая Васильевича Гоголя. Слепой Жуковский диктует письмо в Россию.

Жуковский — Плетневу

5 (17) марта 1852 г.
Баден-Баден.

Любезнейший Петр Александрович, какою вестью вы меня оглушили, и как она для меня была неожиданна! Весьма недавно я получил еще письмо от Гоголя, и собирался ему отвечать, и хотел дать ему отчет в моей теперешней стихотворной работе... И вот уж его нет! Я жалею о нем несказанно собственно для себя: я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении. Теперь мой литературный мир состоит из четырех лиц — из двух мужского пола и из двух женского: к первой половине принадлежите вы и Вяземский, к последней две старушки — Елагина и Зонтаг. Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь! жалею об нем еще для его начатых и неконченных работ; для нашей литературы он потеря незаменяемая. <...> Гоголь, стоящий четыре дня на коленях, не вставая, не евши и не пивши, окруженный образами и говорящий кротко тем, которые о нем заботились: *«Оставьте меня, мне хорошо»,*— <...> Что возмутило эту страждущую душу в последние минуты, я не знаю; но он молился, чтобы успокоить себя... Надобно нам, его друзьям, позаботиться о издании его сочинений, о издании полном, красивом, по подписке в пользу его семейства (у него, кажется, живы мать и две сестры). Если публиковать теперь подписку, то она может быть богатая. Позаботьтесь об этом. Если бы я был в России, то бы дело разом скипело. Между тем от себя напишу к Толстому. А вас прошу сообщить мне как можно более подробностей о его последних минутах.

Ваш *Жуковский.*

Напрягая силы, Василий Андреевич Жуковский писал свое последнее произведение. Наконец настал день, когда он продиктовал отрывок из четырнадцати строчек, на которых обрывается поэма «Агасвер»:

. . . . И уже второе
Тысячелетие к концу подходит
С тех пор, как по земле я одинокой
Дорогою иду. И в этот путь
Пошел я с той границы, на которой
Мир древний кончился, где на его
Могиле колыбель свою поставил
Новорожденный мир. За сей границей,
Как великанские сквозь тонкий сумрак
Рассвета смутно зримые громады
Снежноголовых гор, стоят минувших
Веков видения: остовы древних
Империй (как слои в огромном теле
Гор первобытных), слитые в одно
Великого минувшего созданье.

Больше Жуковскому не суждено было написать ни слова. Эта запись сделана 31 марта (12 апреля) 1852 года, дата проставлена на полях рукописи рукой Жуковского.

1 (13) апреля Василий Андреевич почувствовал себя плохо. Это было сильное недомогание. Он решил отлежаться, после великого поста у него и раньше бывал такой упадок сил. Но прошел день, другой, третий, Василию Андреевичу не становилось лучше. Через неделю из Штутгарта приехал русский священник Базаров. Когда наутро он вошел в комнату Жуковского и Василий Андреевич его увидел, больной все понял и зарыдал.

Вопреки легенде о его легком и счастливом конце, Жуковский гнал от себя смерть, долго не сдавался, пытался убедить священника, что в данный момент он был недостоин причащения:

— Ну, теперь нечего делать, надо отложить. Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... Как же таким явиться перед ним?

Он нервничал, беспрестанно хватался за голову. Священник не отступал.

— Мысль о сиротстве жены и детей не дает мне углубиться в себя. Я недостоин.

Базаров заговорил о вере.

— Я готов похоронить жену и детей, у меня станет веры перенести это несчастье. Но тяжело умирать, зная, что остав-

ляешь сиротами жену и двух детей. Мысль о детях *как дубина колотит меня в голову*. Я недостоин.

Жуковский зарыдал.

В подробном описании последних дней Жуковского, присланном из Баден-Бадена великому князю Александру Николаевичу и хранящемуся в его архиве, последняя фраза подчеркнута. Василий Андреевич, как никогда, нуждался в эту минуту в присутствии доброго друга — Тургенева, Гоголя, Вяземского или Елагиной, но первых двух уже не было на свете, а двое других были далеко.

Какая тоска, какое невыразимое горе — умирать под чужим небом! — от одной этой мысли он не мог сдержать слез. Второе горе — сиротство детей. Он написал в духовном завещании, что дочь его при всех обстоятельствах должна быть при матери, а сын, после окончания гимназии, должен, согласно воле отца, поступить в один из русских университетов, но он не оставлял своим детям никакого капитала и не был уверен, что они не будут нуждаться.

Священник убедил Василия Андреевича не откладывать причащения. Когда же он на следующее утро пришел проститься и сказал Жуковскому: «До свидания», Василий Андреевич ответил:

— Мы более здесь не увидимся.

Теперь он не цеплялся за жизнь, смирился с мыслью о смерти, сказал Базарову, что самое главное в его незавершенных работах.

— «Агасвер» — это моя лебединая песнь. В ней я описал последние годы моей жизни.

А когда священник уехал, он сказал своему камердинеру:

— Василий, когда я умру, закрой мне глаза.

В субботу 12 (24) апреля 1855 года в час тридцать семь минут пополуночи Василий Андреевич Жуковский умер.

По желанию вдовы поэта он был похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре, рядом с Карамзиным.

Прошло более четверти века. Россия праздновала столетие со дня рождения Жуковского: Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук устроило по этому поводу торжественное заседание. Собрание открыл академик Грот:

— В современную жизнь нашу, материальную и тревожную, неожиданно является духовно ясный и спокойный образ идеального поэта. Невольно спрашиваешь себя: способны ли мы, погрязшие в эгоистических интересах настоящего, вполне понять и оценить это светлое явление? Попытаемся на несколько минут отрешиться от своих забот и стремлений, чтобы приветливо встретить дорогого пришельца из другой, чуждой нам среды, и отнестись к нему с любовью, с полной готовностью принять те духовные сокровища, которые он несет нам в своем чарующем слове, в своей назидательной жизни.

Эти слова имеют особое значение: это мост, перекинутый из прошлого в настоящее.

И уже в нашем веке то же сделал Александр Блок. Вспомнив пророческие слова Пушкина о поэзии Жуковского:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,—

Блок приходит к следующему выводу: «Никогда «младость» не перестанет «вздыхать о славе» и не предастся серой, уравнительной пошлости. Жуковский подарил нас мечтой, действительно прошедшей сквозь страду жизни. Оттого он наш — родной, близкий».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Через сто лет академик Грот установил, что в метрической книге села Мишенского, хранящейся в архиве Тульской духовной консистории, значится, что В. А. Жуковский родился 26 января 1783 года, а крещен 30-го того же месяца священником Иваном Ивановым. Однако Грот пишет, что лучше «по незначительности разницы остаться при собственном его показании 29-го числа, хотя и вероятнее, что обряд крещения совершен был спустя несколько дней после рождения мальчика, а не на следующие же сутки».

[2] В те времена Ока у Белева была глубока и судоходна, она обмелела в 70-х годах прошлого века.

[3] Карамзин несколько изменил фамилию своего ученика, до этого ее писали Жуковской.

[4] С этим чудовищем, с этим выродком-сыном *(франц.)*.

[5] Его молчание — общественное бедствие *(франц.)*.

[6] С чем же? *(нем.)*.

[7] Смехом добряка *(франц.)*.

[8] Храм Христа Спасителя в Москве, который строился, как пантеон героев 1812 года.

[9] Подлинник по-французски.

[10] Листки, написанные Жуковским, до сих пор висят на лестнице последней квартиры Пушкина.

[11] Высокого полета *(франц.)*.

[12] Голова короля *(англ.)*.

[13] Дочь В. А. Жуковского Александра Васильевна, в замужестве баронесса Вормен (1842—1899).

[14] Господи, помоги! О боже, помоги скорее! *(нем.)*.
[15] Навыкате *(франц.)*.
[16] Сын В. А. Жуковского Павел Васильевич (1845—1916).
[17] Предварительно *(франц.)*.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖУКОВСКОГО

(1783—1852)

1783 г. 29 января (9 февраля) в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии родился Василий Андреевич Жуковский.

1791 г. Умер отец Жуковского Афанасий Иванович Бунин (1716—1791).

1797—1800-е гг. Годы учения в Университетском благородном пансионе в Москве.

1797 г. В университетском журнале «Приятное и полезное препровождение времени» напечатаны первые стихотворения Жуковского.

1802 г. Перевел с английского элегию Грея «Сельское кладбище», которую считал своим первым серьезным произведением. Начало дружбы с Н. М. Карамзиным.

1803 г. По собственному проекту построил себе в Белеве на Ершовской улице дом, где и поселился.

1808—1810 гг. Переехал в Москву и редактировал журнал «Вестник Европы».

1808—1812 гг. Написал балладу «Светлана».

1812 г., первые числа августа. Записался в Московское ополчение поручиком.

6 ноября. За отличие в сражениях награжден чином штабс-капитана и орденом св. Анны 2-ой степени.

1815 г. Переезд в Петербург. Участие в создании литературного общества «Арзамас».

Вышли «Стихотворения» В. А. Жуковского.

1816 г., 8 апреля. Философский факультет Дерптского университета удостоил Жуковского звания доктора философии.

1818 г., 5 октября Жуковский стал членом Российской академии.

1820 г., октябрь — 1822 г., февраль. Первое заграничное путешествие. За два с половиной года русская литература обогатилась такими превосходными творениями, как «Шильонский узник» Байрона и «Орлеанская дева» Шиллера, которые Жуковский перевел во время путешествия.

1823 г., 17 марта. Умерла Мария Андреевна Мойер (рожденная Протасова).

1824 г., Издание произведений Жуковского в трех томах, СПб.

1826 г., апрель — 1827 г., сентябрь. Второе заграничное путешествие.

1827 г. Собрание сочинений и переводов в стихах и прозе в 4-х томах, СПб.

1829 г. Почетное возведение в степень доктора философии Петербургского университета.

1831 г. Повести в стихах и баллады в 2-х томах. СПб.

1832 г., июнь — 1833 г., сентябрь. Третье заграничное путешествие.

1837 г., 29 января (10 февраля). Смерть Александра Сергеевича Пушкина.

1837 г. Четвертое издание «Сочинений в стихах и прозе» Жуковского в 8-ми томах.

1838 г., 22 апреля. Устройство лотереи для выкупа из крепостных Тараса Шевченко.

1841 г., январь. Прощание с друзьями и родными в Москве перед отъездом в Германию.

21 мая. Женился на Елизавете Рейтерн (1820—1856).

19 октября. Жуковский стал академиком, ибо Российская академия была присоединена к Императорской академии наук.

1842 г. — 1849 г. Работа над переводом «Одиссеи» Гомера.

1849 г. Пятое издание Стихотворений Жуковского в 9-ти томах. СПб.

1851 г. Издание Полного собрания сочинений Жуковского в Карлсруэ.

1852 г. 12(24) апреля в 1 час 37 минут пополуночи в Баден-Бадене умер Василий Андреевич Жуковский. Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ЦГАЛИ, фонд 198.

2. Отдел редких книг научной библиотеки Московского университета.

3. ГПБ, фонд 104.

4. ГБЛ, фонд 286.

5. ЦГАОР, фонды 678, 728.

6. В. А. Жуковский. Полн. собр. соч. под ред. П. А. Ефремова, т. I—XII, Пб., 1902.

7. В. А. Жуковский. Полн. собр. соч. в одном томе, М., 1883.

8. В. А. Жуковский. Собр. соч. в 4-х томах, М.—Л., 1959—1960.

9. В. А. Жуковский. Стихотворения, Л., 1956 («Б-ка поэта», большая серия).

10. В. А. Жуковский. Стихотворения, Л., 1958 («Б-ка поэта», малая серия).

11. В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. т. VII, М., 1955.

12. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. т. I—X. Изд-во АН СССР, 1955.

13. Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 6, М., 1953.

14. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем, т. 1—28, М.—Л., 1960—1968.

15. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, Сочинения В. А. Жуковского, М., 1948.

16. А. А. Блок. Полн. собр. соч., т. 5, 7, М.—Л., 1962—1963.

17. Я. К. Грот. Очерки жизни и поэзии Жуковского, СПб., 1883.

18. П. А. Плетнев. О жизни и сочинениях В. А. Жуковского, СПб., 1853.

19. К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия Жуковского, СПб., 1883.

20. Степан Шевырев. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии, М., 1853.

21. П. Загарин. Жуковский и его произведения, М., 1883.

22. А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения», Пб., 1904.

23. А. Н. Веселовский. Жуковский и А. И. Тургенев в литературных кружках Дрездена,— «ЖМНП», 1905, V.

24. А. Пыпин. Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов, СПб., 1909.

25. А. Пыпин. Очерки литературы и общественности при Александре I, Пг., 1917.

26. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого, СПб., 1883.

27. Н. А. Полевой. Очерки русской литературы, ч. 1—2, СПб., 1839.

28. Н. Котляревский. Литературные направления Александровской эпохи, СПб., 1907.

29. Н. Ф. Дубровин. Василий Андреевич Жуковский и его отношения к декабристам.— «Русская старина», 1902, апрель.

30. М. В. Нечкина. Пушкин и декабристы. Труды пушкинской сессии АН СССР. М.—Л., 1938.

31. Е. И. Тарасов. Декабрист Н. И. Тургенев, Самара, 1923.

32. Сборник «Декабристы и их время» под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, М.—Л., 1951.

33. Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха, М., 1958.

34. С. М. Бонди. Новые страницы Пушкина, М., 1931.

35. Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1813—1826), М., 1953.

36. Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники, М., 1969.

37. П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, М., 1936.

38. Н. Эйдельман. «Найдено в бумагах Пушкина...».— «Литературная газета», № 15 от 12 апреля 1972 г.

39. А. В. Никитенко. Дневники, М., 1955.

40. М. Жихарев. Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника. — «Вестник Европы», 1871, № 7.

41. В. А. Соллогуб. Воспоминания, М.—Л., 1931.

42. В. К. Кюхельбекер. Дневник. Материалы. К истории русской литературы и общественной жизни 10—40-х годов XIX века, Л., 1929.

43. А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники. 1825—1826 гг., М.—Л., 1964.

44. Н. И. Тургенев. Россия и русские. т. I. Воспоминания изгнанника, М., 1915.

45. Остафьевский архив кн. Вяземских. т. I—IV, СПб., 1899.

46. П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Ред. и прим. Л. Я. Гинзбург, Л., 1929.

47. П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813—48. Изд. подгот. В. С. Нечаева, М., 1963.

48. М. И. Гиллельсон. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество, Л., 1969.

49. Ф. Н. Глинка. Письма русского офицера... М., 1870.

50. С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем, М., 1960.

51. Н. В. Анненков. Литературные воспоминания, М., 1960.

52. А. В [С. С. Уваров] Литературные воспоминания.— «Современник», 1851, т. XXVIII, № 6.

53. А. И. Кошелев. Записки, Берлин, 1884.

54. Ф. Ф. Вигель. Записки, М., 1892.

55. Сочинения и переписка П. А. Плетнева, СПб., 1885.

56. П. Бартенев. Пушкин в Южной России. — «Русский архив», 1866.

57. А. Д. Блудова. Воспоминания и записки. «Заря», 1871.

58. М. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти, М., 1869.

59. И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, 1866.

60. Н. И. Греч. Записки о моей жизни, М.—Л., 1930.

61. М. И. Глинка. Записки, СПб., 1887.

62. С. П. Трубецкой. Воспоминания, СПб., 1909.

63. М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1825—1855 гг., СПб., 1909.

64. Дневники В. А. Жуковского с примечаниями И. А. Бычкова, СПб., 1901.

65. М. С. Боровкова-Майкова. Арзамас и Арзамасские протоколы, Л., 1933.

66. Чтение в «Беседе любителей русского слова», кн. VII, 1812.

67. Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904.

68. Альбом выставки в память Гоголя и Жуковского, М., 1902.

69. Н. В. Соловьев. История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана». П., 1915.

70. Н. В. Соловьев. Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский, СПб., 1912.

71. Б. Эйхенбаум. Мелодика русского лирического стиха, П., 1922.

72. Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. 1886.

73. А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. С прим. Л. В. Крестовой, Л., 1929.

74. Н. Александров. А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере, Л., 1924.

75. Н. Г. Машковцев. Гоголь в кругу художников, М., 1955.

76. М. Горький История русской литературы, М., 1939.

77. И. Афремов. Историческое обозрение Тульской губернии, ч. I, М., 1850.

78. Русская поэзия в отечественной музыке. Сост. Г. К. Иванов, М., 1966.

СОДЕРЖАНИЕ

Майя Яковлевна Бессараб

ЖУКОВСКИЙ

Редактор **В. Кукушкин**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технические редакторы **С. Журбицкая, Н. Децко**
Корректоры **М. Доценко, М. Стрига**

Сдано в набор 19/II—1975 г. Подписано к печати 28/VII—1975 г. А10747. Формат изд. 60×84 1/16. Бумага для глуб. печ. Печ. л. 20,0. Усл. печ. л. 18,6. Уч.-изд. л. 17,09. Тираж 50 000 экз. Заказ № 83. Цена 1 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Союза писателей РСФСР. Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»

